МЕМУАРЫ РУССКОЙ ПРОФЕССУРЫ

И.И.Толстой

ГЛК

«МЕМУАРЫ РУССКОЙ ПРОФЕССУРЫ»
КНИГА 2

Редактор серии А. Е. Иванов

ВОСПОМИНАНИЯ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАФА И. И. ТОЛСТОГО

31 октября 1905 г. — 24 апреля 1906 г.

Составитель
Л. И. Толстая

«Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина
Москва 1997

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 96-01-16268

Подготовка текста, вступительная статья: *Л. И. Толстая*
Комментарии: *д. ист. н., чл.-корр. Р. Ш. Ганелин,*
д. ист. н. А. Е. Иванов
Именной указатель: *к. ист. н. С. Г. Беляев*

Ответственный за выпуск *А. В. Пахомова*

ISBN 5-87245-027-3



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Воспоминания И. И. Толстого, министра народного просвещения в кабинете Витте (31 мая 1905 г. — 24 апреля 1906 г.) полностью публикуются впервые[1].

Крупный ученый И. И. Толстой был юристом по образованию, по научным интересам — историком, археологом и нумизматом, в течение многих лет возглавлял художественное образование в России, будучи вице-президентом Академии художеств (1892-1905). Заняв кресло министра народного просвещения, он внес в работу вверенного ему министерства весь предшествующий опыт своей многообразной деятельности.

Рукопись воспоминаний бывшего министра хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге[2]. Передана она туда была самим автором в ноябре 1906 года, через два месяца после окончания работы над ней и перепечатки машинописной копии. Автор передал свой труд в запечатанном конверте, на котором написано его же рукой завещательное распоряжение, четкое и краткое. В распоряжении оговорены условия, на каких И. И. Толстой передает рукопись: сроки — 1) когда конверт может быть вскрыт; 2) когда и в течение какого времени наследники могут востребовать рукопись, в случае если они решат ее опубликовать; 3) когда и при каких условиях (если наследники рукопись не востребуют) последняя поступает в безраздельную собственность библиотеки.

Умер И. И. Толстой 20 мая 1916 г. В 1917 году в стране произошли события, исключившие возможность своевременного опубликования воспоминаний. В целях сохранности надежнее всего было оставить рукопись в библиотеке. Так и поступили наследники — сын и дочь покойного. А затем наступил срок официального перехода рукописи в собственность Публичной библиотеки.

Следует заметить, что название, под которым осуществлено издание, чисто условное. Автор и его современники говорили о воспоминаниях или записках. Сама же рукопись заглавия вообще не имеет.

Рукописный экземпляр воспоминаний И. И. Толстого насчитывает 298 страниц. Двойные листы крупного формата исписаны мелким четким и убористым почерком; немногочисленные пометы сделаны рукой автора; это либо вставки случайно пропущенных слов, либо замена одного слова другим, показавшимся автору более удачным. Основному тексту предпосланы три ненумерованные страницы,

---

[1] Опубликована только глава “Высшая школа” // Вестник высшей школы, 1990, № 3, 4.

[2] РО РНБ, ф. 781. оп. 1, д. 568.

озаглавленные “Вместо предисловия”. В конце третьей страницы этого “предисловия” стоит подпись автора.

Передача текста в настоящем издании основана на современных правилах публикации исторических источников. Лишь в некоторых случаях сохранено употребление заглавных букв, применявшееся мемуаристом.

Кроме рукописного текста воспоминаний И. И. Толстого существуют еще два экземпляра, но уже машинописные. Это копии, совершенно идентичные основной рукописи. Перепечатка была осуществлена, как уже сказано, сразу после окончания работы над рукописью и до передачи в Публичную библиотеку. Авторская правка (чернилами) в машинописных копиях полностью соответствует правкам в рукописи. Один из этих экземпляров хранится в Москве в Российской национальной библиотеке, а второй (в кожаном переплете) находится в семейном архиве у внучки И. И. Толстого. Именно этот экземпляр и взят нами для публикации.

В предисловии говорить о жизни и деятельности автора воспоминаний мы не считаем возможным, так как эта тема освещена подробно и всесторонне в превосходном некрологе, написанном современником И. И. Толстого, известным историком-античником С. А. Жебелевым[3]. Жебелев был близким другом И. И. Толстого, в течение многих лет почти ежедневно бывал в его доме и отлично знал все обстоятельства как научной, так служебной и общественной его деятельности. Поэтому при издании воспоминаний представилось не только целесообразным, но, пожалуй, и необходимым включение этого некролога в публикацию. С. А. Жебелев оставил нам не просто некролог. Статья его, посвященная жизни и деятельности И. И. Толстого, включает еще и подробный разбор его научных трудов. Прежде всего нумизматических, принесших еще совсем молодому автору заслуженное признание. Автор некролога подчеркивает значение этих исследований для последующих научных изысканий. С. А. Жебелев в некрологе подробно останавливается и на публикуемых нами воспоминаниях, раскрывая основные положения Толстого и приводя разбор воспоминаний по главам. Помимо этого, автор некролога уделил внимание еще одному труду И. И. Толстого, вышедшему в свет в 1907 году и почти неизвестному читателям. Имеется в виду книга “Заметки о народном образовании в России”[4], которая явилась как бы подведением итогов министерской деятельности автора воспоминаний. Остается пожалеть, что С. А. Жебелев уделил несравненно меньшее внимание общественной деятельности И. И. Толстого, а также последним годам его жизни, целиком отданным делу городского управления на посту городского головы Петербурга–Петрограда.

---

[3] С. А. Жебелев. Граф Иван Иванович Толстой. 1858-1916. Петроград, 1916. (Извлечено из журнала министерства народного просвещения за 1916 г.)

[4] И. И. Толстой. Заметки о народном образовании в России. СПб., 1907.

Не случайно обстоятельный некролог напечатан С. А. Жебелевым на страницах Журнала Министерства Народного Просвещения, издания солидного, публиковавшего труды многих видных ученых.

Воспоминания были написаны автором, как уже сказано, в очень короткий срок — всего за четыре месяца. И. И. Толстой сразу после отставки уехал в начале мая в свое имение Ниттисаари под Выборгом, где и работал над воспоминаниями. В Ниттисаари к Толстому приезжали друзья, которым он по свежим следам читал отрывки, а возможно, и целые главы своего труда. Мы вправе полагать, что первыми читателями воспоминаний были С. А. Жебелев и И. Е. Репин, очевидно также и скульптор Гинцбург. Вопросы, поднятые Толстым были им близки: С. А. Жебелев был профессором университета, а И. Е. Репин — профессором Академии художеств. В начале сентября, уже в Петербурге, И. И. Толстой читал отрывки из своего сочинения В. В. Стасову, которого воспоминания так увлекли, что он прямотаки вырвал у автора обещание вести дневник. Обещание свое Толстой исполнил, оставив 26 книжек дневниковых записей, которые вел с конца сентября 1906 г. до конца апреля 1916 г., без дня перерыва.

Воспоминания Толстого отличает одна особенность: исключительное внимание к реалиям описываемых событий и той обстановки, в которой эти события происходили. Из общего содержания воспоминаний как бы вырывается последняя глава — “Заключение”. Она посвящена в основном не отдельным фактам, а общим соображениям и умозаключениям автора и очень полно раскрывает политические позиции Толстого, его credo.

Л. Толстая

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Шестимесячное управление мною Министерством народного просвещения совпало с одним из интереснейших периодов новейшей русской истории. Поэтому, получивши отставку и уехавши к себе в финляндское имение через неделю после моего выхода из государственной службы, я счел небезопасным заняться проверкою своих впечатлений, вынесенных из кратковременного моего пребывания в верхах правительственного мира.

Я в мае 1906 г. приступил для этого к изложению всего того, что запечатлелось в моей памяти, так как, к сожалению, я никаких записей, а тем паче дневника не вел, и пришлось ограничиться воспоминаниями и некоторыми документами, которые были под рукою. Свою работу я закончил к переезду с дачи в Петербург, т. е. в конце августа, и, таким образом, она заняла у меня несколько менее четырех месяцев. Краткость срока, с одной стороны, и скудность документальных данных, имевшихся у меня под рукою, с другой, конечно, отразились на качестве моих записок, которым я, по разным причинам, не мог посвятить больше труда. Однако и в этом виде они, я думаю, представят известный исторический интерес для будущих исследователей нашей эпохи как произведение близкого очевидца событий и участника их в той мере, насколько они меня касались. Печатать своих "записок" я не могу теперь, так как считал бы это неделикатным, но думаю, что когда-нибудь они увидят свет, может быть, только после моей смерти. Из предвидения именно этой возможности, я считаю нужным предпослать "запискам" эти строки, так как, если при моей жизни наступит день, когда я счел бы возможным напечатать их, я постараюсь тщательно прокорректировать их слог, а может быть, и самое содержание, выбрасывая и добавляя то или другое, и напишу иное, более обстоятельное предисловие.

Итак, на тот случай, если эти записки появились бы в печати только после моей смерти, я просил бы, во-первых, издателя не стесняться и кое-где почистить не совсем удачный слог, стараясь не менять смысла, а во-вторых, читателя иметь в виду нижеследующие соображения. За исключением последней (11-й) главы, я старался быть, по мере сил моих, по возможности объективным, а факты передавать с доступною моей памяти точностью; иными словами, я нигде ни разу не подтасовывал фактов, ни разу в своих записках сознательно не врал и не выдумывал, а если, по сличении с другими, более достоверными данными, в моих записках обнаружатся какие-либо неточности (которые я всеми силами старался избегать, пропус-

кая то, чего не помнил), то следует эти неточности приписать исключительно запамятованию и недостатку дат под рукою. Надеюсь и думаю, однако, что таких неточностей или совсем не окажется, или окажется при поверке очень мало. Последняя глава имеет характер крайне субъективный, и за нее я заранее прошу у читателя извинения: чувствую, что без нее мои записки были бы "серьезные" и "важные", но я решился все же написать ее, чтобы явиться перед читателем с "поднятым забралом", что облегчит ему труд разобраться в причинах того или другого моего отношения к описанным в десяти главах "записок" фактам.

Относительно этой, 11-й, главы считаю нужным сказать, что изложенное в ней не составляет квинтэссенцию моих политических и социальных взглядов, а является только попыткою, конечно, не первою и не последнею, примирить желательные и теоретически обоснованные реформы с действительностью; это отнюдь не проект построения идеальной внутренней политики и социального благополучия, которому следовало бы посвятить побольше строк, чем я это сделал в 11-й главе.

Граф И. Толстой

Сентябрь 1906 года. С.-Петербург

1. ВВЕДЕНИЕ

Занятия в высших учебных заведениях хотя и возобновились осенью 1905 г. официально, но для каждого было ясно, что студенческие тайные (или вернее “нелегальные”, ибо тайны уже не существовало) организации следовали определенному плану, не только допуская, но даже поощряя посещение частью товарищей лекций, лабораторий, мастерских и т. п. Рядом с занятиями академическими шла параллельно и с самой откровенной энергией работа политическая: формирование боевых и иных дружин и кружков, широкая пропаганда и, наконец, организация “митингов”, причем эти последние стали одним из наиболее характерных и видных явлений в жизни высших учебных заведений, открывших свои стены для поддержки общественного движения и даже, как казалось для большинства участников, для руководства им[1]. Часть профессоров, революционно настроенная против существующего режима (“сознательная” часть, по принятой терминологии)[2], всеми мерами поощряла движение, другая, наиболее наивная в политическом отношении, восторгалась невиданным в первое время количеством слушателей на утренних лекциях и не возражала против вечерних скопищ, будучи наивно уверена, что “митинги скоро сами собою надоедят “учащемуся” юношеству”.

В Академии художеств[3] в начале осени было сравнительно тихо, и ареною для “митингов” она стала только в октябре; посещая аккуратно все революционные собрания в университете и других учебных заведениях, ученики Академии изнывали от желания быть на высоте исторического момента и отдать в распоряжение “проснувшегося к активной политической жизни пролетариата” стены своего учебного заведения, что казалось им особенно пикантным и знаменательным потому, что стены эти принадлежали Министерству императорского двора. Старания учеников Академии увенчались успехом, и помещения ее дважды или трижды оказались немыми свидетелями ряда шумных “митингов” (принятое произношение этого слова — с ударением на второй слог): в отдельных аудиториях, мастерских и в помещениях музея Академии вечером, при полном освещении (ученики “хозяевами” на основании “захватного права” завладели электричеством), происходили почти самостоятельные сходки фармацевтов, гимназистов и реалистов, рабочих разных специальностей, студентов разных фракций разных союзов. Говорили отчасти о своих делах, но всюду наиболее, по-видимому, популярными темами являлись площадная ругань на царствующего государя и вариации на девиз

“пролетарии всех стран соединяйтесь”, а также рассуждение о благах пролетарской республики, где не будет места “буржуям”. Первое занятие здания Академии произошло под фактическим предводительством учеников ее, причем набралось, говорили служители и чиновники Академии, тысяч до пяти или шести всякого народу, в том числе масса праздношатающихся, большею частью подростков и юношей двадцати-двадцати трех лет. Во второй день чувствовался недостаток в “ораторах”, так как “митинги” происходили в разных местах в Петербурге одновременно, и ораторов не хватало на все места, где они требовались. Ученики Академии играли роль гостеприимных хозяев и распорядителей, как на любом студенческом балу или концерте: развешивали плакаты с указанием, где кто собирается, указывали дорогу в аудитории, в уборные и т. п.; с чиновниками Академии они старались вести себя особенно корректно, давая даже расписки, когда на основании “захватного права” брали у них ключи от разных помещений; со сторожами обращение было иное — при всяком отказе с их стороны или недостаточно быстром исполнении приказаний некоторым из них угрожали репрессиями: “Погодите, когда наша возьмет, — мы вам покажем: убьем или проглотим...”

Так как “митинги” в учебных заведениях стали переходить от слов к делу, т. е. от призыва к вооруженному восстанию — к фактической раздаче оружия, то правительством было, наконец, решено закрыть высшие учебные заведения[4]. Была закрыта и Академия по двойному распоряжению как Президента (великого князя Владимира Александровича), так и Министра императорского двора. Все входы в Академию были заперты и снабжены охраною из городовых. Для такой охраны оказалось достаточным двух человек на каждый пост (всего на всю территорию Академии и на многочисленные входы в нее было человек двадцать городовых); ученики распространяли усердно слух, что Академия переполнена войсками, чуть ли не с артиллерией, хотя отлично знали, что это не так: им, очевидно, нужно было оправдать свою трусость, так как они раньше грозились взять Академию штурмом, если она будет закрыта для митингов. Вообще ложь царила довольно безвозбранно в этом периоде “освободительного движения” и считалась, очевидно, не только допустимым, но даже весьма полезным “тактическим приемом”. Так, распространились слухи о бегстве Государя за границу, о провозглашении республики и временного правительства то в том, то в другом большом городе, о грандиозных восстаниях в войсках и т. п.

Наступило 17 октября при сравнительном внешнем спокойствии в Петербурге. В этот день вечером содержание знаменитого Манифеста[5] стало известным далеко не всему населению, но было встречено ознакомившимися с ним бурным восторгом. Более широким столичным кругам Манифест стал доступен лишь на следующее утро 18-го. В этот день часов в 9 утра ко мне прибежал, запыхавшись, смотритель зданий Академии с восторженным поздравлением по поводу дарованной

Конституции и со следующим докладом: “Сегодня утром пришел околоточный, увел всех городовых и распорядился, чтобы открывали все двери и ворота, так как объявлена свобода, и теперь все можно, запретов никаких нет”. На это я решительно указал, что Академия закрыта не по распоряжению полиции, а по приказанию нашего начальства, а потому, до отмены этого приказания, следует держать входы запертыми и охрану их ввиду отказа полиции, поручить нашим дворникам. Упоминаю об этом для характеристики настроений этого знаменательного дня. Между тем, часов около 10 утра пошли слухи о каких-то беспорядках на Васильевском острове и о закрытии Андреевского рынка. В действительности произошло вот что: после расклейки Манифеста на улице стали собираться кучки народа, все разраставшиеся, стали раздаваться крики “Ура!”, некоторые стали снимать национальные флаги, которыми к этому времени украсились фасады домов, и петь гимн и “Спаси, Господи, люди твоя”. Толпа росла по Большому проспекту острова; из Андреевского собора вышло духовенство в облачении и стало служить молебен. В это время из Галерной гавани появилась небольшая толпа студентов и рабочих с красными флагами и пошла с криками “Ура!”, и “Да здравствует свобода!” по тому же Большому проспекту. Обе толпы смешались и, все увеличиваясь присоединением к ней разной молодежи и любопытной публики с самыми разнообразными криками и в предшествии флагов как красных, так и национальных, которые вначале мирно шествовали рядом, направилась вдоль проспекта, свернула по 1-й линии мимо кадетского корпуса на набережную и пошла до университета. Здесь толпа разрослась до численности нескольких десятков тысяч человек мужчин, женщин и детей; часть ее вошла в университет, ораторы вышли на балкон и что-то говорили, национальные флаги стали срываться с фасада университета и заменяться красными, стали появляться в толпе красные знамена с революционными надписями. Потолкавшись у университета и покричавши там, толпа направилась дальше по Дворцовому мосту на Невский. Не буду останавливаться на описании манифестаций этого дня, продолжавшихся до позднего вечера, далеко не везде мирно и прилично, и возвращаюсь к рассказу о том, что ближе меня касается.

Часов около 11 утра ко мне явилась партия человек пятнадцать учеников Академии с просьбою открыть Академию для устройства митинга. Пришедшие были все мне знакомы, я знал фамилии каждого из них, и они меня, конечно, достаточно знали; поэтому меня сразу неприятно поразил их официальный и напыщенный со мною тон. Я им ответил, что, к сожалению, не могу исполнить их просьбы уже по тому одному, что Академия закрыта не моим распоряжением, а по приказанию министра, и что поэтому она могла бы быть мною открыта только с дозволения его же. “Тогда испросите у него это дозволение, но поскорее, по телефону что ли”. — Я этого сделать не могу, так как не знаю, где он находится, знаю только наверное, что не в

Петербурге. — На это последовало замечание: “Господа, я думаю, следовало бы составить протокол, что вице-президент не знает, где находится министр”. — Я прошу вас, господа, бросить этот вызывающий тон и не оскорблять меня у меня на квартире, иначе я буду принужден просить вас удалиться. — “Мы извиняемся перед Вами, если Вам показалось что-либо оскорбительным в наших словах: мы не имеем намерения оскорблять Вас”. — Хорошо, господа, я понимаю Ваши извинения и прошу извинить меня за резкость моего замечания. Возвращаясь к нашему разговору, должен повторить, что без разрешения не имею права открыть для вас ворота Академии, а разрешения этого не могу скоро получить, если б оно и было дано, в чем решительно сомневаюсь. — “Тогда мы Вас просим взять на себя ответственность и, не сносясь с министром, разрешить своею властью митинг в Академии”. — Я этого не сделаю, так как лично нахожу митинги в Академии абсолютно нежелательными, а форму, которую им Вы придаете, прямо недопустимою. Если б министр разрешил мне открыть Академию, я считал бы ответственность с меня снятою, но если б они предоставили мне решение вопроса — я был бы против ее открытия, а потому разрешения на вход в Академию Вам не даю. — “Мы тогда обойдемся без Вашего разрешения и войдем насильно: это и с Вас снимет всякую ответственность”. — Я энергично протестую против такого способа действий, и если Вы исполните вашу угрозу, то сочту долгом выйти в отставку (голос в толпе учеников: “Знаем мы эти отставки: они или не принимаются или берутся обратно”); слова, которые я слышу, очень для меня оскорбительны: я никогда комедий не играл и сделаю то, что говорю; а теперь позвольте, господа, к вам обратиться с увещанием от всего моего сердца: сегодня — первый день русской свободы; не омрачайте его насилием. Ведь он должен быть днем радости и благодарности Государю, даровавшему России и всем нам гражданские права; а вы хотите продолжать игру в революцию, когда уже дано то, из-за чего можно было ее делать. Идите на улицу, собирайтесь, где хотите, но не делайте Академию опять ареною для таких речей и сцен, которыми вы ее наполняли за последнее время... — “Господа, товарищи, пойдемте, не стоит больше говорить; а Вам, господин вице-президент, мы можем сказать только одно — что насилия с нашей стороны в данном случае не может быть: войдя в Академию, мы используем только наше право; а вот Вы действительно применяете насилие, не впуская нас туда. Мы, осуществляя свое право, боремся с произволом и насилием начальства, что составляет ныне даже обязанность русских граждан”.

С этими словами “депутация”, раскланявшись со мною довольно вежливо, вышла из моей квартиры и прямо направилась через улицу к воротам Академии. Я подошел к окну: у ворот ждало “депутацию” еще человек 20-25 учеников и каких-то посторонних, как мне показалось, юношей, и когда депутация выбежала из моего подъезда, все 35 или 40 человек оттолкнули дворников, дежуривших у ворот, сорвав с

калитки объявление о закрытии Академии, отворили ворота настежь и бросились по коридорам. Кто-то из толпы достал топор, сломал дверь, ведущую на купол Академии, и водрузил на нем больших размеров, очевидно заранее приготовленный, красный флаг, который и развевался там до вечера. Все национальные флаги были сорваны с фасадов Академии и частью заменены красными, а затем начался впуск в Академию улицы, и открылся ряд беспорядочных "митингов" в прежнем стиле.

После всего случившегося мною тут же было принято бесповоротное решение выйти в отставку. Помимо того, что я объявил ученикам о моем выходе в случае их непослушания, весь последний год моей службы в Академии меня совершенно разочаровал: занятия или совсем не шли, или шли через пень колоду, чередуясь с вечными историями, придирками и притянутыми за волосы претензиями "гражданского" свойства. Ученики, особенно архитектурного отделения, старались добросовестно не отставать от студентов других высших учебных заведений. Профессора или не имели никакого влияния на молодежь, или смотрели отчасти даже поощрительно на действия учащихся, направленные на пользу "освободительного движения"; собственно, прямого поощрения с их стороны, должен отдать справедливость, не было, но какой-либо помощи мне в деле успокоения учеников или хотя бы серьезной работы по поддержанию внешнего порядка я со стороны профессоров не встречал. О возобновлении занятий, ясно, не могло быть и речи, а продолжать еще целый год смотреть на общее ничегонеделанье и слушать только разговоры на надоевшие темы — было бы совсем не интересно.

Но, приняв это решение, я должен был прежде всего исполнить служебный долг. Не зная, где находился в то время министр двора барон Фредерикс, я отправился к управляющему кабинетом Его Величества князю Оболенскому справиться об этом для того, чтобы представить барону Фредериксу рапорт о случившемся в Академии. От Оболенского я узнал, что министр в Петергофе, причем, узнав от меня об академических происшествиях, он посоветовал поехать сейчас же к Витте, только что назначенному председателю Совета министров с огромными полномочиями, и попросить у него указаний, как поступить далее. Следуя этому совету, я поехал к Витте, который жил еще в своем доме, на Каменноостровском проспекте. Витте я знал очень мало: встречался с ним раза два по академическим делам, когда он был министром финансов, а затем несколько раз имел с ним несколько более продолжительные беседы по делам Комиссии по сооружению памятника Александру III, где я состоял членом, причем общее руководство Комиссиею было поручено именно Витте[6]. Не отрицаю, что меня очень интересовало видеть его в новой его роли, хотя чувствовал, что моя поездка к нему особенного значения в моем деле не имела. Приехав к Витте, просил доложить о себе; курьер тотчас вернулся и сказал, что "Граф просит, но велели предупредить, что очень заняты

и более 5 минут времени дать не могут". Вхожу; прием самой убийственной сухости: "Прошу садиться; чем могу служить?" Я в кратких словах (не более 2-3 минут) рассказал в чем дело. "По моему глубочайшему убеждению", — сентенциозно произнес не прерывавший меня Витте, — "учебные заведения существуют исключительно для занятий". — Совершенно с Вашим сиятельством согласен. "Если так — то что Вам нужно от меня?" — Меня направил к Вам князь Оболенский, считая, что Вы должны быть в курсе подобных рассказанному мною дел, а потому прошу, не изволите ли дать каких-либо указаний, как мне дальше поступить. — "А это уж не мое дело; это дело генерала Трепова; обратитесь к нему; прошу Вас даже съездить к нему: это его обязанность наблюдать за порядком в Петербурге и не допускать безобразий. Честь имею кланяться, извините, я очень занят..."

Выходя от Витте, я чертыхнулся и не помянул добром Оболенского, пославшего меня к нему. Садясь на извозчика, я, было, скомандовал "домой", но подумавши все-таки решил ехать к Трепову, на Морскую (в дом министра внутренних дел): во-первых, Витте, к которому меня послал Оболенский, указал мне ехать к Трепову, а во-вторых, побывавши у Витте, интересно было посмотреть и на вторую персону, игравшую столь значительную роль и которую я почти совсем не знал; наконец, в-третьих, дома все равно нечего было делать, как только быть безмолвным свидетелем творимого в стенах Академии, так как я никогда бы не взял на себя звать полицию, как никогда, ни при каких случаях этого не делал раньше, будучи принципиальным противником всякого насилия, это во-первых; во-вторых, будучи убежден, что впуск полиции в учебное заведение делает почти невозможным дальнейшее нормальное течение академической жизни с тем же, по крайней мере, административным персоналом училища.

Итак, я поехал к временному Петербургскому генерал-губернатору, автору знаменитого изречения: "Патронов не жалеть", принесшего достаточно неприятностей правительству и не имевшего почти никакого практического значения. У швейцара дежурный жандарм доложил мне, что генерал занят с правителем канцелярии и просит меня подождать. Ввели меня в приемную, где за длинным столом сидело человек пять или шесть адъютантов и чиновников, лениво перекидывавшихся между собою замечаниями; не принимал участия в разговоре сидевший тут же караульный офицер дежурной части (кажется, лейб-гвардии стрелкового полка). Мне пришлось прождать минут 25 или полчаса в приятном ожидании приема, причем присутствующие не стеснялись моим присутствием и продолжали разговор; насколько можно было заметить, говорили о Манифесте, весьма недвусмысленно критикуя его и суля всяких пакостей студентам, профессорам и вообще радикалам и революционерам. Наконец, пришел жандарм сверху с докладом адъютанту, который и попросил меня "к генералу". Трепов принял меня в кабинете очень любезно и вежливо. Я ему рассказал,

в чем дело. “Вам бы следовало, граф, обратиться с этим к графу Витте, который теперь всем заведует, а меня эти дела ныне мало касаются”. — Позвольте, но ведь меня к Вам прислал именно граф Витте, а то мне и в голову не пришло бы беспокоить Вас. — “Вот он всегда так: вчера еще он все брал на себя, просил меня не вмешиваться, ручался за спокойствие, а теперь опять валит на меня. Что же я могу сделать? Я предупреждал, что издавать Манифест, ничего не подготовивши, не зная, к чему он поведет, не определивши дальнейшего образа действий, нельзя. А потом самый текст Манифеста. Разве можно писать подобные документы в таких общих выражениях, предоставляя комментировать их публике, как кому нравится? Вот мы и у праздника. То ли еще будет. Впрочем, это теперь не мое дело...” Так как же, Ваше превосходительство, что Вы скажете о моем деле? Или ничего мне не скажете? — “Да что ж, граф? Я нахожу, что Вы иначе поступить, как поступили, не могли. Завтра увидим, что будет; а сегодня советую предоставить все своему течению. А только опять повторю, что к таким Манифестам, какой издан вчера, нужно подготовлять и самому подготовиться, а не издавать, не зная, как его исполнить”.

Вернувшись домой, я поручил секретарю Академии написать два рапорта — великому князю Владимиру Александровичу и Министру о происшествиях дня, а сам уселся писать прошение об отставке по форме, с просьбой об увольнении меня по болезни. В Академии был полный кавардак: в так называемых античных залах, где в это время была выставка картин каких-то красных и иных знамен с соответствующими надписями, крики, истеричные речи, сбор денег на вооружение народа, на революционный “красный крест”, ругань на царя, на войска, на все правительство и администрацию. Красный флаг продолжал гордо развеваться на куполе Академии, а швейцар главного подъезда с изумлением смотрел на толпу, валившую с улицы в залы в шапках, с флагами... Так длилось до позднего вечера, когда народ разошелся, а ученики сформировали отряд, отправившийся по Николаевскому мосту, а затем по Невскому на Выборгскую сторону освобождать из тюрьмы политических. На следующий день, неизвестно по чьему распоряжению, Академия была вновь закрыта, и у всех входов была установлена военная охрана из солдат лейб-гвардии Финляндского полка. Тут кстати будет заметить, что все распоряжения об охране Академии, о командировании к ней полиции или солдат делались не только помимо меня, но просто без всякого предупреждения; мало того, когда я посылал спрашивать участкового пристава, по чьему распоряжению принимается та или другая мера или что предполагается сделать на следующий день, то не удостаивался никакого ответа или получал извинения от пристава, что за массою дел он не может мне написать, а ответ пришлет подробный на днях; такового я так и не удостоился. Мне казалось, что такое странное отношение к начальству учебного заведения совершенно недопустимо, и траги-

комичность моего положения в этом вопросе являлась не последней причиною моей решимости покончить с моей службой в Академии.

19 октября, захватив прошение об отставке, я поехал в Царское к вел. кн. Владимиру Александровичу. Я описал ему до мельчайших подробностей все происшедшее в Академии за последнее время и изложил вышеизложенные причины, побудившие меня просить об отставке. Великий Князь согласился со мною тотчас вполне, причем добавил, что сам с радостью отказался бы от звания Президента, если б он не уволился на днях от должности главнокомандующего, почему его новый отказ от должности получил бы вид какой-то манифестации. Относительно современного политического положения великий князь высказался скорее оптимистично, считая русский народ исключительно одаренным, умевшим всегда и в более тяжелые эпохи своей истории вывести страну из смуты, когда Россия казалась на краю гибели. "А ведь это, — выразился великий князь, — единственно существенное; мы все можем погибнуть, наше, то есть мое, Ваше и других существование и благополучие, в конце концов для России безразлично; важно только одно — чтобы сама она вышла из передряги обновленная и, как бывало и раньше, еще сильнее, чем была. Я рад, что Государь назначил Витте: я считаю его выдающимся государственным человеком и жалею только, что Государь поздно решился дать ему полномочия; если бы это было сделано хотя бы годом раньше и если бы не было этой проклятой, несчастной Японской войны, против которой с самого начала восставал Витте, то мы не были бы в настоящем положении, и необходимые для России коренные реформы могли бы быть исполнены при совершенно иных условиях и с несравненно большим спокойствием, а потому и гораздо продуктивнее. "Повторяю, — окончил свою речь великий князь: — положение серьезное, очень серьезное, но я не отчаиваюсь, так как верю в русский народ и убежден, что он найдет в себе самом силы и умение устроить все так, как нужно, и как мы с Вами, может быть, никогда и не догадались бы. Я знаю много крестьян, часто с ними рассуждал запросто на всевозможные темы и всегда поражался обилием у них и здравого смысла, и общечеловеческой, истинной мудрости, и практической сметки. Нет, мы с Вами, может быть, погибнем, но Россия не погибнет никогда, а это самое для меня и, уверен, для Вас также главное. Великий князь, на мою просьбу, принял мое прошение об отставке и обещал ускорить решение, чтобы не томить меня. Он исполнил свое обещание, так как уже 21-го я получил извещение о том, что уволен от должности вице-президента Академии с причислением к Министерству двора, о чем я не просил, но на чем настоял барон Фредерикс, который хотел этим показать, что не находил ничего неправильного в служебном отношении в моих действиях. Я не нашел нужным спорить, хотя по совести находил, что не все мои действия по Академии можно было оправдать со строгой точки зрения на административные обязанности, как они понимаются всюду в мире.

Покончив со службою в Академии, я сразу почувствовал себя совершенно свободным, перешедшим из разряда действующих лиц в разряд зрителей, а потому и критиков. Такое состояние длилось, однако, недолго. Уже 26 октября меня вызвал барон Фредерикс и стал уговаривать меня не бросать службы в такое время, когда все нужны, когда долг патриотизма требует общих усилий в деле помощи Родине и Царю; он стал говорить о создании особой ответственной должности по Министерству двора, предлагавшейся ему самому, очевидно, пока довольно смутно, предлагая мне занять ее. Чтобы не обижать человека, всегда относившегося ко мне действительно идеально хорошо, я ответил уклончиво, указывая на то, что не понимаю ясно, чего от меня требуют и ожидают. Но мне не пришлось изучить этот вопрос до конца, так как вскоре случилось со мною то, чего я уже совсем в то время не ожидал.

На следующий же день, а именно 27 октября, я сидел после обеда, с семьей и обедавшим у нас проф. Жебелевым в столовой и вел беседу о событиях дня, как делали это, я думаю, в это время все и всюду. Вдруг, около восьми часов вечера раздается звонок и мне докладывают, что приехал курьер от графа Витте со словесным приглашением явиться к нему в тот же вечер в 9 1/2 часов на Дворцовую набережную, в казенную квартиру, на которую он только что перед тем переехал из собственного дома. Жебелев сейчас же сказал, что Витте предложит мне пост Министра народного просвещения. Я сомневался, но, с другой стороны, подумал, что действительно, что же иное может означать этот вечерний вызов? Жебелев остался ждать моего возвращения, а я ровно в 9 1/4 поехал на Дворцовую набережную. Когда я приехал, курьер провел меня в небольшую комнату рядом с кабинетом Витте и попросил подождать, так как "граф очень заняты". Пришлось мне ждать с четверть часа, пока из кабинета вышел Витте с очень озабоченным и усталым видом. Поздоровавшись со мною, он пригласил меня сесть на тахту, а сам, не садясь и ходя взад и вперед, сказал: "Вы, граф, будете очень, вероятно, удивлены моему предложению, которое сейчас услышите; я очень занят, а потому буду краток; надеюсь, что и Ваш ответ будет столь же краток; одним словом, я предлагаю Вам занять в моем кабинете пост министра народного просвещения. Принимаете ли Вы это предложение?" — Должен Вам сознаться, что это предложение действительно является для меня совершенной неожиданностью, хотя сегодняшний вызов Ваш тому назад два часа уже заставил меня предполагать нечто подобное. — "Ну вот и отлично: значит, Вы успели уже и приготовиться к ответу, который, я не сомневаюсь, будет положительным." — Извините, граф, я, напротив, решил отказаться. Вот причины моего отказа: во-первых, ни я Вас не знаю, ни, что гораздо в данном случае важнее, Вы меня не знаете, во-вторых, выйдя на днях из Академии, я имел твердое намерение совершенно отказаться от коронной службы; должен, впрочем, сознаться, что мне предлагают уже новое место в непосредственной

близости к Государю, причем обращаются к чувству моего патриотизма; хотя я решительного ответа не дал, но надеюсь отклонить и это предложение. — "Я тоже обращаюсь к тому же чувству Вашего патриотизма и прошу Вас принять предлагаемое мною Вам место. Я буду с Вами совершенно откровенен: пост Министра народного просвещения я предлагал уже трем лицам; все отказались[7]. Вы являетесь четвертым; если Вы откажетесь, мне придется обратиться к пятому, шестому и т. д., пока я не найду лица, желающего или, вернее, согласного занять этот пост. Это очень важное в настоящее время министерство, и мне очень важно, чтобы пост Министра народного просвещения был кем-либо занят: я придаю этому существенное значение. Я Вас не знаю — это правда, но я слышал, что Вы хороший работник, имеете известный навык в делах, а это в соединении с порядочностью, в которой я, конечно, не сомневаюсь, пока для меня главное. Итак, я прошу Вас принять место и ответить мне сейчас же, чтобы я мог считать дело покончененным. Я страшно занят, времени у меня нет, а Министра народного просвещения я должен иметь на этих днях, если не Вас, то другого, которого мне придется еще искать." — Извините, но я так Вашего предложения принять не могу: во-первых, я попрошу времени на размышление, а во-вторых, мне необходимо получить от Вас разъяснение на один вопрос. — "Хорошо, я буду ждать Вашего ответа до трех часов завтрашнего дня и уверен, что ответ Ваш будет утвердительным. Ставьте Ваш вопрос". — Как пришла Вам мысль обо мне: ведь Вы совсем, можно сказать, меня не знаете? — "Я отвечу Вам откровенно: мысль о Вас не мне пришла, а назвал мне Вас сам Государь Император. Я ему предложил двух других лиц, которых позвольте не называть, но Государь приказал мне переговорить предварительно с Вами и предложить Вам это место". — Но ведь и Государь, должен Вам сказать, совсем меня не знает. Он раза два в году видит меня в Академии, когда приезжает на выставки, но никогда ни о чем со мной не говорил, по чему он мог бы составить себе понятие о моем характере и о моем направлении . — "Ну, на это я Вам ответить не могу. Может быть, Государю говорил о Вас великий князь Владимир Александрович... Ничего Вам сказать не могу." — Так, хорошо, завтра вы получите мой ответ. — "Да, я должен Вас предупредить, что назначение всех нас, следовательно и меня и Вас, предполагается всего на время, на 3 1/2, много на 4 месяца, так как с открытием Государственной думы мы все должны будем уйти и уступить место другим, если сама Дума не попросит кого-либо из нас остаться. Так я Вас жду завтра в 3 часа; до свидания."

Случайно, перед выходом Витте из кабинета я посмотрел на часы; когда он простился со мною и я направился к выходу, я опять посмотрел на часы: оказалось, что весь наш разговор занял всего шесть минут.

Выйдя от Витте, я едва мог собраться с мыслями: мне представлялось верхом легкомыслия с его стороны пригласить в столь категорической форме занять пост министра человека, которого он совсем не

знает, не дав себе даже труда хоть сколько-нибудь пощупать его в отношении воззрений, плана действий, убеждений, не выяснивши приглашаемому лицу своих собственных планов, поскольку он мог считать это возможным для себя. Суть разговоров Витте со мною сводилась ведь к следующему: я, Витте, предлагал место нескольким лицам, которых знаю; они отказались; поэтому я обращаюсь к Вам, человеку мне совершенно неизвестному и безразличному, и прошу Вас занять один из самых трудных и ответственных постов только потому, что нужно же, чтобы кто-нибудь занял его, а кто его займет — это для меня не особенно важно; если Вы окажетесь из рук вон плохим, — можно будет заменить Вас, подыскав другого человека. Вот что мне представлялось тогда; гораздо позже я убедился, что Витте считал Министерство народного просвещения настолько расстроенным, что не верил в возможность что-либо сделать по этому министерству до Думы, причем в порядке практической важности отдельных ведомств он классифицировал их приблизительно так: 1) министерство внутренних дел, 2) министерство финансов, 3) министерство военное, 4) министерство юстиции, 5) главное управление землеустройства и Государственных имуществ и т. д. Министерство народного просвещения занимало в этой классификации, вместе с министерством морским, иностранных дел, ведомством православного исповедания, одно из последних мест.

Вернулся я домой крайне расстроенным, и "гамлетовский" вопрос, быть или не быть... министром, меня промучил всю эту ночь и всю половину следующего дня, вплоть до 3-х часов. Я рассуждал приблизительно так.

Доводы против принятия предложения: я только что ушел со службы, тяготясь всем происходящим за последнее время, чувствуя свое бессилие бороться с невозможными условиями современной русской жизни, поскольку она отражалась в Академии. Но ведь с этими же условиями мне придется столкнуться лицом к лицу на новом поприще, но только в преувеличенных размерах. За шестнадцать почти лет моей службы в Академии мне удалось сохранить в чистоте свое имя, свою репутацию; на новом месте я серьезно рискую быть облитым помоями, окончить свою карьеру оплеванным, а может быть, и смешным, в роли синицы, пожелавшей зажечь море. Да и возможно ли сделать что-нибудь в 3-4 месяца в ведомстве, которое систематически самоуничтожалось, дойдя до сплошного позора? Какова же будет моя роль в министерстве Витте? Сам Витте внушал мне мало доверия: отдавая дань справедливости его уму и ловкости, мне казалось, что он должен быть человеком беспринципным, фальшивым и честолюбивым; из обозначившегося уже состава Совета министров мне был несколько лучше знаком один Оболенский (оберпрокурор Св. Синода), из остальных я некоторых совсем не знал, даже и понаслышке, а с другими имел только шапочное знакомство, мало до сих пор интересуясь их деятельностью и их характерами. Главным же возражением

против принятия должности являлось сознание своей малой подготовленности к занятию столь исключительно высокого административно-политического поста, при отсутствии знакомства с людьми, с которыми придется работать как в самом ведомстве, так и в Совете министров, да еще под руководством человека, которого придется еще изучить, прежде чем убедиться, можно ли вообще идти с ним рука об руку, или нет.

Доводы за принятие предложения: доводы эти были и малочисленны и свойства довольно сомнительного, характера скорее отрицательного. Вот они: так точно, как я рассуждаю против принятия должности, может, и будет рассуждать почти всякий человек, если он не обладает дурацким самомнением. Тебя зовут на опасный пост во время бури, а ты отказываешься по эгоистическим соображениям и боясь ответственности; если окажешься непригодным, пусть тебя прогонят и заменят другим. Ведь ты осуждаешь людей, отказавшихся принять назначение, чем же ты будешь отличаться от них, тоже отказавшись? Стараясь как можно строже относиться к самому себе, я мог сказать, что во мне отсутствовало чувство карьеризма, желание кому-либо угодить и надежды получить что-либо “за труды”. Это, несомненно, положительные качества, которые я оценил бы в другом, почему же не считать их существование важным и у самого себя? Свое отечество я люблю и всегда любил; для меня не является пустою фразою готовность жертвовать собою за отечество, а ведь как раз теперь взывают к моему патриотизму. К этому присоединялись чувства менее возвышенного характера, сводившиеся к тому, что вот предлагали же нескольким лицам место, и они испугались, а я не испугался и принял и, авось, выйду с честью из испытания, докажу, что и мы мол не лыком шиты и постараемся в три месяца сделать то, чего другие не смогли сделать годами. Конечно, такие размышления были мимолетны, но я стараюсь, по возможности беспристрастно, разобраться в моих тогдашних настроениях и не выставлять себя в лучшем свете, чем это соответствует истине. Наконец, не отрицаю, что очень было заманчиво принять непосредственно участие в историческом деле исключительной важности не только в качестве зрителя в первых рядах кресел, но даже в качестве непосредственного деятеля.

Как вечером того дня, когда я впервые говорил с Витте, так и на следующее утро я совещался с близкими, приводя аргументы и за и против принятия предложения. Советы были различны и склонялись то в ту, то в другую сторону, причем семья моя была против моего выступления на новом поприще, главным образом из-за понятных опасений за меня. К трем часам я поехал, как обещал, вновь к Витте, все еще колеблясь, какой дать ответ. Витте принял меня в этот раз тотчас, как только обо мне доложили, в своем кабинете. “Ну что? Как Вы решили?” При этом лаконическом вопросе у меня явилась внезапная решимость, и я ответил: — Да, принимаю Ваше предложение. — “Вот и прекрасно, благодарю Вас от души; сейчас протелефо-

нирую в Петергоф для сообщения Его Величеству о Вашем решении и для испрошения указаний, когда Государю угодно будет принять Вас." — Позвольте, граф Сергей Юльевич, прежде сказать два слова: Вы так быстро все решаете, что приводите меня в полный конфуз; мне нужно еще предупредить Вас кой о чем, а то Вы по отношению ко мне действуете с завязанными глазами... — "Извольте, говорите, но я считаю дело уже решенным, раз Вы дали свое согласие..." — Позвольте Вам прежде всего сказать, что, несмотря на всю мою неопытность в большом административном деле, я намерен сразу дать новое направление деятельности министерства, так как убежден в совершенной неправильности существующего направления. — "Что же, с Богом; я должен Вам сказать, что отдельные министры пользуются полной самостоятельностью в своих ведомствах, и я себе предоставляю право вмешиваться только в вопросах, имеющих общеполитический характер. Я очень рад, если у Вас имеется уже план действий, и Вам мешать не стану. А что касается Вашей неопытности, то, во-первых, опытность эта очень быстро приобретается, а во-вторых, у Вас в министерстве имеются опытные чиновники, которые Вам помогут." — Я именно об этом и хотел с Вами поговорить. Принимая место, я должен предупредить, что, как это ни тяжело, намерен немедленно расстаться с целым рядом чинов министерства, известных уже мне по репутации. Затем то, что Вы изволите говорить о полной самостоятельности министров, за исключением вопросов характера общеполитического, меня несколько смущает: насколько мне известно, почти все вопросы, которые мне придется затронуть по министерству, характера такого, что они весьма близко соприкасаются с общей внутренней политикою... — "Ну это мы там увидим; но вот относительно увольнения высших чинов министерства — конечно, это Ваше дело, — но позвольте Вам дать, дорогой граф, дружеский совет: не спешите с увольнениями; осмотритесь раньше, — говорю это по личному опыту. Особенно советую Вам удержать на службе Вашего товарища Лукьянова: это очень умный и опытный чиновник, и его увольнение может быть для Вас весьма вредным. Вообще не горячитесь слишком первое время, осмотритесь; впрочем, это только мой совет, а Вы вольны поступать, как знаете." — Благодарю Вас за совет, которому, боюсь однако, не буду в состоянии последовать (Вы видите, что я стараюсь быть вполне откровенным). Второй вопрос, о котором я считаю необходимым переговорить сегодня же, до окончательного моего назначения, — это вопрос национальный вообще и, в частности, вопрос еврейский. Считаю долгом предупредить Вас, что я решительный и убежденный сторонник полной равноправности всех национальностей, обитающих в пределах Русского государства, решительный также противник существующей системы русификации через школу, а в еврейском вопросе — сторонник полного уравнения этой преследуемой нации во всех правах с остальными гражданами России; специально в учебном деле я — сторонник немедленной отмены процентных норм при

поступлении в учебные заведения, разрешения евреям занимать преподавательские места и открывать собственные учебные заведения. — "Что же, я сам решительный сторонник еврейского равноправия... но думаю, что не следует ставить вопрос так резко, а главное, сомневаюсь, чтобы можно было исполнить это сейчас. Впрочем, я совершенно согласен с Вами, что следует работать в намеченном Вами направлении, но окончательное решение всего еврейского вопроса следует предоставить Думе. Мы не имеем права предрешать вопроса, касающегося всего населения России накануне созыва представителей всей страны, которые одни и могут решить его в том или другом смысле, но я буду Вам очень, очень благодарен за подготовку вопроса; я далеко не враг евреям и сам считаю, что половина наших бед происходит от несправедливого отношения к ним. Должен, однако, сказать, что я в последнее время сильно разочаровался в евреях: я считал их умнее и практичнее. Что они наделали, что они делают в последнее время. Вместо того, чтобы поддержать правительство в его благих намерениях, они все делают, чтобы напакостить ему, они стоят во главе революций, разжигают страсти, проповедуют черт знает что. Они сами дают аргументы против себя в руки своих врагов..." — Я не буду отнимать у Вас времени, граф Сергей Юльевич, подробным разбором еврейского вопроса. Нахожу, что Вы неправы, откладывая его решение до Думы. Я считяю единственным и справедливым и правильным решением его — равноправие и если могу предполагать, что Дума решит его иначе, то буду всегда считать, что она решила его неправильно и несправедливо, а следовательно, буду считать неверным и тот ход, который дал возможность решить вопрос несправедливо. Но так как по существу Вы, кажется, со мною согласны, то я буду в состоянии работать в пользу того, что считаю справедливым и важным. — "В принципе я с Вами совершенно согласен". — "А как Вы смотрите на вопрос о национальной школе вообще?" — "Тут у меня мнения нет. Я уверен, что Вы прекрасно разработаете этот вопрос." — "Наконец, я обязан Вам сказать, что, в общем, я придерживаюсь взглядов довольно "левых", о чем я считаю долгом предупредить Вас как будущий Ваш сотрудник". — "То есть каких левых взглядов?" — "Я сторонник широкой самодеятельности общества, сторонник решительного ограничения администрации почти во всех ее нынешних правах, сторонник широкого местного самоуправления на началах всесословности, за уничтожение сословных и иных привилегий, в том числе за уничтожение привилегий дипломных, стою за автономию везде, где она практически осуществима без прямого вреда для дела и т. д. Если угодно Вам будет поговорить со мною по этим вопросам, Вы, может быть, убедитесь, что мое включение в состав Вашего кабинета для Вас даже нежелательно". — "Нет, что же, я не возражаю против того, что Вы говорите, но все это будет видно потом, в свое время, когда мы будем работать вместе и лучше узнаем друг друга. Теперь мне важно только знать, будете ли Вы работником, деятельным

министром, а не просто теоретиком. Нам всем нужно прежде всего работать, не покладая рук, а у Вас, видимо, широкие взгляды, что делу не помешает. Итак, позвольте мне сообщить Государю Императору, что Вы принимаете Его назначение, так как не я Вас приглашаю, а его Величество сам указал на Вас: прошу Вас это понять. А пока до свидания, в Совете министров."

И эта аудиенция длилась весьма недолго, минут 10 или четверть часа, и оставила много недоговоренного и для меня неясного. Что делать, alea jacta est*, подумал я, уходя от "премьера" (так начали все называть Витте), посмотрим, что будет дальше: как-то вы, Иван Иванович, справитесь с новым делом? Впечатление мое от слишком краткого "коллоквиума" с графом Витте было крайне неопределенное. Мой будущий шеф (как я его про себя называл) показался мне человеком, несомненно, очень умным, но весьма мало откровенным и уже совершенно не прямолинейным. Вся его фигура, несмотря на явную болезненность и нервность, внушала довольно большое доверие, причем я уверовал, что он энергично хочет добра России, но колеблется относительно путей для достижения желаемых результатов. Как потом я убедился, в людей он, действительно, мало верил, но чувствовал невозможность самому все сделать и поэтому только обращался к людям, к которым вообще относился весьма скептически. Верил он, кажется, только самому себе и в самого себя, но не доверял своим собственным решениям, будучи способен подпадать под влияния и менять убеждения под впечатлением обстоятельств. Поздно вечером 29 октября я получил приказание явиться на следующий день утром в Петергоф к Государю. Надев придворный мундир и все свои ордена, я 30-го отправился по железной дороге в Петергоф. Придворная карета с красным кучером и лакеем привезла меня в Александрию. В крохотной комнате, служившей для ожидания представляющихся Государю в этом дворце, я застал Министра двора барона Фредерикса, моего бывшего начальника, ген.-майора Трепова, назначенного только что дворцовым комендантом, флигель-адъютанта князя Орлова и другого дежурного флигель-адъютанта. Одновременно со мною прибыл германский морской агент для поднесения Государю какой-то немецкой книги. Трепов и Орлов стали меня расспрашивать, приму ли я пост министра. Я на это отвечал, что не знаю, что все зависит от моего разговора с Государем, но что я буду очень рад, если мимо идет меня чаша сия. Оба, кажется, относились не очень одобрительно к выбору меня на это место и намекали, как мне казалось, на то, что охота принимать место в кабинете с таким человеком, как Витте, во главе.

Государь принял сперва немца, который пробыл, впрочем, в кабинете не более 10 минут, а затем пригласил меня. Государь принял меня стоя, но после нескольких слов, видя, что я желаю говорить по существу, сел за стол и пригласил меня занять кресло напротив него. Комната, в которой мы находились, была небольшая, угловая, с видом

на Кронштадт, где только что происходил матросский и артиллерийский бунт[8]. Государь мне показался бледным, не совсем здоровым, но все же довольно бодрым, с добрым выражением на лице. Государь начал: "Вы говорили с Сергеем Юльевичем; он кажется теперь немного спокойнее, а то раньше, все эти дни он совершенно изнервничался, на него было жаль смотреть." — Я, Ваше Величество, нашел его довольно бодрым. — "Да, он теперь гораздо бодрее. Ну что же, Вы согласны принять место. Вы только что ушли с одного места, и Вам сейчас же предлагают другое... Я понимаю, что предлагаемое Вам место не из сладких, и понимаю Ваше желание отдохнуть после академических историй, но теперь всем нужно работать и все должны помогать общему делу." — Я, Ваше Величество, уже дал свое согласие графу Витте, а потому не счел бы себя вправе менять раз данное слово, но прошу милостивого дозволения Вашего Величества доложить о своих сомнениях, а главное, о своих убеждениях, которые могут показаться Вам несоответствующими тому посту, на занятие которого Ваше Величество предназначаете меня. Я думаю, что обязан высказаться перед Вашим Величеством со всею откровенностью, так как полагаю, что Вам необходимо знать, кто такие Ваши министры. Я умоляю Ваше Величество быть откровенным со мною, и если Вы изволите найти мои воззрения неподходящими, то не назначать меня министром народного просвещения; я бу́ду считать это за особу́ю милость с Вашей стороны и готов буду всеми доступными мне способами доказать Вашему Величеству мою благодарность. Позвольте, Государь, начать мою исповедь. Прежде всего я должен откровенно сказать, что я решительный враг существующего правительственного режима, считая его вредным как для Вашего Величества, так и для России. Я не повторяю чужие слова, а выражаю свое искреннейшее убеждение, что бюрократический режим совершенно непригоден для России, что Россия им загублена, а Ваше Величество вводитесь в заблуждение благодаря существующим у нас порядкам и всей системе управления государством. — Государь меня прервал словами: "Я совершенно с Вами согласен и лучшее доказательство этого то, что происходит здесь..." и Государь показал в окошко на Кронштадт. — Так точно, Ваше Величество, как в морском, так и в военном и в гражданском ведомствах, везде царят одни и те же принципы протекционизма, волокиты и забот о форме в ущерб сущности; все неблагополучное скрывается, если же выходит наружу, то окрашивается в такой цвет, чтобы, по возможности, скрыть концы. Большинство хлопочет не о деле, а о своих окладах, о "безгрешных" доходах. Вашему Величеству докладывают, что все обстоит благополучно, а сами заботятся только о том, чтобы ни за что не отвечать. Вина тут и в самом русском, к сожалению, характере, и в возведенной в систему безответственности администрации, и в системе назначений по протекции. Бороться с этим возможно только, по моему мнению, решительным изменением всего направления внутренней политики. — "Я думаю, что вы правы:

действительно, желательно все это изменить, надеюсь, что это и будет изменено. Я по существу оптимист и твердо верю, что все изменится к лучшему; положение очень серьезное, но не отчаянное, а со временем все изменится к лучшему, раз сознаны недостатки и существует добрая воля их исправить." — Есть один вопрос, Ваше Величество, который хотя и является по существу частным, но исключительно влияет на весь склад русской жизни, что является вопросом прямо первостепенной важности. Я считаю священным долгом коснуться его перед Вашим Величеством, так как думаю, что Вам важно знать, ранее моего назначения на министерский пост, мое отношение к нему. Вопрос, о котором я говорю, — еврейский. Я убежден, что, пока он не будет решен в смысле уравнения прав евреев с правами остальных подданных Вашего Величества, России не добиться успокоения и не добиться также улучшения всей административной машины. Евреи стоят во многих местах во главе нынешнего революционного движения, почти всюду они являются его участниками или пособниками. Могут они успокоиться только тогда, когда им будут дарованы одинаковые со всеми жителями России гражданские права, так как если христиане, мусульмане и т. д., принимая участие в революции, по большей части гонятся за утопиями, борются за идеи, осуществление которых, вероятно, не даст им ожидаемого счастья, то евреи, стремясь к осуществлению тех же идей, имеют кроме того и весьма реальную и осуществимую цель: перестать быть париями, получить возможность жить там, где они хотят и где им выгодно, воспитывать своих детей одинаково со всеми другими гражданами, занимать те же должности, какие занимают и другие подданные Вашего Величества. Исключительные законы, установленные для евреев, — не что иное (прошу Ваше Величество извинить меня за резкость выражения), как длящаяся и кричащая несправедливость, каковою является всегда всякое религиозное преследование; а что тут играет главную роль религиозная сторона вопроса — лучшим доказательством является то, что стоит еврею переменить веру, креститься — для того, чтобы он получил одинаковые права со всеми другими гражданами России. Но если даже отрицать эту сторону (т. е. религиозную) вопроса, а признать, что евреи вредны и опасны как таковые, т. е. признать, что потомки Авраама, Исаака и Иакова выработали в себе такие качества, которые делают их вредными гражданами государства, то как могут признать это они сами? Как могут евреи сказать: мы дурной народ, мы люди опасные и вера наша плохая, а потому все те ограничения, которые установлены для нас в законе, правильны, и мы охотно им подчиняемся, так как видим, что другие лучше нас. Очевидно, ни один народ этого про себя не скажет и не говорит, а потому и не может хвалить таких законов, а может только утверждать, что такие законы плохи, что с ними нужно бороться, что сам законодатель несправедлив и жесток. Но ведь тот, кто борется с существующим законом, кто хулит законодателя и восстает против него — тот и есть революционер. И евреи суть и всегда

будут революционерами, смотря по характеру — одни пассивными, сочувствующими революции, другие активными, действующими, пока не получат всей полноты прав. А ведь евреи в России, Ваше Величество, это сплоченная масса в 5 или 8 миллионов человек, т. е. колоссальная армия людей, искусственно толкаемых в революцию, которые могли бы быть лояльными и полезными гражданами.

Теперь позвольте, Ваше Величество, коснуться другой стороны еврейского вопроса — о влиянии его на качество администрации. Тут я прямо выскажу свое убеждение, что одной из крупных и неопровержимых причин развращенности чиновников и низших агентов власти являются законы о евреях[9]. Сколько тысяч чиновников, полицейских и вплоть до дворников и сельских должностных лиц стало взяточниками благодаря существованию особых законов и правил для евреев и необходимости для последних обойти эти законы и правила. Не приводя примеров и доказательств, я могу смело утверждать перед Вашим Величеством, не боясь обмануть Вас, что исключительное законодательство о евреях всегда было наилучшею школою взяточничества и беззакония для всей нашей администрации, и пока эта школа не закроется, не иметь нам честных и беспристрастных исполнителей предначертаний правительства.

Государь, когда я кончил, посмотрел на меня пристально и, помолчав несколько, сказал: — "Теоретически Вы, я думаю, правы, но с практической точки зрения придется поработать над этим вопросом. Я не против равноправности евреев, но при решении вопроса необходимо оградить интересы русских людей." — Ваше Величество, я счел долгом не скрывать от Вас моего отношения к этому капитальнейшему в моих глазах вопросу для того, чтобы Вы знали, с кем имеете дело, и могли судить, насколько желательно мое назначение на ответственный пост. Дозвольте, Государь, добавить еще несколько слов для того, чтобы охарактеризовать перед Вашим Величеством свои убеждения, которые могут не соответствовать тому понятию, которое Вы изволили составить обо мне. При реформе русского государственного строя мне кажется важным в настоящее время установление следующих положений: 1) равенство всех перед законом, т. е. уничтожение всяких сословных и иных привилегий, 2) расширение сферы компетенции местного самоуправления, которое должно быть всесословным, с соответственным сокращением значения центральной власти, и 3) равноправие всех народностей, обитающих Россию, и в том числе и даже главным образом евреев. Как общий принцип, я признаю главною обязанностью правительства — защиту слабых от сильных, а не ограждение прав сильных от посягательств слабых, хотя законная охрана должна, конечно, распространяться одинаково на всех; только общее направление внутренней политики должно, по моему убеждению, руководствоваться единым принципом: не давать в обиду слабых, которым всегда трудно тягаться с сильными, так как мне кажется, что весь смысл возникновения государств и

заключается в том, чтобы государственная власть оградила слабых от насилия сильных и установила защитительный закон в противоположность праву сильного.

Вот, Ваше Величество, в общих чертах мое profession de foi*; что же касается моих личных качеств, то думаю, как ни трудно судить о самом себе, что администратор я неважный, будучи слишком мягким и податливым и не имея особой опытности в чиновничьем деле, так как круг моей деятельности в Академии был очень ограниченным. Работать я способен много и, думаю, добросовестно, но по натуре я скорее ленив и предпочитаю домашнюю жизнь общественной, семейный очаг — канцелярии. Вашему Императорскому Величеству я лично предан всей душой и готов во всякий день и час пожертвовать жизнью за Вас; чувство это у меня личное и наследственное: наша семья всем обязана предкам Вашего Величества, и с моей стороны было бы черною неблагодарностью отказаться от службы Вам. Как я понимаю эту службу и в чем я полагаю Благо России, которое в моих глазах нераздельно с Вашим благом, — я имел счастье изложить Вашему Величеству, и не мне судить, насколько мои воззрения соответствуют намерениям Вашим, но я осмеливаюсь умолять Вас, Государь, не стесняться соображениями доброты и деликатности по отношению ко мне при решении вопроса о моем назначении. Я лично буду вечно благодарен Вашему Величеству, если Вы изволите найти возможным избавить меня от тяжкой ответственности, которую я принимаю перед Вами и перед Родиною, но не отказываюсь от нее, если Вам угодно будет возложить ее на меня.

Государь Император подумал несколько, а затем сказал: “Я все-таки прошу Вас принять место”. — Слушаю, Ваше Императорское Величество, Ваше желание — для меня — приказание, а потому я считаю себя с этого момента Министром народного просвещения. Но прежде чем откланяться, дозвольте обратиться к Вашему Величеству со всеподданнейшею просьбою: если Ваше Величество передумаете теперь или найдете через некоторое время, что я исполняю свои обязанности не так, как Вы бы того желали, то будьте милостивы и скажите это мне прямо: я обещаю, что никогда на это не обижусь и буду считать такой факт знаком особого милостивого внимания ко мне исполнением Вашего мне обещания. — “Я Вам это обещаю”. — Благодарю Вас, Ваше Величество. А затем дозвольте и мне, если я найду для себя трудным продолжать службу, прямо обратиться к Вашему Величеству, и прошу Вас обещать мне, что Вы меня тогда отпустите с миром. — “И это Я Вам обещаю.” — Еще раз благодарю Ваше Величество и осмеливаюсь просить еще об одном, последнем: если я уйду, по Вашей ли воле, или по моей просьбе, — не награждайте меня, Ваше Величество, ничем: я и так не в меру награжден Вами и чинами и орденами, а принимая ныне ответственное место в такое тяжелое время, мне было бы очень лестно подчеркнуть, что иду я на

него не ради карьеры или наград, а только исполняя долг перед Вашим Величеством и перед Родиною.

Государь встал, протянул мне руку и, улыбаясь, сказал: "Ну, в добрый час; желаю Вам справиться с делом." Я низко поклонился и вышел невольно растроганным и с мыслью, все ли я сказал Государю, что хотелось сказать, и, конечно, чувствовал, что недурно бы вернуться и выложить еще то или другое, лежавшее у меня на сердце.

В дежурной комнате на меня набросились ожидавшие там лица: "Что Вы так долго? (Я пробыл более получаса у Государя.) — Ну что, можно поздравить?" — Ну, относительно поздравлений, я сомневаюсь в их уместности; но я принял место; теперь вопрос, как я справлюсь с делом? Дело ведь нелегкое; одно утешение, что не надолго. — "То есть почему не надолго? — спросил Трепов. — "Если окажетесь хорошим министром, то останетесь им, может быть, и на десять лет". — Я с этим не согласен: я думаю, и то же говорил мне Витте, что с созывом Думы нам придется всем подать в отставку и уступить наши места другим. — "Это совершенно фальшивое воззрение," — возразил Трепов. — "Это чисто конституционная точка зрения, которую нужно бросить: не нужно давать возможность Думе полагать, что она является парламентом, который изгоняет и выбирает министров; Вы назначены Государем, и Он один судья над Вашими действиями, а не Дума. Ну, впрочем, все это мы еще увидим. Так поздравляем Вас, господин министр." Когда я вернулся в Петербург, я переоделся из мундира в сюртук и отправился к Витте, которому передал свой разговор с Государем. Витте остался им доволен и сказал, что очень рад, что я высказал все, что имел на душе, и что Государю нечасто приходится слышать такие разговоры.

1 ноября я получил копию с указа, помеченного 31 октября, коим я назначался Министром народного просвещения с оставлением Гофмейстером[10].

2. ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИНИСТЕРСТВЕ

Еще до моего назначения министром, граф Витте, получивши мое согласие на принятие этого поста, прислал ко мне человека, приехавшего по делам Министерства народного просвещения из Москвы. О. П. Герасимов явился ко мне 29 октября утром с запискою Витте приблизительно следующего содержания: "Податель этой записки, директор Московского дворянского пансиона-приюта, весьма известный и уважаемый педагог (о нем был даже разговор, как о кандидате на пост министра), привез очень тревожные известия из Москвы. Будьте добры выслушать его. Мне кажется, что с попечителем Московского округа Шварцем, который поставил себя в невозможное положение, придется расстаться". О Шварце я слыхал много и раньше: до меня доходили слухи о его непопулярности во всех трех округах, в которых он последовательно был попечителем, т. е. в Риге, в Варшаве и наконец в Москве, хотя в последнем городе он был своим человеком как старый московский профессор и заменил собою человека еще менее популярного, а именно профессора Некрасова. Эта непопулярность большинства, если не всех, попечителей округов, выбиравшихся министерством за последнее время преимущественно из профессоров, проистекала главным образом из того обстоятельства, что министерство останавливало свой выбор на том или другом лице не по соображениям практического свойства, т. е. не выбирая хороших администраторов, а только потому, что тот или другой профессор имел репутацию человека консервативных убеждений, иными словами, министерство шло как раз вразрез с общим либеральным настроением минуты. Результаты получались, конечно, блестящие, и не было, кажется, округа, в котором попечитель мог бы считать себя хозяином своего дела. Выслушав рассказ Герасимова о Шварце, я тотчас убедился, что попечитель Московского округа наделал такой ряд бестактностей и проявил так мало чуткости к потребностям времени, что его дальнейшее пребывание в должности являлось совершенно невозможным. Обсуждая этот вопрос с Герасимовым, я обратил внимание на этого последнего и разговорился с ним, благо у меня было тогда еще достаточно свободного времени. Он сразу мне очень понравился как по ясности высказываемых взглядов, по энергичности тона, так и по полному соответствию его убеждений с большинством моих собственных. Я просил его зайти ко мне еще как-нибудь, но уже в этот день, после основательного обсуждения вместе с ним целого ряда волновавших меня вопросов, решил, после двух часов знакомства, что если он примет мое предложение идти ко мне в товарищи, то

я сразу получу такого опытного помощника в министерстве, который даст мне возможность что-нибудь сделать даже и в 3-4 месяца. Герасимов ответил мне, что предпочел бы остаться в Москве, но что в такое ответственное время, каково переживаемое всей Россиею и нашим ведомством в особенности, он отдает себя в мое распоряжение как для замещения любой должности, так и без назначения на какое-либо определенное место, для совета мне по любому вопросу, если таковой мне потребуется. Несмотря на все мое желание заручиться его содействием немедленно, прошел почти целый месяц, пока я его не водворил в кабинете товарища министра, рядом с собою. Это время потребовалось на то, чтобы расстаться со старыми товарищами министра и для необходимых формальностей для назначения новых.

Тотчас по получении указа о новом назначении, я отправился с визитом к двум лицам: к товарищу министра, управлявшему министерством после отставки ген.-лейт. Глазова, С. М. Лукьянову и к попечителю Петербургского учебного округа П. П. Извольскому, которого я несколько знал раньше и о котором, между прочим, говорили до моего назначения, как о предполагаемом кандидате на пост Министра народного просвещения. Лукьянов принял меня очень любезно и тотчас постарался в общих чертах ознакомить меня с течением дел в министерстве, а также дать характеристику высших чинов министерства, причем всех более или менее и, нужно сказать, весьма тактично, расхвалил. Я пробыл в этот первый день у Лукьянова больше часа, причем все время говорил почти он один, и я вышел от него с порядочным туманом в голове, с чувством, что мне едва ли удастся даже ознакомиться в течение трех месяцев со сложной машиной делопроизводства министерства: впечатление было такое, что это — огромная фабрика, выбрасывающая тысячи циркуляров, докладов, отношений, отзывов и т. п., в полном ходу, с массою колес, рычагов и паровых котлов, с целой армией рабочих, мастеров, надсмотрщиков и десятников. Первые две недели моей службы в качестве министра я не мог отделаться от этого первоначального впечатления, и, как при выходе от Лукьянова, после моего первого визита, у меня все эти две недели фактически кружилась голова, я чувствовал все свое бессилие хоть что-нибудь не только изменить, но даже просто сделать: я стал, как мне казалось, одним из бездушных рычагов огромной бездушной машины. Посещение Извольского меня несколько ободрило в том отношении, что он, во-первых, выразил свое удовольствие именно моему назначению министром, а во-вторых — старался, с первых же слов, осветить наиболее жизненные стороны министерской деятельности, говорил об университетском движении, о беспорядках в средних учебных заведениях округа; тут, хотя и получалось впечатление страшной разрухи, но чувствовалось, что помочь можно человеческим отношением к людям и к вопросам, ими возбуждаемым, тут впечатление машины как-то пропадало и чуялась возможность руководст-

воваться чувством и нормальным здравым смыслом без особых технических познаний.

Эти впечатления приблизительно через месяц изменились довольно радикально: то, что вначале казалось таким страшным и сложным, оказалось, хотя и запущенным, неповоротливым, вследствие рутины и не всегда достаточной высоты качеств исполнителей, чистыми пустяками. Продолжая мое сравнение, можно сказать, что министерство было подобно фабрике старой системы, весьма немудреной и только очень устарелой мануфактуре, работающей ручным трудом, когда следовало уже работать паром; надсмотрщики и десятники оказались главным образом людьми мало предприимчивыми, не знающими новых способов производства и не интересующимися им. Напротив, та жизнь, тот организм, для которого мануфактура существовала, были потрясены в корне, и то, что казалось сгоряча легко поправимым, было последствием старых, хронических недугов, лечение которых требует и навыка, и осторожности, и ума, причем всякая ошибка быстро ухудшает положение и ведет за собою необходимость нового упорного врачевания.

Тотчас по опубликовании указа с моем назначении я сообщил товарищу министра, управлявшему временно министерством, С. М. Лукьянову, что приеду в министерство утром в двенадцатом часу, причем прошу чиновников не беспокоиться и не собираться для этого в столь необычный для них час. Так как я своих лошадей не держал и заводить их намерения не имел, то поехал к Чернышеву мосту на извозчике, причем произошел курьез: приехавши к полукруглому зданию министерства, я никак не мог вспомнить, к какому подъезду нужно подъезжать, и остановил извозчика у подъезда 6-й гимназии. Я вошел уже в двери гимназии и тут только заметил свою ошибку, когда гимназический сторож спросил меня, чего мне угодно. Я извинился и пошел к другому подъезду, минуя двойной проезд с площади в Чернышев переулок; таким образом, я подошел собственно к министерству пешком. За стеклянными дверями входа я увидел зорко глядевших вдаль швейцаров, курьеров и сторожей, понятно, предупрежденных о моем приезде и высматривавших прибытие моего экипажа. Первую минуту, когда я поднялся по ступенькам подъезда, очевидно, никто из них не думал, что именно я новый министр, явившийся в министерство per pedes apostolorum *, но когда я открыл дверь и вошел в переднюю, то с поразившей меня быстротою смекнули, прежде чем я раскрыл рот, кто я, и швейцар громко провозгласил: “Здравия желаю, Ваше сиятельство!”. Когда я на это ответил: “Здравствуйте”, то вся компания, с полным сознанием, отвесила мне поклон, а один из курьеров полетел наверх по лестнице, другой же стал давать тревожные звонки. Так как для первого моего посещения я надел, по совету Лукьянова, мундирный фрак со звездою, то по совлечении с меня пальто — служители могли убедиться, что они не ошиблись и действительно имели перед собою нового министра.

На звонки сторожей, пока я снимал пальто, сверху по лестнице торопливо сбежали Директор департамента общих дел Рахманов, экзекутор министерства Новицкий и его помощник; все они тут же на лестнице представились мне. Наверху меня ждали оба товарища министра — гг. Лукьянов и Ренар — и несколько чиновников особых поручений, которые были представлены мне Лукьяновым. Он же провел меня в мой обширный кабинет, помещавшийся рядом с его собственным. Для начала он предложил мне ознакомить меня с принятым до сих пор планом распределения времени министра. Во-первых, оказалось, что, как я теперь узнал, департаменты министерства помещены в двух зданиях: Департамент общих дел вместе с несколькими самостоятельными отделами — здесь, в старом здании, у Чернышева моста, а Департамент народного просвещения, ведавший собственно учебными заведениями всей страны, — в наемном доме, в совершенно другой части города, на углу Бассейной и Басковой улиц, близ Литейного проспекта. Оказалось, что и там имелся министерский кабинет, в котором можно было заседать и принимать доклады. Меня прежде всего поразило, что я, петербургский старожил, прослуживший в Петербурге без малого двадцать пять лет, не знал о пребывании Департамента министерства на Бассейной, а во-вторых, что департамент народного просвещения выслан куда-то из министерства в наемное помещение, тогда как, казалось бы, именно ему-то, как ведающему всю сущность деятельности министерства, следовало бы пользоваться преимущественным значением. Когда я через несколько дней отправился в этот департамент, я прямо пришел в ужас от тех условий, в которых приходилось работать тамошним чиновникам: до того все было неудобно, до того тесно и плохо приспособлено для канцелярской работы; кроме того, самый департамент трудно было найти, так как на доме и в подъезде не имелось никакой вывески, никакого указания на его существование здесь, почему, как мне пришлось затем неоднократно убеждаться, приезжавшие из провинции педагоги, чиновники и лица, имевшие дела по департаменту народного просвещения, теряли часто массу времени на его отыскание, не говоря уже о том, что весьма часто трудно было решить, которого из двух департаментов касался интересующий приехавшего вопрос; еще хуже обстояло дело, когда вопрос касался обоих департаментов зараз, и когда бедному просителю приходилось, изображая из себя резиновый мячик, летать из одного департамента в другой на расстоянии полутора верст, часто без видимых результатов, кроме потери времени и денег на извозчиков.

После этого, полезного для ясности дальнейшего рассказа, отступления возвращаюсь к первоначальному моему повествованию. С. М. Лукьянов, указывая на установившийся обычай, предложил мне следующее распределение моего времени: 2 раза в неделю доклад в Департаменте общих дел (административные, счетные, пенсионные дела, юрисконсультские вопросы, дела, вносимые в Государственный

совет, Комитет и Совет министров и т. п.), 2 раза в неделю — доклады в Департаменте народного просвещения (все, касающееся собственно учебных заведений всех разрядов и наименований); по окончании докладов — прием просителей и представляющихся, причем мне предлагалось просителей из публики посторонней, не служащей в министерстве, принимать 2 раза в неделю — по разу в каждом департаменте. Кроме этого, еженедельно три заседания в Государственном совете: одно общее собрание, на коем рекомендуется бывать непременно самому министру, и два заседания департаментов Государственного совета, куда можно командировать товарищей. Затем, заседания Комитета министров в неопределенные промежутки времени и заседания Совета министров, по слухам, будут происходить, вероятно, через день и где министр не может замещать себя товарищами. Наконец, каждую субботу — всеподданнейший доклад утром в Петергофе или Царском, который, принимая во внимание время прихода и отхода поездов, занимает все утро от 9 1/2 часов до 2-х. Кроме перечисленного, как утешил меня Лукьянов, желательно присутствие министра в некоторых комиссиях и заседаниях как своего ведомства, так и вневедомственных, хотя тут поручение товарищам заменять министра может практиковаться в широких размерах. Бумаги для подписи, обыкновенно в нескольких портфелях, могут присылаться ко мне на дом, и я, вероятно, буду иметь возможность заниматься разбором их только вечером или даже ночью, как делает это он-де сам и делали мои предшественники, так как днем не выкроить для этого времени. Я пока на все согласился и решил испробовать рекомендуемое мне опытными администраторами распределение времени; на первой же неделе я убедился, что это распределение могло существовать только на бумаге: разные заседания, экстренные созывы Совета министров, необходимость несколько более длительных приемов того или иного нужного посетителя разрушали весь порядок дня, заставляя перетасовывать всю последовательность предложенного мне плана распределения занятий. В эту же первую неделю мне пришлось от этого отступить в одном отношении: применяя свой академический опыт, я назначил прием лиц, имеющих надобность видеть меня, ежедневно по утрам, от 10 до 12 часов. Директор департамента Рахманов выразил опасение, что от просителей отбою не будет, но через какой-нибудь месяц практического применения моей системы сознался, что она куда лучше прежней: она сделала министра доступнее, дав, во-первых, возможность решительно всем, имеющим до него действительную или воображаемую надобность, изложить лично свое дело, а во-вторых, если дозволено так выразиться, рассиропила всю массу посетителей министерской приемной на пять дней недели (приема не было по воскресеньям и по субботам в день всеподданнейшего доклада Министра народного просвещения). Позже я слышал от своих коллег, других министров, жалобы на приемные дни, причем они плакались, что в один день приходилось принимать человек по 50-60, и что уже

после второго десятка посетителей и просителей у них начинала кружиться голова; слышал я и от публики благодарность за введенную мною систему, так как многие вспоминали время, когда министр принимал всего один раз в неделю, и прием этот длился иногда пять и даже шесть часов кряду, причем, когда, за поздним временем, прием прекращался, некоторым просителям приходилось ждать целую неделю возможности изложить свои нужды или претензии министру. При моей системе ежедневного приема по утрам получались следующие преимущества: 1) хотя вначале действительно народ повалил ко мне, что называется, валом, но очень скоро, так через неделю, число приходящих сократилось до 15-20 в день, а позже, когда одновременно со мною стали принимать новые товарищи мои, то число это редко превышало 10; 2) никто из имеющих ко мне надобность не уходил, не повидавшись со мною, а если имел нужду подробнее изложить свое дело, то отсылался мною до следующего дня, когда и доканчивал свой рассказ; если же внушал мне особый интерес, то приглашался мною на дом, где спокойно мог переговорить со мною; 3) "исполнение" по прошениям и заявлениям значительно ускорялось, так как к 12 часам самые важные прошения были уже ежедневно снабжены моими резолюциями, и департаментам оставалось пустить их в ход, дать им "движение", тогда как раньше сразу и в один день получался целый ворох "входящих" бумаг, которые нужно было сперва доложить министру, а затем уже заняться ими; 4) часы от 10 до 12 утра в Петербурге, где деловая жизнь начиналась всегда поздно, не совпадали ни с какими другими приемными часами многочисленных ведомств, между тем главный контингент просителей — провинциалы, привыкшие вставать раньше петербуржцев и, кроме того, часто имевшие нужду заглянуть не в одно наше ведомство, но и в другие. Правда, я сам был в одном отношении исключением из обычного типа петербуржцев: тогда как большинство чиновников вставало с постели около 10 часов, я приучил себя с юношества просыпаться и зиму и лето в 6 1/2 часов утра; зная чиновничью привычку, я просил служащих департамента не стесняться моих ранних приходов в министерство, и они, действительно, приходили только около 12 часов; но они и не были лично для меня нужны; исключение составляли директор департамента, дежурные чиновники особых поручений и дежурные по департаменту, но для большинства этих господ новый порядок повлек за собою необходимость пораньше вставать раз или два в неделю, только директор А. В. Рахманов и экзекутор г. Новицкий приходили на службу в 10 часов ежедневно. Впрочем, на мой вопрос А. В. Рахманову, не очень ли я стеснил его новым порядком, он мне, месяца через два после введения нового режима, ответил, что, напротив, я доказал ему правильность немецкой пословицы: Morgenstunde hat Gold im Munde*. Через некоторое время, когда число посетителей естественно, сократилось, я ввел еще одно новшество: в течение утренних приемных часов А. В. Рахманов мне докладывал все

"входящие" бумаги, поступившие накануне и в тот же день до 10-ти часов; кроме того, я пробегал всю утреннюю корреспонденцию на мое имя; этим я достиг того, что вместо прежних четырех, пяти и более портфелей, которые ежедневно присылались ко мне на дом, стал получать лишь изредка по одному портфелю, и только в воскресенье мне доставляли полную партию, которую на досуге я разбирал, и в понедельник утром имел обыкновенно всего две-три новых бумаги, требовавших резолюции; кроме того, тогда как вначале, предоставленный самому себе, я просто терялся в море дел, нуждавшихся в моем решении, я при новой системе мог воспользоваться советами директора, служебная опытность которого оказалась для меня и для дела в данном случае действительно полезною и уместною.

Я так подробно остановился на этих деталях моей министерской службы, весьма мелких сами по себе, потому что подобные мелочи имеют свое значение в общей экономии жизни и деятельности человека, а кроме того, у меня составилось убеждение, что именно благодаря этим ежедневным утренним приемам я получил возможность наилучшим и кратчайшим способом войти в самую суть дела, ближе узнать людей и войти в их интересы; кроме того, своей доступностью я, несомненно, расположил к себе многих людей, которые оказались потом весьма нужными и полезными для дела; нисколько не утверждая, что за 6 месяцев моего заведования министерством мне удалось многое фактически исполнить, я думаю, что довольно резкое изменение в направлении деятельности ведомства и то немногое, но характерное для этого направления, что удалось провести в жизнь, во многом обязано изменившемуся отношению к "публике", как называют чиновники лиц, имеющих нужду до них. Если этим запискам суждено появиться на свет Божий, то, может быть, кто-нибудь из моих заместителей по должности сочтет для себя нелишним взвесить мои слова и испробовать на практике верность моей мысли.

Чтобы не возвращаться более к этой части моих воспоминаний, позволю себе вкратце описать здесь картину моего ежедневного утреннего пребывания в министерстве, начиная с конца ноября 1905 г. и вплоть до моей отставки, последовавшей 24 апреля 1906 г., картину (sit venia verbo*), повторяющуюся изо дня в день, с правильностью хорошего хронометра.

Утром в 9 часов ко мне на квартиру приезжал дежурный курьер (их было четверо, дежуривших понедельно и по очереди у меня и у обоих товарищей министра; таким образом, один из них через каждые три недели на одну неделю был свободен от дежурства), которому я сдавал просмотренные портфели, когда таковые были в наличности, и бумаги, адресованные ко мне прямо на квартиру, и отсылал его в Министерство. Все "дежурство" курьеров у меня заключалось в следующем: в 9 часов утра один из них приезжал ко мне на квартиру, затем до 12 часов оставался в министерстве и приезжал затем в 6 часов вечера узнать, не нужно ли мне чего, а через полчаса отпускался. В

том случае, когда погода была хороша, я выходил из дому приблизительно в 9 ч. 20 мин. и шел пешком к Чернышеву мосту, через Александровский сад и по Невскому; когда шел снег или позже дождь, то я выходил приблизительно в 9 ч. 40 мин. и ехал в министерство на извозчике. В том и в другом случае я ухитрялся быть у подъезда министерства в 10 часов без двух или без пяти минут, изредка только несколько раньше. В подъезде меня встречали, всегда очень приветливо и просто, швейцар, его помощник-сторож и дежурный курьер, принимавший от меня портфель, когда я приносил его с собою. На лестнице, приблизительно так на половине ее, встречал меня экзекутор или его помощник, всегда в вицмундире (я сам уже на вторую неделю моей службы в министерстве стал ходить туда в штатском сюртуке), которому я жал руку. Наверху в приемной меня встречали дежурный по департаменту чиновник, директор департамента А. В. Рахманов и дежурный чиновник особых поручений. Поздоровавшись со всеми этими лицами, я шел в сопровождении г. Рахманова прямо к себе в кабинет, через большую приемную залу. Иногда она была еще пуста, иногда в ней сидело уже несколько человек, с которыми я, проходя через залу, раскланивался. В первом случае, т. е. когда в зале еще никого не было, Рахманов сейчас же открывал имевшимся у него ключиком все портфели и докладывал вкратце содержание всех заключавшихся в них бумаг, причем я тут же клал карандашом резолюции. Этот разбор портфелей (их всегда было три: д-та общих дел, д-та народного просвещения и отдела технических училищ; иногда прибавлялся к ним четвертый — юрисконсультской части, еще реже пятый какого-либо специального отдела) длился обыкновенно полчаса. Во втором случае, т. е. когда были налицо просители или посетители, пришедшие ранее 10 часов, я обыкновенно принимал их тотчас, а Рахманов забирал портфели к себе в кабинет и приносил их разобранными через некоторое время, когда я успевал отпустить ранних гостей. Как в первом, так и во втором случае доклад Рахманова часто прерывался на четверть часа приходом О. П. Герасимова, который заходил ко мне в кабинет если не каждый день, то через день, чтобы переговорить о текущих делах. После перерыва занятия с Рахмановым продолжались до полного разбора портфелей и корреспонденции на мое имя, которая вручалась мне нераспечатанною. По окончании разбора содержимого портфелей, дежурный чиновник подавал мне памятную записку, в которой были перечислены сидящие в приемном зале лица с обозначением их званий и, по возможности, с указанием вкратце с их слов того, что им от меня нужно. Я тут же отмечал карандашом, кого я намерен принять в кабинете, ставя перед каждым именем очередной номер; при этом я руководился обыкновенно такими соображениями: все депутации принимались первыми, затем начальники и профессора высших учебных заведений, провинциальные земцы и предводители дворянства, наконец наши чиновники. Остальных, являющихся по частным своим делам, я

принимал в зале, выходя к ним после приема в кабинете. Если некоторые выражали желание поговорить со мною наедине — я просил их обождать, обойдя всех в зале и приняв от каждого прошение, приглашал оставшихся по очереди в кабинет. Обыкновенно весь прием кончался к трем четвертям двенадцатого, и тогда я еще полчаса посвящал разговору с обоими товарищами, которых вызывал к себе в кабинет (смежный с моим), или заходил в кабинет О. П. Герасимова (смежный с моим), и мы делились впечатлениями и договаривались относительно направления тех или других дел. Иногда, хотя и не часто, прием, вследствие числа лиц или вследствие важности дел, с которыми они являлись, затягивался до половины первого и, в совершенно исключительных случаях, до часа. Раз в неделю я, совместно с товарищами, принимал доклад начальников разрядов Департамента общих дел в присутствии директора и вице-директора вслед за приемом, когда он не слишком затягивался. После всего этого я, обыкновенно около половины первого, а иногда уже в двенадцать, уезжал из министерства на извозчике домой завтракать и уже в этот день в министерство не возвращался, если не было мною назначено какое-либо заседание под моим председательством. Так проходил каждый день, за исключением праздников и суббот. В субботу, вернувшись с всеподданнейшего доклада в Царском, я в вицмундире приезжал в министерство прямо со станции около двух часов дня, и тогда принимал разных посетителей, которым почему-либо невозможно было ждать до понедельника, и так же, как в другие дни утром, разбирал с Рахмановым почту, приблизительно часов до трех. Если им самим нужно было, к этому времени по субботам приезжали и товарищи министра, оба или один из них, смотря по надобности.

Описанный мною порядок установился твердо только приблизительно через месяц после вступления моего в должность, а вначале было не то. Выше я упомянул о плане распределения времени, предложенном мне С. М. Лукьяновым; позволю себе описать, что из этого вышло. Должен сказать, что ранние мои приезды в министерство начались на первой же неделе моей службы в новой должности. Лукьянов уже дожидался меня (он тоже, кажется, был ранний вставальщик) в своем кабинете, причем оставлял отворенной дверь между своею и моею комнатами. Как только я входил в сопровождении Рахманова в свой кабинет, Лукьянов входил в него из другой двери, просил директора удалиться и начинал чрезвычайно подробный разговор со мною о делах, требующих разрешения или предстоящих к рассмотрению. Разговор этот длился добрый час ежедневно, причем говорил всегда почти один Лукьянов, а я молча должен был слушать: конечно, он был в курсе всех дел, имел вполне определенное воззрение на каждое из них и вполне добросовестно вводил меня, совершенного новичка в ведомстве, во все тайны делопроизводства и политики Министерства народного просвещения. Разговор или, верите, лекция товарища министра прерывались только тогда, когда директор

департамента раза два или три, с извинением, зайдет, бывало, с докладом, что такие-то и такие-то лица ждут чести лицезреть меня. Только тогда С. М. Лукьянов, вежливо извинившись, уходил к себе в кабинет, и я начинал прием. О разборе пресловутых портфелей не могло быть уже более речи, тем более, что вначале прием, отчасти потому, что я не приобрел еще нужной опытности, отчасти потому, что в ноябре 1905 г. как раз было очень горячее время и всем было о чем порассказать, затягивался свыше всякой меры. Поэтому поневоле портфели отправлялись неразобранными ко мне на квартиру, и мне предоставлялось самому разбираться в совершенно незнакомой для меня в то время области, по вечерам, ночью или когда вообще я мог улучить время.

Доклады в обоих департаментах происходили в то время при такой обстановке: кабинет министра с огромным, в пять аршин длины, письменным столом почти в центре комнаты. Я сижу в кресле в середине длинной стороны стола, по обе мои стороны, у узких концов — оба товарища — Лукьянов и высокий старичок Ренар, оба в вицмундирах и при звездах; за длинной стороной стола напротив меня — директор и вице-директор департамента (а в Департаменте народного просвещения — еще и управляющий отделом технических учебных заведений Н. И. Тавилдаров) и между ними, как раз насупротив меня — докладчик, заведующий одним из “разрядов”, как назывались в Министерстве народного просвещения отделения департаментов. Заведующий разрядом докладывал мне сущность вопросов, а также свои соображения относительно дальнейшего направления дела, а затем ожидал почтительно моей резолюции. Все кругом молчали, но стоило мне раскрыть рот и выразить мнение, как вмешивались обыкновенно все, за исключением г. Ренара, который чаще всего упорно молчал, и представляли соображения свои, почему нельзя разрешить вопроса именно так, как я того хотел, очевидно по своей неопытности. Длились эти доклады в Департаменте народного просвещения бесконечно долго, иногда до 5 часов подряд; один заведующий разрядом чередовался с другим, каждый из них докладывал целую серию часто самых казусных для меня дел, каждый раз я пытался изречь мудрую резолюцию и... почти каждый раз я, оказывается, попадал, что называется, пальцем в небо: или моя резолюция противоречила формальному закону, или целый ряд циркуляров моих предшественников решали подобные вопросы как раз в противоположном смысле, на что имелись непреложные свидетельства в виде подлинных документов, или, наконец, я создавал такой прецедент, с которым пришлось бы потом возиться до второго пришествия; одним словом, я чувствовал себя в положении бессмертного Санчо-Пансы, когда его возвели в сан губернатора и угощали обедом, за которым ему подавали исключительно такие блюда, которые он, по мнению наблюдавших за ним врачей, без риска умереть не имел возможности есть. Именно на этих докладах я сильнее всего почувствовал, что так продолжаться

не может: если сохранить в их должностях гг. Лукьянова, Тавилдарова, Тихомирова, то придется se soumettre ou se démettre*, ибо не я буду управлять министерством, а они; следовательно, если я хочу сам попробовать управлять министерством — мне необходимо заменить своих ближайших сотрудников и, за краткостью предоставленного мне времени, по возможности немедленно, хотя бы с риском пуститься в рискованные авантюры, лишившись людей, несомненно опытных и знающих. Но нужно было спросить, к чему привели их весь их опыт и все знания? Иными словами, в каком положении я застал министерство и какие средства мне предлагались этими опытными людьми, чтобы поправить наши дела? В высших учебных заведениях не только повсеместно прекратились занятия, но было ясно, что при всякой попытке открыть их — они опять явятся ареной самой широкой и необузданной революционной деятельности; средние учебные заведения то закрывались, то открывались, причем тоже самым усердным образом втягивались заинтересованными в том лицами в общественное движение; низшие учебные заведения были почти всюду в самом печальном положении, так как значительный процент учителей и учительниц за политическую антиправительственную деятельность был арестован или выслан, почти все казались правительству подозрительными и могли каждую минуту лишиться места. Профессура почти в полном составе, хотя и по разным причинам, становилась или отрицательно, или (и это в большинстве) прямо враждебно к заправилам министерства; наконец, за два предыдущих года понемногу сформировался и к этому времени приобрел большую силу "Академический союз", в который входило огромное количество профессоров и преподавателей высших учебных заведений[1] и преподавателей средней школы[2]. Союз этот открыто объявлял себя непримиримым врагом министерства, всей системы преподавания и всех мероприятий центрального управления. Для полноты картины следует указать на неудержимое националистическое центробежное движение инородческой школы, являющееся лучшим показателем всей негодности и неумелости политики министерства в деле "русификации" окраин с помощью школы. Что же делало министерство среди этой бури, среди общего развала и крушения всех устоев, им созданных? А вот что: в тех случаях, когда оно чувствовало малейшую возможность сделать это без крайней опасности и без особого скандала, оно ограничивалось подтверждением старых циркуляров, указанием на закон, требованием исполнения установленных формальностей. Когда оно чувствовало опасность крупного скандала в случае настаивания на своих требованиях, оно держалось правила "laissez faire, laissez passer"**, делая вид, что оно по доброте никого наказывать не хочет или что оно просто не замечает беспорядка. О каком-либо плане действий, о сознании, что должен же существовать какой-либо первородный грех во всей системе нашего официального образования, приведший к полной разрухе, я не мог заметить ниже следа в высших

представителях ведомств. Какой бы вопрос ни возникал, какое бы необычайное происшествие ни доходило до сведения министерства — оно хранило какое-то олимпийское спокойствие, не предпринимая ровно ничего, если не считать подтверждения циркуляров и указаний на действующий закон; принимая вышеписанные доклады, я замечал в гг. Лукьянове и Тихомирове рядом с трудно скрываемым озлоблением против нарушителей установленного порядка — еще ироническое отношение как к самому общественному движению, охватившему всю Россию, так специально к деятелям этого движения из среды педагогической в широком смысле этого слова, и учащихся: посмотрите-мол, люди добрые, чего захотели? А ну-ка, что еще выдумают? Как-то они выберутся из заваренной каши без нашей помощи? Само министерство, по-видимому, принципиально почти никаких мер не только не предпринимало, но даже не проектировало, но сердилось на бездействие местных властей, радуясь всякому случаю, когда попечители округов[3], а еще лучше охранное отделение Министерства внутренних дел или губернаторы применяли крутые меры репрессии: "Так их, голубчиков и надо: но заметьте — мы тут ни при чем, наша хата с краю; однако дотанцевались-таки, милые: сами виноваты, что нас не хотели слушаться." Конечно, всегда бывает трудно ручаться за верность своих собственных впечатлений, но в данном случае эти впечатления были настолько ярки и настойчивы, они настолько совпадали с тем, что говорилось о заправилах министерства в кругах, в которых я раньше вращался, что у меня все настойчивее внедрялось убеждение, что с существующим составом высших чинов министерства не стоит и затевать чего-либо по ведомству народного просвещения, ибо прежде чем бороться с настроениями школы, пришлось бы вступить в борьбу с ближайшими помощниками, иначе говоря — сражаться на два фронта; это значило признать себя заранее побежденным, и в таком случае простое благоразумие и даже польза самого дела указывали на необходимость сложить оружие и очистить место для другого, более энергичного или умелого деятеля. Противоположная тактика заключалась в том, чтобы обеспечить свой тыл, заменив старых деятелей новыми, на которых можно было положиться, а затем viribus unitis * приняться за дело, пока самого не прогнали. Не без колебания и не без сомнений относительно собственных сил и уменья, я, после недолгого размышления, решился испробовать свои тактические и стратегические способности.

Раз решившись, я посвятил первых три недели своей службы в министерстве главным образом мучительному для меня процессу замены личного состава управления. Задача моя усложнялась тем, что, кроме центрального ведомства, приходилось обратить внимание на управление местное, иначе говоря, на личности попечителей округов. Вполне естественно, что характер и направление небожителей министерского олимпа отражались на этих столпах министерской системы: главное старание большинства попечителей заключа-

лось в том, чтобы в управляемых ими округах “все обстояло благополучно”, иными словами, старание устроить так, чтобы помимо них не возбуждалось “вопросов”; так как в переживавшееся время эта цель была просто недостижима, то приходилось спасать самого себя, наилучшим для этого средством казалось балансирование между угождением либеральным элементам, когда они были влиятельны или опасны, и старанием выказать себя консерваторами перед министерством, отдавая на съедение губернаторам и иным местным властям тех мелких сошек из педагогического мира, которые казались попечителю нестрашными. Уступая во всем существенном, большинство попечителей проявили непомерную строгость в мелочах, в вопросах служебной дисциплины в тех случаях, когда они думали, что попадают своими распоряжениями в тон министерству, но тщательно обходили подводные камни там, где они имели основание опасаться, что ответственность за их решения останется лежать на них самих. Последствием такой “мудрой” осторожности являлось то, что они в целом ряде дел, требовавших немедленного решения на месте, предпочитали испрашивать “руководственных” указаний министерства, которое в свою очередь решало или отмалчиваться, или глухо ссылаться на свои старые циркуляры. Министерство было завалено просьбами попечителей об указании, как им действовать, а Министерство, в свою очередь, усердно занималось отсылкою “на заключение” попечителей получаемых из округов жалоб на их действия или, вернее, бездействие. Эта игра в мячик не была лишена остроумия и занимательности, но, естественно, вела к полнейшей дезорганизации порученного ведомству дела.

Ко времени моего возведения на пост министра обращали на себя, хотя и по различным причинам, всеобщее внимание широких кругов двое попечителей: московский профессор Шварц и оренбургский, г. Зайончковский. Первый из них, почтенный старик, но еще вполне бодрый, бывший ранее того попечителем сперва Рижского, а затем Варшавского учебных округов, оказался в центре целой бури, поднятой вокруг него всем, можно сказать, обществом первопрестольной и всей ее прессою: наивно поверивши одному из бесчисленных циркуляров Министерства народного просвещения, не во время и неловко применивши его, Шварц попал впросак и, не сделавши ничего постыдного или неоправдываемого с узкослужебной точки зрения, поставил себя в такое положение, что поневоле приходилось мне или предоставить разыграться в Москве невиданному скандалу, или пожертвовать попечителем. Второе решение представлялось тем необходимее, что, когда я ознакомился с сущностью всей московской истории, мне стало вполне ясно, что если б я даже решился поддержать, руководясь советами заправил министерства, авторитет Шварца, я сразу довел бы москвичей до белого каления, оказавши и ему, а главное, и самому делу только медвежью услугу, так как не могло быть ни малейшего сомнения, что после первой истории последует вторая и третья, от

которых никому и ничему не поздоровилось бы. Я решился вызвать Шварца в Петербург и откровенно высказать ему свою точку зрения. Должен здесь отдать полную справедливость попечителю Московского учебного округа: он вел себя в продолжение неприятной для нас обоих беседы с полным достоинством и тем сильно облегчил мою задачу. В данном деле, которым мне пришлось заняться в самые первые дни моего министерства, у меня был один важный козырь — предварительно высказанное самим графом Витте мнение, что "со Шварцем придется расстаться". Пользуясь этим, мне не стоило особого труда выхлопотать ему назначение в сенаторы и сделать таким образом отступление попечителя почетным.

Возведение Шварца в звание сенатора возымело неожиданное для меня последствие: ко мне обратился 2-й товарищ министра, тайный советник Ренар, с просьбою об отставке, причем он намекнул, что был бы особенно счастлив, если б и он, подобно попечителю Московского учебного округа, удостоился назначения в Сенат. Этот вопрос мне тоже удалось быстро уладить, и я тут сразу как-то почувствовал, что "становлюсь на рельсы". Почти тотчас вслед за переходом в Сенат Шварца и Ренара последовал выход из министерства другого товарища министра, С. М. Лукьянова. а затем попечителя Оренбургского округа, Зайончковского. С. М. Лукьянов сам возбудил вопрос о своем уходе, и мы расстались с ним весьма прилично и, насколько это возможно в подобных случаях, дружелюбно. Я хлопотал даже о назначении его членом Государственного совета, но неудачно, и он был назначен сенатором, но с присвоением ему повышенного содержания; вслед за моей отставкою, в начале мая 1906 г. ему все-таки удалось, не знаю, благодаря каким влияниям, попасть в преобразованный Государственный совет, по назначению от правительства.

Несравненно труднее и неприятнее, в смысле отрицательных впечатлений, оказалось увольнение Зайончковского. Начать с того, что он, очевидно чувствуя, что ему предстоит, упорно отказывался приехать в Петербург, несмотря на мои вызовы: пришлось несколько раз повторить приказание о приезде в самой категорической форме, прежде чем он явился ко мне. Зайончковского я до сих пор никогда не видал, но слыхал о нем, кажется, больше, чем о ком-либо из высших чинов министерства. Он прославился еще в Остзейском крае, где в качестве окружного инспектора был самым рьяным исполнителем "русификаторской" системы; о нем без раздражения не мог, кажется, говорить ни один балт; во время Бобриковского погрома Финляндии[4] он был временно вызван и в этот край для дачи практических советов, как, посредством школы, удачнее убедить финнов, что они природные русские. Связи Зайончковского с Министерством внутренних дел и его близкое знакомство с деятелями охранного отделения (содействие коих он, по-видимому, очень ценил в деле управления школой), по личному моему убеждению, не подлежали сомнению. В Министерстве народного просвещения он имел репутацию необычайно энергичного,

исполнительного чиновника самого "охранительного" направления. Оренбургский учебный округ считался в министерстве, вследствие отсутствия в нем высших учебных заведений, этих вечных источников страдания ведомства, а также вследствие его отдаленности от столиц, одним из наименее важных и интересных. Между тем, несмотря на энергию и усердие попечителя, округ этот был в самом невероятном состоянии: ряд учебных заведений фактически перестали существовать, в других революция свила себе прочное гнездо, вопли и стоны со всей территории округа доносились до министерства в виде телеграмм и прошений учителей, учеников и учениц, их родителей и просто обывателей; многочисленные корреспонденции чуть ли не во все газеты указывали на полнейшую разруху всего школьного дела в округе.

Когда наконец Зайончковский приехал по моему вызову, он тотчас явился ко мне утром в министерство. Я увидал сравнительно молодого человека в мундире с Анной на шее, весьма здорового и бравого вида, довольно благообразного, с русой бородой. Он вытянулся "в струнку" и отчеканил почти по-военному: "Честь имею представиться Вашему сиятельству — попечитель Оренбургского учебного округа действительный статский советник Зайончковский". Я попросил его сесть и обратился к нему с вопросом о состоянии округа. "В округе, Ваше сиятельство, происходит то же, что везде, не лучше, может быть, но во всяком случае не хуже, чем всюду: революционеры стараются завладеть школою, а я им, по мере сил и умения, мешаю. В Оренбурге, где я живу и где учебные заведения находятся под непосредственным моим наблюдением, мне удалось сохранить полный порядок; в других городах округа, который растянулся на многие сотни верст, мне нет возможности самому уследить за всем, а потому происходят большие или меньшие беспорядки: знаю, что на меня сыплются со всех сторон обвинения и заявляются претензии, но исходят они исключительно от революционеров, от врагов порядка, и объясняются тем, что я потачки никому из них не даю и стараюсь верою и правдою служить Государю и своему начальству..." — Прекрасно, Ваше превосходительство, я попросил бы Вас представить записку, в которой Вы, хотя бы в общих чертах, изобразили состояние округа и те меры, которые Вы сочли нужным применить для поддержания в нем порядка и для борьбы, как Вы указываете, с революционным движением в школе. "Извините, Ваше сиятельство, я не понимаю, какой записки Вы изволите требовать от меня; больше того, что я имею честь докладывать Вам устно и что я излагал в рапортах, я не имею ничего сказать." — Ну хотя бы это; может быть, Ваше превосходительство прибавите изложение Ваших соображений о том, что следовало бы сделать, чтобы восстановить правильные занятия в учебных заведениях. — "Такие соображения — дело начальства, а я являюсь только исполнителем указаний министерства на месте." — Видите, Ваше превосходительство, я буду с Вами откровенен; Ваша деятельность в округе возбуж-

дает такую бурю, заставляет так много говорить о себе, несмотря на Ваше недавнее назначение попечителем, что является серьезное сомнение, возможно ли Вам будет сохранить Ваше место. — “Ваше сиятельство, не верьте наветам: ведь это все та же партия анархистов и революционеров, которая завладела газетами и общественным мнением, которая и лжет на меня; все спокойные и патриотичные люди за меня. Впрочем, я ведь понимаю, что времена изменились и что есть разница между прежним режимом и настоящим. Я откровенно говорю, что если б до 17 октября кто-нибудь в гимназии осмелился крикнуть “Да здравствует конституция!”, я счел бы долгом подвергнуть его наказанию; после 17 октября я обязан считать столь же преступными возгласы с требованием восстановления неограниченного самодержавия... Я понимаю, что времена меняются, меняются и понятия о дозволенном и недозволенном...” На это profession de foi я ответил решительно: — Извините, Ваше превосходительство, но я думаю, что нам вместе положительно трудно будет служить. — “Вы предлагаете мне подать в отставку?” — Да, я прошу Вас об этом; можете быть уверены, что я приложу все старания выхлопотать Вам приличную пенсию. — “Прошу Ваше сиятельство дозволить подвергнуться докторскому освидетельствованию: у меня действительно болезнь сердца, а человек я бедный, по закону, к тому же, не выслужил пенсии; дайте мне возможность не жить в нищете за мою усердную службу Его Величеству.” — Сделайте одолжение, дайте освидетельствовать себя министерским врачам; постараюсь, в чем могу, быть полезным. — Я сдержал свое слово и выхлопотал ему вне правил пенсию, кажется, в 2500 р.; за него оказался, однако, ходатаем сам Д. Ф. Трепов, который просил министра финансов И. П. Шипова об увеличении этой пенсии что ли до 3600 р. (цифры я точно не помню), причем обращался ко мне, чтобы я поддержал его просьбу. Я и это исполнил, и он получил, по особому всеподданнейшему докладу, этот оклад. В благодарность, г. Зайончковский счел, конечно, “долгом верноподданного” подать через Трепова записку Государю и копию с нее, через кого-то, великому князю Владимиру Александровичу. Оба экземпляра мне были переданы, без всяких комментариев, Государем и великим князем. В записке этой значилось, что в лице графа Толстого на место Министра народного просвещения назначен крайний либерал, действующий лишь по наущению и по указке “Сына Отечества” и иных радикальных газет и изгоняющий со службы всех верных царских слуг, имея намерение заменить их революционерами, и т. д. Тон и содержание записки были действительно характерны для бывшего попечителя Оренбургского округа, и я поистине возрадовался, увидев, что не ошибся, решившись расстаться с г. Зайончковским.

Позже мне пришлось расстаться еще с четырьмя попечителями округов: Рижского — Ульяновым и Виленского — Поповым, которым оказалось необходимым выяснить невозможность дальнейшей со

мною службы, и Харьковского — Алексеенко и Одесского — Сольским, которые сами подали в отставку. Перемены в центральном управлении ознаменовались уходом директора департамента народного просвещения, профессора Тихомирова и заведующего отделом технических училищ Тавилдарова. Бывший профессор и ректор (по назначению от правительства) Московского университета Тихомиров еще в Москве пользовался репутацией вполне честного человека, но и решительного реакционера. Призванный на пост директора департамента, он считался в министерстве лучшим знатоком университетского вопроса, и главным образом при его участии был разработан проект нового университетского устава, который я, при поступлении в министерство, застал в период печатания[5]. Когда все экземпляры этого проекта были отпечатаны и разосланы по моему распоряжению во все университеты, профессор Тихомиров, тяготясь, очевидно, своею ролью при мне и при двух новых товарищах министра, испросил у меня как-то доклад, по окончании которого, самым естественным тоном сказал: "А теперь, Ваше сиятельство, позвольте мне сказать несколько слов о себе. Я был приглашен в министерство главным образом для составления нового университетского устава; теперь эта работа окончена, а потому позвольте Вас просить уволить меня от моей должности. Очень Вам благодарен за Ваше любезное отношение ко мне и позвольте вручить Вам мое прошение об отставке, составленное по всем правилам. Прошу Вас дать ему ход. Я был в восторге, сознаюсь откровенно, от той формы, в которую облек свою отставку проф. Тихомиров, неизбежность которой мною ясно сознавалась; должен отдать здесь справедливость тому достоинству и порядочности, которую проявил в этом щекотливом деле уходящий директор департамента. Профессору Тавилдарову я, под сурдинку, помог получить место директора Экспедиции заготовления государственных бумаг, освободившуюся за отказом от нее моего хорошего приятеля Г. И. Франка, который предупредил меня о своем предстоящем выходе как раз вовремя. Не могу здесь умолчать, что проф. Тихомиров пользовался особенным благоволением Д. Ф. Трепова, знавшего его еще по Москве и говорившего мне, что единственный человек, на которого я могу опереться в министерстве и на которого можно во всех делах положиться, — Тихомиров: и умный, и честный, и хорошего направления человек. Тавилдаров пользовался уважением графа Витте, который выразил мне свое удивление, что я так легко с ним расстался. По слухам гг. Лукьянов и Шварц тоже пользовались высоким покровительством, но так как никаких фактических данных относительно этого у меня нет и не было, то утверждать этого с уверенностью я не могу.

Тяжелая необходимость увольнения из ведомства целого ряда лиц, занимавших наиболее ответственные и видные должности, влекла за собою другую необходимость — отыскания и назначения новых лиц. Тут на первом плане стояло, очевидно, замещение должностей обоих товарищей министра, моих ближайших сотрудников и заместителей

всюду, где я сам не мог поспеть. Теперь, когда я более не у дел и могу спокойно оценить истекшие дни своего пребывания на министерском кресле, смело утверждаю, что в этом деле мне, что называется, повезло. Вспоминая свою совместную работу с О. П. Герасимовым и П. П. Извольским, я невольно чувствую наплыв самого теплого и благодарного, как по отношению к обоим этим людям, так и к самой судьбе, чувства; за пять месяцев дружной работы при самых тяжелых внешних условиях ни разу между нами не произошло ни малейшего недоразумения, ни разу не проявилось какого-либо принципиального или неразрешимого разногласия даже в мелочах, ни разу отказа или заминки в совместной работе. Каждый из моих товарищей в своей области оказался выдающимся знатоком дела, и если мне удалось за краткое время службы в министерстве что-либо сделать или наметить в будущем, то только благодаря неоценимому сотрудничеству моих обоих товарищей, вложивших в дело и весь свой выдающийся ум, и все свои широкие знания, всю свою опытность. Каждый из нас троих отличался от двух других и складом ума, и предшествовавшей деятельностью, и характером; мы были, можно сказать, совершенно неизвестны друг другу накануне того дня, когда уселись за совместную работу; и при существовании таких данных, мы почти с первого дня нашего знакомства проработали без малого полгода не как люди, случайно сошедшиеся на одном деле, но как дружная семья, как три родных брата, делящих между собою все горести и радости жизни.

Выше я рассказал о том, как я познакомился с О. П. Герасимовым. Когда отставка гг. Лукьянова и Ренара не подлежала больше сомнению — я тотчас написал Герасимову письмо в Москву, прося его, в силу спешности дела, телеграфировать, какое из двух мест он согласен занять: освободившееся, за уходом Шварца, место попечителя округа или товарища министра, причем высказал свое личное желание иметь его здесь около себя; просил я его телеграфировать кратко словами: “первое”, если он желает непременно остаться в Москве, и “второе”, если согласен ехать в Петербург. На это я получил ответ приблизительно такого содержания: “предпочитаю первое, но если Вам кажется необходимым, согласен на второе”. Я тотчас попросил его приехать в Петербург, причем поспешил заявить С. Ю. Витте о моем намерении назначить Герасимова товарищем министра, на что он сейчас же согласился и вполне одобрил мой выбор. Следует заметить, что именно к этому времени был составлен наказ Совета министров, согласно которому, между прочим, назначение высших чинов всех министерств обязательно подвергалось предварительному рассмотрению Совета и могло совершаться лишь с согласия большинства его. В силу этого правила, порядочно стеснившего некоторых из нас и затянувшего некоторые назначения, я был принужден до представления всеподданнейших докладов о назначении своих товарищей, попечителей и директоров департаментов, проводить эти представления через Совет министров,

выслушивая критику своих коллег относительно тех или других предположений моих.

О. П. Герасимов на мой вызов тотчас, как я уже сказал, приехал в Петербург, и мы приступили, не теряя времени и до фактического его назначения на место товарища министра, к совместному обсуждению предстоящих задач. К истинной моей радости, мы оказались согласными по всем главным вопросам предстоявшей нам к исполнению задачи, но, кроме того, Герасимов проявил такую огромную опытность в вопросах среднего и низшего образования, что привел меня прямо в восторг, так как снабжал этой опытностью центральное управление министерства, т. е. именно тем оружием, которого у меня лично совершенно не хватало: о средней школе, как и о народной, я мог судить, как любой образованный человек из публики, откровенно говоря, как профан в деле, а Герасимов вносил многолетний опыт преподавателя гимназии, директора образцового пансион-приюта в Москве и члена целого ряда педагогических советов средних учебных заведений (в качестве директора пансиона); кроме того, он долго занимался народным образованием в Смоленской губернии и был своим человеком в земских и дворянских кругах. Все это знание могло бы легко обратиться против меня, если б мы расходились в принципиальных взглядах, но так как я убедился, что у нас существенного разногласия нет, то лучшего и желать было невозможно. Явно громадная сила воли, пугавшая даже несколько диктаторскими наклонностями, не могла мешать при данных обстоятельствах, особенно при наличности у Герасимова большой широты взглядов как политических, так и профессиональных: мы переживали такое смутное и ответственное время, где сила воли, направленная на добро, была необходимейшим условием успеха, а я знал за собою только слишком хорошо ту отрицательную для администратора черту своего характера, которая заставляла меня всегда бояться обидеть приходящего ко мне человека резким отказом или неделикатным замечанием, несмотря даже на сознание уместности таковых. Принимая мое предложение идти ко мне в товарищи, Герасимов поставил мне тотчас условие, чтобы другой товарищ министра был мною избран не иначе, как по соглашению с ним. Такой человек нашелся в лице попечителя Петербургского учебного округа П. П. Извольского.

Раньше я уже говорил, что в первый же день по моем назначении на пост министра я сделал визит сперва Лукьянову, а затем Извольскому. С Извольским я познакомился некоторое время перед этим: еще весною 1905 г. возникла мысль заняться вопросом о положении инородцев в России, хотя бы с академической точки зрения, и вот осенью стали собираться у меня люди, сочувствующие идее равноправия народностей и использования их умственных и культурных сил на пользу общую. Я, может быть, когда-нибудь расскажу об этой попытке, теперь же скажу, что в первоначальный состав нашей "лиги", собиравшейся у меня на квартире два или три раза, входили обер-

прокурор Синода князь Оболенский, два барона Гинцбурга, отец Гораций и сын его Давид, редактор журнала Министерства народного просвещения Радлов, издатель “Петерб. Ведом.” князь Ухтомский, Ю. Н. Милютин и Извольский. Вот мое первое, весьма поверхностное знакомство с будущим моим товарищем. Встретившись с ним теперь в качестве прямого его начальства я нашел в нем человека, с радостью предложившего мне свои услуги для всестороннего ознакомления с положением столичного учебного округа. Он не пытался скрывать от меня факта полной дезорганизации всего учебного дела и раскрыл мне глаза на многое, чего я раньше или не подозревал или о чем только догадывался по доходившим до меня часто разноречивым слухам. Чувствуя, что округ стоит гораздо ближе к живому делу, чем министерство, я просил Извольского принять участие в совещаниях моих с Герасимовым, указав на последнего, как на будущего товарища министра. Оба будущих коллеги штудировали друг друга в моем присутствии, как люди умные, весьма внимательно, и мне было очень любопытно наблюдать за явным стремлением досконально изучить один другого. Извольский, очевидно, испугался прямолинейности и несомненной суровости взгляда Герасимова на ненормальность происходящих в учебном мире явлений, и результатом этого было заявление его мне, что он за последнее время совершенно расстроил свое здоровье (что было правдою), борясь на два фронта с министерством и с учебным персоналом, и что он будет проситься или в отставку, или по крайней мере в долговременный отпуск; не скрыл он от меня и опасений по поводу прямолинейности Герасимова, которая сделает его весьма тяжелым и требовательным начальством. Герасимов в свою очередь вынес впечатление, что Извольский, хотя и слишком покладистый человек, слишком боящийся решительных действий, но очень умный и опытный, а к тому же из всех попечителей наиболее популярный благодаря своей тактичности и культурным формам обращения с людьми. Когда я сказал Герасимову о намерении Извольского уйти из попечителей, он нашел это намерение вполне разумным, но... вместе с тем, высказал, что в качестве третьего члена нашего делового союза именно Извольский, со всеми его достоинствами и недостатками, был бы наиболее желателен; к тому же назначение Извольского, как своего человека в высшем обществе, как известного Государю и высшим сферам, явилось бы “коррективом” к избранию его, Герасимова, человека не из общества, могущего возбудить подозрения в придворных кругах, с которыми приходится поневоле считаться. Я передал откровенно слова Герасимова Извольскому, и последний, после небольшого колебания, согласился на мои настояния быть in unserem bunde der dritte*. Извольский по своему рождению и по своей жене, находившейся в родстве с доброю половиною петербургской и московской знати, по своей предыдущей служебной карьере успел досконально ознакомиться с делом, составлявшим предмет занятий и попечения Министерства народного просвещения: послужив окружным инспек-

тором, он затем был помощником попечителя Киевского учебного округа, попечителем Рижского и наконец попечителем Петербургского учебного округа. По характеру Извольский — чистая противоположность Герасимову: насколько второй резок, иногда почти до грубости, настолько первый мягок и любезен, насколько второй не признает никаких компромиссов в вопросах, которые ему кажутся нужными, настолько первый легко поступается подробностями, в надежде достигнуть главного. При разделении труда между обоими товарищами Извольский получил в заведование вопросы, касающиеся ученых учреждений и высших учебных заведений, т. е. ту область, которая требовала, ввиду состава лиц, с которыми приходилось иметь дело, больше "политичности"; Герасимов взял на себя заботу о средних учебных заведениях и о низшей школе, т. е. ту группу дел, которая требовала больше определенности и ясной формулировки направления, которому намеревалось следовать министерство. Заведование Департаментом общих дел принял на себя тоже Извольский как человек более опытный в чиновническом деле. Это разделение труда оказалось очень практичным, и я через каких-нибудь две-три недели после установления его почувствовал всю благотворность не только для дела, но и лично для себя строгой и последовательной организации труда: вместо прежней "скачки с препятствиями" водворилась сравнительно спокойная работа, при которой была возможность сосредоточиться и основательно обсудить всякое более важное дело, причем каждый из нас троих был в курсе деятельности остальных двух.

3. ВЫСШАЯ ШКОЛА

Весь 1904/05 академический год, как известно, прошел в высших учебных заведениях в непрерывающихся студенческих историях, причем в январе и феврале 1905 г. состоялись всюду грандиозные сходки, решившие всеобщее прекращение занятий и возобновление их осенью 1905 г. только в том случае, если сами студенты решат, что возможно начать слушание лекций, и если никто из профессоров и товарищей, принимавших участие в движении или сочувствующих ему, не пострадает. К осени была объявлена правительством "автономия" почти всех высших учебных заведений, которая понималась министрами исключительно как дарование прав Советам избирать своих ректоров, деканов и директоров, а также заботиться о поддержании внутреннего порядка в своем учебном заведении. Собственно, академическая "автономия" была только объявлена, но не предоставлена высшей школе в действительности, в том смысле, как ее понимают в целом мире, а была дана хотя и важная, но только одна привилегия — избрания своих должностных лиц, да и то с оговоркою о праве правительства санкционировать эти избрания[1]. По мысли министерства, это должно было явиться предварительною мерою успокоения как ответ на общие требования до издания нового университетского устава, над составлением которого работала комиссия из назначенных министерством лиц, в том числе нескольких привлеченных к этой работе профессоров[2]. Ко времени моего вступления в министерство, т. е. в начале ноября, работа эта была закончена и проект устава печатался, но не был еще издан; об утверждении проекта, который не начинал еще хождения своего по обычным законодательным и административным мытарствам, могла быть речь только в более или менее отдаленном будущем. Декретируя куцую и мало кем понятую автономию, в качестве меры успокоения, положительно в виде кости, нехотя брошенной изголодавшейся по либеральным реформам высшей школе, министерство, как всегда, и опоздало, и ошиблось в своих расчетах. Радикально настроенная часть профессуры увидала в этой мере начало своего торжества, свидетельствующее только о слабости и растерянности правительства, которое должно будет идти на дальнейшие, более существенные уступки, консерваторы были поражены, почувствовав незаслуженное оскорбление своей добродетели, а центр Советов поспешил с величайшей готовностью уклониться влево, не боясь за последствия своего либерализма. Публика и студенты признавали только одно: завоевана автономия, т. е. право требовать невмешательства администрации во все дела учебного

заведения, в его внутреннюю жизнь, а следовательно, право делать все, что угодно, право какой-то экстерриториальности.

Результат получился следующий: избранными Советом ректорами, деканами и директорами почти всюду оказались профессора прогрессивного направления, отчасти даже наиболее радикальные; студенты, хотя и решили возобновить занятия, но сорганизованная так называемая “сознательная” часть студенчества, иначе говоря, революционная, решила это возобновление с чисто “тактической” целью — на обеспеченной, под предлогом автономии, территории учебных заведений и под кровом их подготовить торжество пролетарского движения, вооружив его и словом и делом на борьбу с ненавистным правительством. Профессора, с выборными ректорами и директорами во главе, хотя в громадном большинстве не сочувствовали крайностям движения, но извиняли их как юношеские увлечения в весьма симпатичном, принципиально, для них деле освобождения страны от существующего режима; кроме этого общего сочувствия, руководила ими и боязнь потерять популярность среди молодежи, в существовании каковой, несомненно тоже по тактическим соображениям, уверяли их главари “сорганизованного” студенчества; эти главари вскоре сформировались в полуофициальные центральные и исполнительные комитеты[3], решавшие вопросы и действовавшие с чисто диктаторской властностью, не пренебрегая и террористическими приемами. В действительности, организованное студенчество только что не презирало и ректоров и профессоров, признавая только себя да еще “совет рабочих депутатов”[4], с которым оно находилось в постоянных сношениях и которого оно даже слушалось, когда оттуда исходили особенно энергичные лозунги и предложения. Все это, несомненно, автономное движение завершилось в стенах казенных учебных заведений известными народными митингами. Хотя Советы и особенно ректора были, несомненно, смущены оборотом дел и едва ли сочувствовали “пролетарским” митингам под покровом академической свободы, но нашли весьма удобную и довольно легко поддерживаемую формулу для объяснения своего бессилия и своего бездействия; формула эта гласила: правительство само виновато, не предоставив помещений для народных собраний и закрывши всюду митинги; дозвольте их в других местах, и сами студенты будут охранять помещения учебных заведений от толпы, ограничившись собственными сходками; кроме того, уверяли, что если не трогать митинги, не мешать им, то они, будто, скоро надоедят самим студентам и прекратятся сами собою. Эти беспорядки длились вплоть до Манифеста о “гражданских свободах”[5], заканчиваясь во многих случаях вмешательством полиции и даже вооруженной силы, а после кровавых манифестаций 18 октября[6] высшие учебные заведения были повсеместно закрыты распоряжением генерал-губернаторов и иных местных представителей Министерства внутренних дел[7].

Не моя цель писать историю общественного движения этой знаменательной эпохи, а потому я не стану останавливаться на возникновении и развитии различных союзов, явившихся характерною особенностью этого времени, но не могу не упомянуть, что в ходе студенческого движения и отношения к нему профессуры несомненную роль сыграли "академический союз" и довольно внезапно возникшая коллегия "младших преподавателей" (подразумевается "высших учебных заведений")[8]. В академическом союзе соединились многие профессора высших учебных заведений, упомянутые "младшие преподаватели", некоторые члены Академии наук и кое-кто из преподавателей средних учебных заведений. Преследуя далеко не одни академические цели, но, как и все возможные тогда союзы, главным образом чисто политические и социальные, союз имел тесную связь с другими однородными организациями, как-то союзом учителей средней школы, учителей низшей школы и т. д. Выработав свою "платформу", т. е. свой политический символ веры, союз обязывал своих сочленов придерживаться его и проводить в жизнь. Поэтому члены союза, заседая в Советах учебных заведений, были связаны в своих решениях "платформою" этой организации и голосовали почти по всем вопросам как один человек или прямо по указанию союза, или просто руководясь выработанными там воззрениями, подчиняясь партийной тактике.

Тут будет уместно сказать несколько слов о возникшей столь внезапно коллегии "младших преподавателей", составлявших чуть ли не самую влиятельную часть, как по численности, так и по задору, академического союза. Как известно, никакой устав такой коллегии не ведал и не ведает, самое выражение "младший преподаватель" в высших учебных заведениях официально не существовало и не существует. В действительности под понятие "младшего преподавателя" высшего учебного заведения подведено было все, что не подходило под понятие члена Совета (т. е. ординарных и экстраординарных профессоров[9] или студента; сюда входили: приват-доценты, хотя бы из заслуженных профессоров[10], лаборанты, ассистенты, наблюдатели, хранители музеев и библиотек, магистранты и оставленные при университете только что окончившие курс и не магистрировавшиеся еще бывшие студенты и т. п. Компания получалась весьма пестрая, неопределимого ценза, численностью во многих высших учебных заведениях превосходившая Совет, имевшая весьма определенное желание участвовать в управлении учебным заведением и влиять на решения законных распорядителей над его судьбами. Весьма естественно, что коллегия "младших преподавателей", состоя отчасти из лиц, только что сошедших со студенческой скамьи, старалась найти главную точку своей опоры, помимо союза, в студенчестве. Таким образом, получалась как бы перевернутая иерархия, во главе которой стоял "сознательный пролетариат": 1) совет рабочих, 2) организованное студенчество, 3) академический союз плюс младшие преподаватели, 4) законные Советы высших учебных заведений. Министерству, как правительст-

венному органу, во всей этой комбинации отводилась определенная и строго ограниченная роль: доставлять средства в виде жалованья, стипендий и разных пособий, исполнять известные формальности, которых нельзя было без особого риска обойти, и в случаях крайних защищать от вмешательства посторонних ведомств, особенно, конечно, от Министерства внутренних дел.

Итак, во времена моего назначения министром положение высших учебных заведений, в двух словах, было таково: все они были закрыты для занятий, но выдающаяся роль их в общем революционном движении продолжалась по-прежнему.

Почти тотчас по появлении моем в Совете Министров, в нем возбужден был вопрос о судьбе высшей школы; как он был возбужден и что из этого вышло, я расскажу ниже, а теперь вернусь за несколько месяцев назад. Еще в первой четверти 1905 г. вопрос о студенческом движении сильно озабочивал правительство, и разрешение его было поручено Комитету министров под председательством Витте. Между прочими начальниками высших учебных заведений вызывался в качестве сведущего человека на одно заседание и я как вице-президент Академии художеств. В то время я высказал откровенно свое тогдашнее мнение и подкрепил его по требованию моего Министра барона Фредерикса особою запискою. Подвергнув критике всю систему среднего и высшего образования, введенную графом Д. А. Толстым, я центром тяжести всего вопроса признавал организацию гимназии и университетов как нормальных основных типов. Не касаясь реформы среднего образования, о котором меня не спрашивали, я высказал убеждение, что обычными мерами и разными паллиативами положения университетов не исправить; я предостерегал против частичных исправлений устава и против скороспелых попыток применить к университетам хотя бы наилучшие и либеральные меры по инициативе правительства, так как они подвергнутся самой неизбежной и злостной критике или же будут сознательно искажены. Словесно и письменно я развил, ради ясности, трюизм, что для существования всякого учебного заведения требуются три элемента: 1) место, где происходят занятия, 2) учащие и 3) учащиеся; отсутствие одного их этих элементов имеет последствием несуществование учебного заведения. Так как студенты отказываются учиться, а часть профессоров отказывается и учить, то высшие учебные заведения могут считаться как бы несуществующими. Для того чтобы создать их вновь, иначе говоря, вернуть их к нормальному функционированию, следует поставить их в иные условия, чем раньше, так как прежние условия привели их в невозможность существовать. Установить эти условия правительство не в силах, как это доказано неоднократными и последовательными опытами; поэтому следует дать возможность самим университетам создать те условия, при которых они могут жить как учебные заведения. Развив эти тезисы, я предлагал, пользуясь фактическим вокатом, немедленно и не предпринимая никаких иных мер, созвать в Петер-

бург всех ординарных и экстраординарных профессоров всех русских университетов, предложивши им разработать самим такой проект устава, который дал бы возможность, по их убеждению, возобновить и нормально вести занятия. По моему предположению, общее собрание университетских профессоров должно было заседать одно, без посторонних элементов, т. е. без назначенных, хотя бы и ex officio*, от министерства членов, само должно было избрать из своей среды представителя, бюро и само разбиться на потребные секции. Ввиду численности съезда и вероятного желания большого числа не только высказаться, но и высказаться на подобном съезде, я предлагал не назначать срока для окончания его работы; но для того, чтобы он не растянулся до бесконечности, предупредить, что все профессора будут числиться на действительной службе ввиду невозобновления занятий в университетах лишь до 1 января 1906 г. Затем, в случае невозможности возобновить занятия и после этого срока, объявить всех за штатом, с производством, по закону, содержания в течение года, т. е. по 1 января 1907 г. Занятий в университете не возобновлять до выработки и утверждения нового устава. Я считал, что какой бы устав общее собрание профессоров ни выработало — утверждение его правительством обязательно целиком, за исключением того крайне невероятного случая, если он окажется совершенно неприемлемым, без явной опасности для блага всего государства. Условиями sine quibus non ** должны быть: подписание устава всеми профессорами, причем отказавшиеся подписаться тем самым выразили бы свое желание выйти из состава обновленного университета, и ручательство подписавшихся, что по введении нового устава они за круговой порукою заставят нормально функционировать университеты, им вверенные, причем правительство предоставляет для этого в их распоряжение свои услуги и все потребные средства. Если б какое из этих условий не было исполнено, я находил невозможным открытие учебных заведений и предлагал держать их закрытыми, не тратя народных денег на их содержание попусту (употребив деньги, например, на народные школы), до тех пор, пока русская жизнь не войдет в нормальные рамы, хотя бы для этого пришлось жить без университетов и иных высших учебных заведений еще десяток лет. Моя записка и мои словесные объяснения, кажется, тогда никакого влияния на решение Комитета министров не возымели.

Сделавшись Министром народного просвещения, я, естественно, несколько изменил свою точку зрения на способы разрешения вопроса: во-первых, одно — советовать, а другое — самому исполнять за полной своей ответственностью, во-вторых, психологический момент, мне казалось, был пропущен и наконец, в-третьих, между началом 1905 г. и его концом лежала пропасть, особенно после обнародования Манифеста 17 октября, и то, что в апреле или мае 1905 г. было еще мыслимо, то в ноябре или декабре того же года становилось почти невозможным. Основная мысль моя, однако, о необходимости предо-

ставить самим университетам разработать проект своего устава не только меня не покидала, но засела в голове весьма твердо, и я решился во что бы то ни стало, в какой-либо форме, осуществить ее теперь, когда, волею судеб, я имел возможность исполнить это.

Как я упомянул в одном месте этих воспоминаний, министерство организовало в своей среде комиссию, в которую пригласило несколько представителей от университетов, для составления нового университетского устава. В начале ноября 1905 г., когда я вступил в отправление своей должности, комиссия закончила свою работу, и результаты ее трудов в виде обширного и весьма детально разработанного проекта устава были сданы в печать. Узнавши об этом, я просил гг. Лукьянова и Тихомирова всеми доступными мерами ускорить печатание и брошюрование. Получив сперва ответ, что это может быть исполнено, благодаря происходившим тогда частым забастовкам типографских рабочих, не раньше трех-четырех недель, а может быть, и больше, я, путем настойчивых напоминаний и прямых приказаний, успел-таки сократить этот срок до десяти дней. Тогда же я решил, посоветовавшись с одним человеком — С. А. Жебелевым, который вполне одобрил мой план, как вести дело разработки нового устава университетов и других высших учебных заведений, приступить к его исполнению. Этот план мне и удалось провести целиком без всяких изменений.

Прежде всего я распорядился разослать министерский проект устава во все университеты в количестве экземпляров, достаточном для раздачи всем членам Советов (несколько позже то же было сделано и по отношению других высших специальных учебных заведений). Здесь случился мелкий, не имевший особого значения, но характерный инцидент. Я распорядился разослать экземпляры устава непосредственно в университеты; это, видимо, очень взволновало и Лукьянова и Тихомирова, которые поспешили указать на "незаконность" моего распоряжения, так как все сношения министра с университетами и другими учебными заведениями должны вестись через попечителей округов. С официальной стороны они были совершенно правы, но я обратил их внимание на задержку, которая произойдет вследствие ввода в этот простой акт лишней инстанции, и предложил одновременно с рассылкою в университеты послать по экземпляру устава каждому из попечителей с извещением о факте доставления остальных экземпляров университетам непосредственно. Господа Лукьянов и Тихомиров нашли такой способ верхом служебной бестактности, хотя и выразили мне свое убеждение, конечно, в менее резкой форме. Я не счел удобным настаивать на своем намерении и уступил, распорядившись включить, однако, в циркулярное предложение попечителям указание о немедленной передаче экземпляров устава Советам университетов. Как я и предвидел, точное исполнение формального закона имело только одно практическое последствие — задержку приблизительно на месяц доставления экземпляров устава по назначению. Дав

Советам приблизительно месяц на подробное рассмотрение Министерского проекта, я предложил избрать из своей среды такое число профессоров, которое соответствовало бы числу факультетов данного университета; я не ставил условием, чтобы непременно все факультеты были представлены, но считал необходимым предоставить возможность такого представительства, если Совет признает это полезным; таким образом, от университетов Петербургского, Московского, Казанского, Харьковского, Киевского, Варшавского и Новороссийского было избрано по четыре представителя, от Юрьевского — пять и от Томского — два. Кроме этих выборных профессоров, приглашались ex officio все девять ректоров, которые занимали должность свою по избранию Советов. Таким образом составилась комиссия из сорока четырех неподдельных представителей Советов всех Российских университетов[11]. Председательствовать в комиссии я решил сам, но отказавшись от права голоса при разрешении отдельных вопросов. При решении взять на себя председательствование в комиссии я руководился следующими соображениями: во-первых, мне необходимо было быть в курсе мотивов тех или иных решений по университетскому вопросу, а это было возможно только присутствуя лично при дебатах; во-вторых, председательствование в комиссии самого Министра придавало ее трудам и ее решениям вполне официальный и, с бюрократической точки зрения, с которою необходимо было еще считаться, авторитетный характер; в-третьих, я имею слабость считать себя недурным председателем, имея большой опыт в этом деле, благодаря своей долговременной практике в Академии и в разных обществах; наконец, в-четвертых, (last not least)* сознаюсь, очень было приятно примешать свое имя к реформе, которую я считал капитальнейшим делом и которая так давно и упорно занимала мои помыслы. Знаю, что авторы воспоминаний избегают, и весьма мудро поступают, делая это, приводить столь мелочные мотивы своих действий, как последние, но я решился быть откровенным и не выставлять себя сознательно в виде героя, что, к сожалению, все равно здесь или там случится, так как кто же в своих мемуарах себя не хвалит и не находит извинений для всяких своих даже гнусных поступков и не раздувает сверх меры приличных? Я еще вернусь к вопросу о профессорском съезде, а теперь считаю нужным сказать несколько слов о фактах, относящихся к высшим учебным заведениям и имевших место до созыва его. Для общей характеристики существовавших отношений и господствовавшего настроения, мне интересно вспомнить здесь несколько эпизодов более или менее анекдотического характера. Первая бумага, которую мне пришлось подписать как министру, было представление в Государственный Совет о назначении субсидии от казны студенческой столовой Петербургского университета[12]. Представление это было уже составлено по распоряжению управлявшего министерством С. М. Лукьянова, но им же задержано до назначения нового министра, так как, очевидно, при неизвестности, кто будет назначен, нельзя было

предвидеть, как новый руководитель ведомства будет относиться к интересам университетов вообще и студентов в частности. Положение столовой в финансовом отношении было действительно, по всем данным, отчаянное, и я вполне охотно подписал представление. Не зная об этом, ко мне на второй же день после вступления моего в должность, утром, кажется, в половине девятого явился председатель столовой комиссии профессор Броунов с просьбой о поддержке ходатайства университета относительно финансирования столовой. На описание безвыходного положения этого учреждения и той пользы, которую оно приносит, снабжая дешевою и здоровою пищею молодежь, обладающую прямо нищенскими средствами, я, к крайнему моему и профессоров удовольствию, мог ответить, что первою подписанною мною бумагою было именно представление о нуждах столовой. Чуть ли не на следующий же день, или дня через два, тот же профессор Броунов явился уже в сопровождении заведовавшего столовой студента. В этот раз просьба заключалась в разрешении открыть столовую, несмотря на отсутствие занятий в университете; мотивировалась она тем, что если студенты не занимаются, то есть-то они все-таки ходят и есть в столовой будут, если она откроется, а между тем главною причиною дефицита столовой является ее бездействие, при котором доходы прекратились, а расходы по содержанию довольно многочисленного персонала продолжаются. Так как столовая была заперта по распоряжению полицейской власти, ввиду происходивших там беспорядков или, вернее, пропаганды, то я попросил написать мне по поводу ее открытия представление и обещал снестись, со своей стороны, с градоначальником (Дедюлиным, весьма любезным человеком, с которым я был лично несколько знаком). По этому делу мне впервые, в качестве министра, пришлось войти в сношение с университетом в лице одного представителя профессорской коллегии и двух — студенческой. Первый был безупречной корректности и прямо поразительной скромности; что касается студентов, людей, по личному впечатлению моему, в сущности очень сами по себе милых, то это было воплощением отрицания каких бы то ни было культурных условностей: очевидно, они принадлежали к партии С. Р. или С. Д. или А. К.[13] или еще каких-нибудь букв алфавита и были озабочены тем, чтобы доказать министру свою полную независимость и важность своей корпорации. Мне они показались очень любопытными, и те немногие раза, что мне пришлось принять представителей студенческой столовой, я с удовольствием изучал их, под сурдинку любуясь их бессознательной непосредственностью, хотя сами они, очевидно, прилагали старания выдержать известный тон. Студенты эти были русские, и каждый раз, когда мне за время моего состояния министром приходилось сталкиваться с русскими "сознательными" студентами или студентками, я встречал почти постоянно то же старание отрешиться от культурных, в европейском смысле, форм общения, в чем, очевидно, они думали проявить или подчеркнуть независимость своего характера, презрение

к бюрократии и свою "гражданственность". Совершенно другое замечалось в инородцах: поляки, немцы, латыши, эсты, а также татары, армяне и т. д. — все, кажется, без исключения старались быть изысканно вежливыми со мною и корректными, подчеркивая именно свою "европейскую" культурность. Между евреями, составляющими абсолютно главный контингент являвшихся ко мне "учащихся" обоего пола, замечались две категории: "европейцев", как я их называл, с теми же культурными формами, как и прочие инородцы, или форменных, с позволения сказать, нахалов, легко, однако, обыкновенно смущаемых; вопреки распространенному мнению, первых встречалось больше, чем вторых; обе категории евреев отличались изумительною настойчивостью в своих домогательствах, увенчивавшихся обыкновенно так или иначе успехом; последнее относится к евреям мужеского пола; еврейки большею частью были замечательно скромны и, напротив, довольно легко и с достоинством мирились с невозможностью достигнуть желаемого. Не забуду одного молодого еврея, который был у меня одиннадцать раз подряд, хлопоча о зачислении в число студентов закрытого Рижского политехникума и не обладая на то формальным, по-видимому, правом, и, несмотря на всякие затруднения, в конце концов добился своего. Возвращаясь к делу о столовой, должен сказать, что градоначальник почти сейчас же согласился, ввиду моего указания на желательность функционирования столовой, на ее открытие, с условием, однако, чтобы в нее допускались только студенты университета и не устраивалось бы там митингов. Хотя столовая и открылась, ко мне на следующий же день прибежал знакомый уже студент с заявлением, что одно из условий, поставленных градоначальником, неисполнимо: одних студентов университета пускать нельзя, так как, во-первых, у большинства студентов, посещающих столовую, нет билетов для входа в университет (предъявление их было также потребовано градоначальником) за невзнос платы за слушание лекций, а во-вторых, по правилам столовой в ней имеют право питаться не одни университетские студенты, но и все остальные, а также студентки (слушательницы разных курсов) и посторонние лица, вводимые студентами. Мне были предъявлены недавно отпечатанные правила, утвержденные, кажется, правлением университета, но даже не сообщенные для сведения хотя бы ни попечителю округа, ни министерству. Студент мне объявил, что если не будут отменены условия, поставленные градоначальником, то столовую придется вновь закрыть уже самой столовой комиссии, и просил, чтобы я похлопотал об их отмене. Я спешно написал вновь градоначальнику собственноручное письмо, и он очень любезно согласился на отмену условий. Столовая стала функционировать, но не надолго: через несколько недель я получил от Министра внутренних дел отношение, в котором указывалось на необходимость закрыть ее: вслед за пресловутым манифестом депутатов совета рабочих о необходимости нанести посильный вред русским финансам[14] в университет-

ской столовой, которая всеми своими силами поддерживала исполнение манифеста, было объявлено о непринятии в уплату за съеденное и выпитое кредитных билетов, выпущенных Государственным банком; в столовой были заведены какие-то столы с дежурствами для записи членов в разные революционные партии и секции, о чем было даже объявлено в газетах; наконец, столовая стала как бы штаб-квартирою разных рабочих и иных революционных организаций, где будто бы даже раздавалось оружие для предполагаемого восстания пролетариата. Итак, столовая распоряжением Министерства внутренних дел, просуществовавши при мне лишь короткое время, закрылась опять; об открытии ее вновь в этот раз особенно не хлопотали ни сам университет, в лице правления или совета, ни даже студенты.

На первой же неделе моего вступления в должность ко мне явились in corpore* начальники высших учебных заведений Петербурга, нашего ведомства: ректор Университета проф. И. И. Боргман, директор Технологического института проф. Воронов, директор Высших женских курсов проф. Фаусек и директор Женского медицинского института проф. Салазкин; к ним присоединился директор частных курсов Лесгафт. Пришли они ко мне с готовой формулою, выработанною не без участия Академического союза: они просили о снятии охраны с высших учебных заведений и о дозволении возобновить занятия хотя бы с января. Профессор Лесгафт добавил к этому жалобу на закрытие студенческих столовых ввиду того, что молодежь или фактически голодает или наживает на всю жизнь катары желудка, питаясь в дешевых кухмистерских. Я объяснил депутации, что открытие учебных заведений зависит не от меня, а от всего состава Совета министров, что я могу внести их ходатайство в Совет, но поддержать его с шансами на успех возможно только в том случае, если они поручатся, что не возобновятся беспорядки, из-за которых учебные заведения были закрыты. На это все ответили, что ручательства они дать не могут, но полагают, что если правительство предоставит соответствующие помещения для политических митингов, то таковые в стенах учебных заведений прекратятся через некоторое время, а может быть, и сейчас же сами собою и заменятся обычными студенческими сходками, которые занятиям мешать не будут. Я обещал доложить об этом Совету министров, но выразил мнение, что мой доклад будет выстрелом в воду, если ректор и директора не примут на себя ответственности за последствия исполнения их просьбы. На это проф. Боргман сказал, что он высказывает только свои предположения и думает, что будет именно так, как он говорит, но что личной ответственности на себя принять, по совести, не может. Проф. Салазкин очень горячо перебил речь ректора и спросил, о какой ответственности я говорю; если о юридической, то он от нее уклоняться не намерен и готов нести ответ за все свои мнения и действия. Я на это ответил, что речь идет не столько о юридической ответственности, сколько о нравственной, т. е. о том, что исполнение их просьбы будет иметь именно те последствия,

о которых они говорят, а не иные. Проф. Салазкин присоединился тогда к высказанному проф. Боргманом, причем добавил, что возможность и даже вероятность продолжения прежних беспорядков не исключается, так как движение в учебных заведениях находится в слишком тесной связи с политической жизнью всей страны, в потому и может успокоиться только при общем улучшении политических и социальных условий, в коих мы живем. Тогда я сказал, что вижу очень мало шансов на то, чтобы Совет министров внял голосу представителей высших учебных заведений, и боюсь, напротив, что в Совете могут быть приняты весьма опасные и нежелательные решения. Поэтому я поставил ребром вопрос, что гг. ректору и директорам представляется предпочтительнее: категорическое решение правительства в том смысле, чтобы высшие учебные заведения остались закрытыми на определенный заранее срок, например до осени 1906 г., или сохранение status quo. Все присоединились ко второму предложению, так как признавали возможность возобновления занятий, при известных условиях, если не в январе, то, может быть, в феврале или марте; конечно, едва ли кто-нибудь из них, положив руку на сердце, откровенно надеялся на такое чудо, но профессора считали приличным делать вид, что верят. Простился я с депутацией очень дружелюбно, и, кажется, мы остались вполне довольны друг другом, хотя чего-либо определенного никому не пришлось достичь.

Разговор мой с законными представителями высших учебных заведений не был, однако, напрасен. Действительно, одним из первых вопросов, обращенных ко мне графом Витте в Совете министров, был: “Что Вы думаете делать с высшими учебными заведениями? Так оставлять этого дела нельзя: нужно решить, оставлять ли учебные заведения закрытыми и тогда до какого времени, или открыть их и когда?” Личное мнение графа Витте сводилось к тому, что высшие учебные заведения следует совершенно прикрыть по крайней мере до осени 1906 г. и об этом объявить официально. Относительно профессоров большинство Совета склонялось к мнению, что следует сократить им жалованье, да и вообще сократить расходы на бездействующие учреждения. Я, со своей стороны, указал на крайнюю непрактичность таких решений: никого они не испугают, подадут повод для самых нежелательных рассуждений и только увеличат недовольство правительством, не дав никакого положительного результата. Я формулировал свое отношение к высшим учебным заведениям так: университеты, а отчасти и другие типы высшей школы, являются не исключительно учебными заведениями, но и научными учреждениями, а поэтому требуют поддержки даже в случаях прекращения собственно преподавания; но, помимо этого соображения, которое, может быть в известных отношениях оспариваемо, самое закрытие учебных заведений произошло благодаря действиям и, несомненно, прикрытым стараниям революционеров; для чего же правительству играть им теперь на руку, увеличивать размер скандала и помогать разгрому

высшей школы? Ведь университеты у нас — правительственные учреждения, а следовательно, естественно правительству защитить, поддержать их против врагов и спасти от гибели свое достояние, а не помогать этой гибели. Уничтожить легко, а каково будет восстановлять утраты? Мне пришлось особенно энергично защищать свою точку зрения от нападок управлявшего еще тогда (не утвержденного еще в должности министра) Министерством внутренних дел П. Н. Дурново: настаивая на том, что высшие учебные заведения ничем иным не занимаются за последний год, как только революциею, он находил самое существование их в переживаемое время опасным для общественного спокойствия; неизвестность, в которой находятся студенты, о том, возобновятся ли занятия и когда, заставляет их оставаться в Петербурге, посвящая свое свободное время пропаганде и революционным действиям; если будет прямо объявлено о закрытии учебных заведений на определенный срок, то большинство студентов разъедется по домам и перестанет собираться по разным конспиративным квартирам и по митингам. Таким образом удастся многих удержать от крайностей, а с другой стороны, облегчить работу полиции, которая сбилась с ног, стараясь предупредить восстание в столице. Вопрос обсуждался в нескольких заседаниях Совета министров и закончился компромиссом, который меня вполне удовлетворил; было решено объявить, что в текущем осеннем полугодии занятия не возобновятся; что касается январского полугодия, то предоставлялось Советам учебных заведений возбуждать ходатайства об открытии своего учебного заведения, причем каждое такое ходатайство должно было подлежать обсуждению Совета министров, который и имел решать вопрос в том или другом смысле, выслушав заключение соответствующего министра. Фактически такие ходатайства стали поступать в весьма ограниченном количестве лишь с марта 1906 г., а именно, от Института инженеров путей сообщения и от высших учебных заведений Москвы, и все были разрешены в положительном смысле.

К этому времени относится первое мое знакомство с ректором Московского университета А. А. Мануиловым, заместившим недавно перед тем умершего внезапно князя Трубецкого. С первого же раза Мануилов мне очень понравился как по определенности воззрений, так и по спокойствию и добродушию, счастливо соединенному с твердостью. Фразерство и стремление свалить вину с больной головы на здоровую у него, по-видимому, совершенно отсутствовало, т. е. именно те два недостатка, которые особенно пышно расцвели в русских людях в описываемое время и были, по моему впечатлению, источником многих бед и недоразумений. С ректором Московского университета мне всегда было легко и приятно говорить потому, что, делая предложения и высказывая мнения, он не старался подладиться к собеседнику и не заботился о том, нравится ли то, что он говорит или нет. Так и теперь А. А. Мануилов не старался придумывать какой-либо формулы относительно возобновления занятий в университете,

а прямо сказал, что немедленное возобновление их невозможно, что невозможно оно без крайней опасности скандала и в ближайшем будущем, но что к весне, когда осуществятся выборы в Государственную думу, может быть, следует попытаться это сделать, хотя уверенности питать нельзя; и действительно, единственный университет, в котором в апреле возобновились фактически занятия, т. е. чтение лекция, был Московский, и это несмотря на то, что именно Московский университет осенью был ареною невероятных скандалов, а сама Москва пережила вооруженное восстание, в котором принимали участие в известном количестве и студенты университета. Приехал Мануилов, конечно, поговорить об университетских делах. Между ними важное значение представляли два вопроса: о покрытии дефицита в бюджете университета и о приеме нескольких десятков евреев сверх установленной нормы. О втором деле, т. е. о процентной норме евреев в высших учебных заведениях, я скажу в своем месте, где речь будет о национальном вопросе в школе, а на первом, может быть, интересно остановиться здесь несколько подробнее, так как вопрос касался всех высших учебных заведений России и характерен во многих отношениях.

Беспорядки 1905 г., расшатав в корне весь уклад университетской жизни, затронули самым серьезным образом и финансы высшей школы. Целый ряд министров народного просвещения, начиная с графа Делянова, находил ассигнования на нужды университетов недостаточными и не покрывающими даже существенных потребностей их. С этим неоднократно соглашался и Государственный совет, но никогда не решался увеличить эти ассигнования до желательной нормы, ссылаясь, со слов Министров финансов и Государственных контролеров, на состояние Государственного казначейства. Тем не менее, университеты сравнительно легко сводили концы с концами. благодаря тому, что плата, вносимая слушателями, составляла специальные средства высшей школы, т. е. не сдавалась в Государственной казначейство в качестве дохода казны, а оставалась в распоряжении университетов на покрытие расходов, на которые не имелось штатных ассигнований, или когда ассигнования эти были недостаточны. Так как число студентов из года в год быстро увеличивалось, а вместе с тем увеличивалась и сумма, получаемая за слушание лекций, то университеты удовлетворяли главные свои потребности, несмотря на общее повышение цен в стране, а некоторым удалось даже отложить из специальных средств небольшие запасные капиталы. Благодаря указанному выше отношению правительства к нуждам университетов, из специальных средств приходилось покрывать расходы характера штатного, т. е. такие, которые при нормальном ходе дел должны бы были ложиться на штатные ассигнования, как не могущие находиться в зависимости от случайных поступлений. Таковы, например, расходы по содержанию, ремонту и отоплению зданий, жалованье ассистентов, хранителей кабинетов и музеев и других лиц, значившихся в штатах,

и т. п. Когда в весеннее полугодие 1905 г. в университетах занятия не возобновились, и они были закрыты распоряжением правительства, возник вопрос о справедливости взимания платы за лекции, которые фактически не читались. Правительство решило, что такое взимание не должно иметь места, но так как известное количество студентов внесло плату кто за год, кто за полугодие вперед, то было признано справедливым зачесть эти взносы за первое полугодие 1905/06 академического года, если лекции осенью возобновятся. Таким образом, университеты сразу лишились половины специальных средств по годовому бюджету своему; осенью, как известно, занятия возобновились всего на какой-нибудь месяц, а потому и взносы студентов и на новый академический год стали поступать в самых мизерных размерах. Несмотря на то, что все университеты реализовали свои запасные капиталы, дефицит достиг самых критических размеров, составляя на все девять университетов около миллиона рублей, причем недостаток денег заставлял прекращать жалованье многим служащим не только сверхштатным, но и штатным, экономить на отоплении и на освещении зданий, не говоря об отказе от необходимого ремонта на текущий год.

Представление в Государственный совет о дополнительном ассигновании средств университетам из Государственного казначейства было сделано уже временно управляющим министерством С. М. Лукьяновым, но еще не рассматривалось. Поддерживать ходатайство университетов пришлось уже мне с помощью П. П. Извольского, бывшего совершенно в курсе этого вопроса. В первом заседании департаментов Государственного совета, в котором дело рассматривалось, я взял с собою Извольского, а так как в этом первом заседании вопрос целиком не прошел (Государственный совет разрешил условно разассигновать половину испрашиваемой суммы, уже подвергшейся посильному сокращению), то в последующих заседаниях я поручил дальнейшую защиту дела своему товарищу, который и провел его в пределах возможного. Я с намерением сказал “в пределах возможного”, так как возражения в Государственном совете были самые решительные: многие не хотели давать ничего, находили, что нужно отнять даже часть из того, что университетам полагалось по штатам, убедительно указывая на зловредную политическую деятельность университетов, с одной стороны, и на отсутствие в них учебных занятий, с другой. Другие настаивали на возможном сокращении дополнительных ассигнований, отчасти руководясь теми же соображениями, отчасти указывая на состояние Государственных финансов, заставляющее отказывать в более полезных для страны, по мнению говоривших, ассигнованиях на неотложные нужды в других областях. Если нам удалось все-таки заполучить известную сумму на университеты, то только потому, что мы твердо стояли на следующих положениях: целый ряд Министров народного просвещения указывал на недостаточность штатных ассигнований на университеты, закрыты

они хотя бы и по собственной их вине, но по распоряжению правительства, и при отказе в дополнительном ассигновании придется лишиться жалованья штатных служащих, не отапливать зданий и т. п.

О других делах, касающихся высших учебных заведений, скажу, может быть, потом, а теперь возвращаюсь к заседаниям собранного мною профессорского совещания для выработки нового устава. У меня было первоначально намерение открыть заседания в конце декабря с расчетом дать возможность профессорам вернуться к себе около 15 января для того, чтобы отсутствие их и ректоров не могло, по вине министерства, ни в каком случае повлиять на деятельность университетов или явиться предлогом невозобновления занятий. Этот мотив совершенно отпал после решения Совета министров о невозобновлении лекций без ходатайства университетов и без разрешения правительства. Тем не менее, чтобы не терять золотого времени, первое заседание мною было назначено на 5 января 1906 г.; к этому дню съехались все, за исключением трех представителей Томского университета, поспевших, благодаря не улегшимся еще беспорядкам на Сибирской железной дороге, только ко второму заседанию 7 января. Как было говорено мною раньше, в состав совещания, кроме представителей университетов, мною никто приглашен не был; однако присутствовать на заседаниях я пригласил обоих товарищей министра, в том соображении, что мне казалось необходимым, чтобы они, как могущие остаться на службе, когда я получу отставку, были в курсе дела и, кроме того, могли занять председательское кресло в том случае, когда я был бы отозван в какое-нибудь заседание Совета министров или в Царское село в день и час, назначенные для совещания. Придавая большое значение предстоящему совещанию и будучи сильно озабоченным не только его результатами, но и самым ходом его, так как нашлись доброхоты, предупреждавшие меня о могущих произойти "скандалах", я лично взял на себя заботы о внешней организации собраний, привлекши к себе на помощь чиновника особых поручений И. И. Полянского, человека очень энергичного, трудолюбивого и образованного, назначенного на должность моим предшественником ген. Глазовым. Заседания я решил организовать в большом приемном зале министерства, где для этого был установлен "покоем" большой стол на сорок семь человек (сорок четыре профессора плюс я плюс два товарища министра); стол был покрыт традиционным сукном, и на этом сукне были прикреплены карточки с именами членов совещания, распределенных по университетам: таким образом, каждый знал свое место и не могло выйти недоразумения о том, где кому сидеть; я сам имел перед собою, так же, как и оба мои товарища, план стола с написанными на нем против каждого места именами (имя, отчество и фамилия) профессоров — участников совещания; таким образом, я, не спрашивая никого, мог с первого же заседания, посмотревши на план, знать, кто говорит, и, кроме того, в случае нужды имел возможность называть профессоров, мне даже незнакомых, по имени и по

отчеству без риска ошибиться. Участники совещания были мною распределены в следующем порядке: я, конечно, посередине на председательском месте, по правую мою руку Герасимов, по левую Извольский, рядом с Герасимовым — ректор и профессора старейшего Московского университета, рядом с Извольским — ректор и профессора Петербургского университета; вправо от профессоров Московского университета — представители Харьковского, Киевского и Дерптского университетов; налево от профессоров Петербургского университета — представители Казанского, Новороссийского и Варшавского университетов; как раз напротив меня, между профессорами Варшавского с одной стороны и Юрьевского с другой — представители Томского университета. За особым столом насупротив моего места я поместил чиновников для ведения протоколов заседания, причем руководство этим делом я поручил упомянутому выше Полянскому, который затем, когда занятия совещания закончились, взял на себя приведение в порядок и печатание трудов комиссии. Мною сделано было также распоряжение, чтобы во время заседаний был подаваем чай с печеньем. На вопрос директора департамента общих дел, В. А. Рахманова, я распорядился предупредить съезжавшихся членов совещания, что я прошу гг. профессоров не беспокоиться предварительным представлением мне, так как буду иметь честь познакомиться со всеми в первом заседании, которое и заменит собою официальное представление. На вопрос директора департамента, в какой одежде следует быть участникам совещания, я просил предупредить, что я лично в первом заседании буду в вицмундирном фраке, а в последующих — в сюртуке (штатском) и что прошу не стесняться формою одежды. Должен сказать, что, за исключением пяти или шести лиц, все явились в первое заседание в мундирных или простых фраках при орденах. В последующих все приходили или в штатских сюртуках, как я сам, или в форменных синих сюртуках учебного ведомства.

Перед самым началом первого же заседания возник вопрос, по тогдашним временам весьма острый: при входе и на лестнице собрались довольно многочисленные хроникеры и корреспонденты газет с просьбою допустить их на заседание. Несмотря на то, что я всегда был и остался сторонником самой широкой и полной гласности, я решительно отказал в этом домогательстве: мне казалось особенно важным сохранить за этим именно совещанием характер официальной, министерской комиссии, а не простого съезда, на который можно было бы допустить посторонних лиц в виде ли журналистов, публики или хотя бы профессоров и чинов министерства, не состоящих членами совещания по избранию; кроме того, предмет, подлежащий обсуждению, казался мне слишком важным как в теоретическом, так и в практическом отношении для того, чтобы рисковать стеснить откровенное выражение мнения кем бы то ни было из участников: такого стеснения никто не мог чувствовать и, действительно, не чувствовал, как доказал характер обсуждения вопросов, в своей,

родной всем участникам профессорской среде, тогда как сознание, что всякая мысль, всякое сказанное слово станут достоянием гласности и будут комментироваться иногда, смотря по характеру отдельного хроникера и направлению представляемого им органа, в самом бесшабашном тоне, заставило бы многих "страха ради иудейска" воздержаться от выражения своих искреннейших воззрений. Так как представители печати обращались при входе ко многим из профессоров с просьбою о допущении на заседание, то я счел долгом до открытия его заявить о своем единственном в данном случае решении. Могу с уверенностью засвидетельствовать, что если, может быть, не все, то огромное большинство съезжавшихся профессоров были вполне удовлетворены моим решением, и я не услыхал ни одного возражения против него. Только после этого первого заседания ко мне подошли трое из участников с вопросом, считаю ли я занятия совещания не подлежащими вообще оглашению до поры до времени или же нахожу возможным сообщение в печать сведений о ходе занятий, так как спрашивавшие профессора являлись сотрудниками газет. На это я ответил не только разрешением сообщать в печать решительно все, что найдут желательным участники совещания, но высказался в том смысле, что лично не желал бы делать секрета из чего бы то ни было, имеющего обсуждаться, и одновременно сделал распоряжение, чтобы Полянский после каждого заседания сообщал все нужное представителям газет, которые явятся за справками, причем я пояснил, что не считаю секретным абсолютно ничего из происходящего и обсуждаемого в совещании. Результатом своих распоряжений я остался вполне доволен (так же как, по-видимому, все участники совещания), сведения о ходе занятий сообщались во всеобщее сведение очень аккуратно, и особо неприличных или бестактных выходок со стороны прессы тоже не было за все время заседаний совещания.

В мою задачу не входит подробное изложение хода заседаний совещания и выработанного им проекта устава, так как то и другое имеется в печатном виде и доступно всякому интересующемуся вопросом, но мне хотелось бы передать некоторые впечатления, вынесенные мною из наших собраний, и коснуться некоторых характерных, на мой взгляд, деталей, которых ни в каких протоколах, журналах и уставах, конечно, найти нельзя. Обозревая состав совещания, можно сказать, что с общеевропейской точки зрения членов строго консервативного направления, за исключением пяти-шести лиц, в нем налицо почти не было. Конечно, с точки зрения преобладавших в обществе течений, можно было насчитать чуть ли не десяток если не "черносотенцев", то людей правого университетского крыла, но, даже и с этой последней точки зрения, абсолютное большинство собравшихся профессоров принадлежали к прогрессивной партии, а с европейской точки зрения — к радикальной[15]. Многие из них были на примете у моего коллеги П. Н. Дурново, и сам граф С. Ю. Витте интересовался неоднократно вопросом, не слишком ли далеко заходят в своих

требованиях господа профессора; и вот тут следует установить факт, что за все три недели наших заседаний не только не случилось ни одного инцидента, который нарушил бы общий тон самой идеальной корректности, установившейся с первого же собрания совещания, но не было даже ни одного уклонения от предмета занятий, для которых люди собрались со всех концов России. У некоторых из членов совещания существовала, правда, наклонность к излишней говорливости, к произнесению речей, но эта наклонность довольно скоро была ограничена самими членами совещания, уполномочившими меня установить срок в десять минут для каждого оратора, за исключением докладчиков подкомиссий, которые имели право излагать доводы, приведшие к тем или другим решениям, без ограничения временем. От первого же заседания выделились два представителя Московского университета — ректор Мануилов и проф. Хвостов — своей определенностью, убедительностью и энергиею, с которою они поддерживали свои тезисы; я думаю, что у всех участников совещания навсегда останется памятною крупная фигура А. А. Мануилова, с непоколебимым спокойствием и терпеливым добродушием возражавшего несогласным с ним и с удивительным самообладанием заставлявшего своих противников сходить с теоретических высей на реальную почву исполнимых пожеланий. Его товарищ В. М. Хвостов, гораздо более нервный и возбудимый, всегда был готов поддержать его своею логикою, а нередко и тонким сарказмом, никогда не переходившим границ вежливости и уважения к чужому мнению. Из остальных участников совещания особенно часто говорили профессора: Зернов, Мензбир (Моск. унив.), Гревс, Шимкевич и Гримм (Петерб. унив.), Гольдгаммер (Казанский унив.), Стеклов, Чубинский (Харьк. унив.), Ротерт (Новоросс. унив.), Морозов, Бубнов (Киевский унив.), Вороной (Варшавский унив.), Пассек, Пергамент и Саловский (Юрьевский унив.). Характерно для переживаемого времени, что делегат одного из провинциальных университетов счел нужным поставить собранию через меня предварительный вопрос, следует ли ему считать самого себя единственно представителем избравшей его коллегии и как таковому ограничиваться защитою только выдвинутых ею тезисов, или можно считать допустимым выражение и поддерживание своих личных мнений, причем и руководствоваться ими при голосованиях. Я должен был разъяснить, что всякое лицо, свободно избранное какою-либо коллегиею, самим фактом избрания облекается доверием, которое распространяется на его убеждения; что дело всякого избранного — оправдать это доверие, но что он не лишается прав свободной личности, свобода же личности состоит, между прочим, в праве иметь и высказывать открыто свое мнение, защищать свои убеждения; если б делегаты являлись только выразителями мнений избравших их коллегий, то достаточно было бы приглашение всего по одному представителю от каждого университета или же, еще проще, истребование от Советов письменных мнений по серии возбужденных

вопросов, а затем механический подсчет этих мнений. Впрочем, я указал, что дело самого делегата в каждом отдельном случае решать, поддерживать ли до конца точку зрения избравшего его Совета, или, выслушавши доводы присутствующих коллег, голосовать по внутреннему убеждению, причем никто, конечно, из присутствующих не имеет ни возможности, ни права выяснять, защищает ли он свое личное мнение или навязанное отсутствующею коллегиею. Спрашивавший остался вполне удовлетворенным, как он мне заявил, моим разъяснением, но я должен заметить, что во время последующих заседаний он, очевидно, по присущей ему добросовестности, неоднократно указывал, что Совет, избравший его, смотрит на такой-то вопрос так-то и что он просит заметить это, но что он лично готов несколько отступить от данного воззрения ввиду заслушанных доводов. Упоминаемая подробность интересна потому, что показывает, насколько в это время партийная дисциплина считалась всюду обязательною и как узко эта дисциплина понималась; в данном случае эта дисциплинарность была тем более характерна, что особых принципиальных разногласий между университетами не было и что если таковые встречались, то, за исключением двух-трех более важных вопросов, они касались сущих мелочей. Одним из существенных предметов разномыслия явился вопрос о пресловутых "младших преподавателях". Особенно ратовали за предоставление им прав в Совете представители Петербургского университета, профессора Гревс, Гримм, Марр и Шимкевич, а также профессора Юрьевского университета Пергамент и Казанского — Гольдгаммер, а также отчасти делегаты Новороссийского университета. Решительно против дарования им прав были представители Московского университета, а также профессора Стеклов (Харьковского), Бубнов (Киевского) и Цеге фон Мантейфель (Юрьевского); последний даже заявил в одном из заседаний совещания, что если "младшим преподавателям", а следовательно, и ассистентам его клиники будут дарованы права, проектируемые проф. Гревсом или Гольдгаммером, то он откажется от профессуры в России и уедет за границу с полным убеждением, что ему здесь, т. е. в России, делать нечего. Впрочем, подавляющее большинство собравшихся представителей университетов было настроено против дарования особых прав "младшим преподавателям", что обнаружилось случайно уже на третьем заседании благодаря одному решению, имеющему симптоматическое значение. Кажется, 8 января, т. е. дня через три после начала заседаний, мною было получено два заявления со стороны "младших преподавателей": одно от москвичей, а другое от преподавателей Петербургского, Киевского и Одесского университетов. В обоих заявлениях заключалось требование о допущении делегатов в совещание для совместной с профессорами выработки проекта устава. Должен сказать, что уже значительно раньше, т. е. тогда, когда был разослан Советам университетов министерский проект устава, мною был получен запрос Новороссий-

ского университета о том, могут ли участвовать при его рассмотрении младшие преподаватели, а затем и участвовать в выборе делегатов от университета. На это я категорически ответил, что допущение или недопущение тех или иных лиц, не принадлежащих к составу Совета, при рассмотрении проекта — дело самого Совета, который имеет право привлекать каких угодно экспертов, но что высказанные мнения и заключения будут считаться исходящими от Совета, к которому только и обращается министерство; что касается избрания делегатов, то таковые будут сочтены законно избранными только Советом и из его состава как законного органа университетского самоуправления. Получив упомянутые выше заявления, я тотчас решил, что передам их на решение самого совещания. Адресованы они были: одно в комиссию профессоров, а другое — председателю комиссии, не министру; следовательно, чтобы быть корректным, я считал себя обязанным забыть, что я министр, и в данном случае помнить, что я только председатель совещания, хотя и ex officio. Вторым и главным аргументом за передачу вопроса в совещание было то соображение, что шила в мешке не утаишь и что если совещание желает присутствия делегатов (а сокрытие мною заявлений, которые, конечно, уже и тогда были известны профессорам, могло только искусственно возбудить лишние симпатии к претензии), то игнорирование требований преподавателей с моей стороны поставило бы меня в фальшивое положение по отношению к собравшимся представителям университетов. П. П. Извольский, которому я сообщил заявления, зная, что я отношусь совершенно отрицательно, по целому ряду соображений, к присутствию делегатов от преподавателей, находил мое решение рискованным и предвидел осложнения. Я не дал себя переубедить (что, впрочем, было и нетрудно, так Петр Петрович и не старался особенно это сделать, а только высказал опасения) и составил для себя следующий план действий: если совещание откажет в домогательствах младших преподавателей, то считать вопрос их делегации исчерпанным, если же большинство заявит о желательности присутствия делегатов, то потребовать от совещания выработки правил, которые нормировали бы это представительство, а затем отложить самые заседания до производства выборов по выработанной схеме. Действительно, допуская делегатов, необходимо было: 1) установить состав избирательных коллегий, 2) обеспечить участие в выборах большинства этих коллегий, 3) установить количество делегатов от каждого университета и 4) дать возможность всем университетам воспользоваться новым правом, а не только тем трем с половиною (от Московского университета подписали заявление преподаватели только двух факультетов из четырех) пока самозванным коллегиям, которые поспешили заявить о себе.

Всего этого не потребовалось, моя решимость быть вполне корректным имела последствием совершенно определенное решение. В следующее же по получении мною заявлений заседание я их внес на рассмот-

рение совещания, которое, после довольно оживленных дебатов, большинством 37 голосов против 7 отклонило просьбу младших преподавателей.

Из других более существенных вопросов, возбудивших разногласия, можно указать на вопрос об ученых степенях, т. е. о желательном числе их (в сущности о сохранении ученой магистерской степени, которую большинство решило уничтожить, восстановив ученую степень кандидата) и об условиях их приобретения[16]. Особенно горячо ратовал за возможно высокое установление научных требований для получения степеней проф. Стеклов (Харьковск. унив.). Разногласие возбудил тоже вопрос о правах служебных и иных как оканчивающих курс студентов[17], так и самих профессоров[18]. За исключением этих вопросов, оживленные споры и горячий обмен мнений происходили по разным деталям, но общее настроение совещания было замечательно ровное, даже добродушное и преисполненное единодушным желанием достигнуть наилучших результатов, причем выработанный проект устава, хотя и имел, конечно, как всякое человеческое измышление, свои недостатки, явился действительным выразителем мнений всех Советов русских университетов о способах разрешения наболевших вопросов жизни высшей школы.

В выработанном проекте устава воплотились основные пожелания университетов: независимость от попечителей округов с подчинением непосредственно министру с формальной только стороны, полная свобода преподавания, строго коллегиальное управление с последовательно проведенным выборным началом, невмешательство во внутренние дела университетов администрации, отказ от официальных прав для оканчивающих курс, чем подчеркивается необходимость поступления в университет слушателей только ради науки, ради приобретения званий; соответственно этому самое поступление в университет значительно облегчено расширением круга средних учебных заведений, дающих это право, женщины допускаются в университет наравне с мужчинами, и не только в качестве студентов, но и в качестве преподающих; наконец, курсовая система преподавания заменяется предметною с предоставлением слушателям права избирать для себя какие угодно предметы, менять факультеты и посещать одновременно разные факультеты; сами университеты характеризуются не как учебные только заведения, но как “учено-учебные государственные учреждения”.

Выработка проекта устава потребовала 17 заседаний общего собрания совещания и приблизительно втрое больше заседаний четырех комиссий, образовавшихся в первом же заседании совещания, не считая пятой, ректорской комиссии, взявшей на себя разработку плана занятий совещания, а затем и редактирование всего устава. Интенсивность работы членов совещания была, действительно, можно сказать, поразительною, если вспомнить, что вся эта масса заседаний уместилась в промежуток времени от 5 по 27 января, за исключением

ректорской комиссии, которая проработала после того еще около 10 дней. Мне посчастливилось не пропустить ни одного собрания совещания, несмотря на массу других дел, и должен сказать, что, несмотря на страшное иногда утомление и даже недосыпание, благодаря продолжительности вечерних заседаний (иногда за полночь), я вспоминаю и, вероятно, всю жизнь свою буду вспоминать о совещании с чувством, граничащим с восторгом. Думаю, что редко у нас в России осуществлялось такое компетентное собрание, в котором, несмотря на различие основных направлений и темпераментов съехавшихся, все участники от первого до последнего работали так дружно, не за страх, а за совесть, признавая дело не чужим, а своим, с единственным желанием создать нечто по возможности совершенное не ради угождения кому-либо, а ради самого дела. Если и случались диссонансы, то они пропадали в общем настроении работы людей, многие из которых имели бы право требовать отдыха после пережитого за последние годы, а между тем почти месяц проработали столько, сколько другие не работают и за девять месяцев.

Открывая первое заседание совещания, я заявил, что мое и обоих моих товарищей присутствие не должно стеснять собрания, так как мы сидим не для того, чтобы направлять, а для того, чтобы поучиться, чтобы быть в курсе дела, и что ни я, ни товарищи министра не будем принимать участия в прениях и в голосованиях. Я указал на важность для всех собравшихся как бывших воспитанников, а ныне руководителей родных университетов, предмета занятий совещания и на их авторитетность как свободно избранных коллегиями представителей высшей отечественной школы. Поэтому я выразил уверенность в плодотворности занятий и надежду, что удастся сравнительно быстро выработать хороший устав, тем более, что вопрос об университетском уставе не нов, воззрения на желательные формы университетской жизни успели, конечно, давно выработаться у каждого из присутствующих и принципиальная сторона для всех, несомненно, так ясна, что обсуждение ее не займет много времени и можно будет непосредственно почти приступить к конкретной разработке проекта устава. При данных обстоятельствах, проект этот будет пользоваться особенною авторитетностью в глазах этого нового законодательного органа, куда он будет внесен, т. е. будущей Государственной думы.

Суть моей вступительной речи, по-видимому, понравилась членам совещания, так как многие после первого заседания подходили пожать мне руку и выразить удовольствие по поводу выраженных мною мыслей и благодарность за прием. Мне удалось сохранить наилучшие отношения, могу сказать, ко всем участникам совещания до конца, что выразилось, между прочим, в том, что разъехавшиеся последними девять ректоров просили меня сняться вместе с ними и с обоими товарищами министра у фотографа и наговорили мне столько комплиментов, что будь я несколько менее скептически относительно самого

себя настроен — я мог бы вообразить себя неким героем и победителем сердец, если не женских, то... профессорских.

Как мною было упомянуто выше, по окончании заседания совещания ректора остались еще в Петербурге для окончательного редактирования проекта и для составления штатов, соответствующих новому положению. Вся забота об этом последнем фазисе трудов университетской комиссии мною была поручена П. П. Извольскому, который, кстати, совместно с ректорами, выработал проект временных правил, необходимых для правильного, в пределах возможного, функционирования университетов до утверждения нового устава, на каковое мы все рассчитывали не ранее, как через год или полтора. По совету П. П. Извольского, я решил также перевести проект устава на французский и на немецкий языки и послал эти переводы знатокам университетского вопроса в Германию, Францию, Голландию и Швецию с просьбою дать свое заключение. При этом нами руководила та мысль, что переживаемое время роковым образом и даже, в иных случаях, мало заметно для нас самих должно было наложить на проект свой отпечаток, в ущерб практической исполнимости и теоретической верности тех или иных положений, вошедших в проект устава. Беспристрастная и авторитетная критика представителей западной академической науки была не только важна с принципиальной точки зрения, но могла послужить путеводной нитью и для Государственной думы при обсуждении и утверждении проектируемой университетской конституции.

Составленные ректорами совместно с П. П. Извольским временные правила были внесены мною на предварительное рассмотрение Совета министров, но, к сожалению, не были им пропущены. Граф С. Ю. Витте нашел, что они затрагивают такие вопросы, которые могут быть разрешены только законодательным путем, а потому накануне открытия Государственной думы не подлежат, по его мнению, даже рассмотрению. Поневоле пришлось мне выделить некоторые из вопросов, менее возбуждающих недоверие, и доложить их непосредственно Государю Императору на моих всеподданнейших докладах и довести их таким, сознаюсь, не вполне корректным образом после отпора, полученного мною в Совете министров. Таковы испрошенные мною в конце марта Высочайшее повеление о допущении в университет, по выполнении некоторых дополнительных требований, окончивших курс в разных средних учебных заведениях иных, чем гимназии[19]; и другое — о выборе профессоров Советами университетов не только по конкурсу, но и по рекомендации, когда вопрос касается людей, известных в науке, выдающихся старых профессоров и т. п. Совершенно не удалось провести несравненно более существенные, на мой взгляд, пункты предполагавшихся временных правил; пункты эти касались: принятия евреев без ограничения их числа процентною нормою[20], принятие женщин наравне с мужчинами[21], установление предметной системы взамен курсовой[22] и уничтожение служебных прав,

соединенных с дипломом, вместе с постепенным прекращением государственных экзаменов при университетах. Относительно еврейского вопроса в университете я имею намерение подробно поговорить в главе 6 моих воспоминаний; относительно приема женщин должен сказать следующее. Считаю нужным оговориться, что лично я был издавна сторонником совместного обучения мужчин и женщин, и не только в одних высших учебных заведениях, но и на всех ступенях образования. Будучи вице-президентом Академии художеств более 12 лет, я проводил с успехом воззрения в этом отношении как в высшем художественном училище при Академии, так и во всех подготовительных к нему провинциальных школах с курсом средних учебных заведений. За все это время мне ни разу не пришлось столкнуться с каким-либо неудобством или просто неприятностью, имевшими источником совместное обучение лиц обоего пола; напротив того, я всегда замечал, что присутствие девушки в классе или аудитории скорее облагораживало несколько грубые нравы нашего учащегося юношества мужского пола, и сравнение тех курсов, на которых находились среди юношей и женщины, с теми, где обучались одни ученики, случайно без женщин, оказывалось всегда в пользу первых. Когда я возбудил вопрос в применении к университетам в Совете министров, то граф Витте, возражая мне, заявил, что он принципиальный противник совместного обучения и в числе прочих аргументов против такового сказал, что это было бы лучшим способом вконец революционировать высшую школу, так как женщины являются главными носительницами и вдохновительницами разрушительных идей, как только они вкусят от науки, и потому одному будут считать себя "развитыми", а вследствие этого и обязанными быть "передовыми" и врагами всякой "рутины" и отсталости. Должен сказать, что мой личный опыт даже и этого не подтверждал: значительная часть женщин, добившись возможности серьезно учиться, очень дорожит этой возможностью и отличается от своих товарищей мужского пола главным образом прилежанием и вниманием; другая часть, несомненно, увлекается модными социальными и политическими учениями, но разве громадное большинство юношей не делает того же самого? Во всяком социальном учении заключается значительный элемент веры, и учения эти приобретают и, несомненно, приобрели уже характер религиозный со всеми признаками фанатизма и нетерпимости к противоположным теориям и к чужим мнениям вообще. Но разве отдельное существование мужских и женских монастырей в средние века мешало развитию самого крайнего и часто грубого фанатизма? Почему совместные научные занятия должны развить фанатизм, хотя бы социалистический, а раздельные предохранить от него? Я лично насчет этого совершенно противоположного мнения, которое я и счел долгом развить в Совете министров, не встретив, впрочем, особой симпатии. Профессорское совещание единогласно высказалось в пользу допущения женщин в университет и признало, что хотя действующий

устав, несомненно, имел в виду прием только лиц мужского пола, но ни одна статья не содержит запрещения допускать женщин, а потому с юридической точки зрения не встречается препятствий так толковать закон, что доступ в университет открыт молодым людям того и другого пола. Осенью 1905 г. фактически был осуществлен прием женщин в университет, но пока в качестве вольнослушательниц, причем скорое закрытие высших учебных заведений вследствие беспорядков не дало времени оформить этот прием. Я, между прочим, давал обсудить вопрос в юрисконсультской части министерства, но юрисконсульт В. И. Мамонтов категорически высказался в том смысле, что наши университеты ни по духу, ни по букве закона не предназначены для лиц женского пола. Я не мог не признать правильности толкования г. Мамонтова с формальной точки зрения, а потому и хлопотал о законодательном или хотя бы авторитетном, в виде аутентичного истолкования закона Верховною властью, исправлении университетского устава в смысле дозволения принимать женщин, удовлетворяющих установленному для лиц мужского пола цензу, но, встретив решительный и принципиальный отпор со стороны Совета министров, не решился на непосредственный доклад Государю, так как был заранее уверен, что Его Величество не решится утвердить мое предложение против мнения всего министерства и вразрез с воззрениями, царствовавшими вообще в высших придворных и чиновных сферах.

Введение в университетах предметной системы преподавания взамен курсовой составляло давнишнее pium desiderium* подавляющего большинства факультетов всех русских “храмов науки”. “Предметная” система, тесно связанная с вопросом об изменении системы испытаний, и “полукурсовых”, и окончательных, с вопросом о “зачетах полугодий или семестров”, предполагает полную свободу факультетов в установлении учебных планов, а потому и в определении конечных результатов университетского учения. Из этой системы сама собою вытекала необходимость совершенно отделить выдаваемые университетами удостоверения о прохождении курса об освоении известной группы научных дисциплин от тех служебных, сословных и иных прав и преимуществ, которые приобретались окончанием курса высшего учебного заведения. Такие права должны бы были приобретаться, по мнению совещания профессоров, на основании независимых от университета государственных или даже просто ведомственных (отдельно и специально для каждого ведомства) экзаменов; говоря иными словами, профессорам и мне вместе с ними казалось в высшей степени важным и неотложным установить факт, что в университет поступают не ради приобретения прав и не ради карьеры, а только для науки, для получения знаний. Государь Император, которому я докладывал об этом, был совершенно согласен с этой точкой зрения, но изменение приобретаемых прав не могло, конечно, быть осуществлено простым Высочайшим повелением, испрошенным отдельным министром, а требовало законодательной, с соблюдением всех установленных форм

санкции; первым этапом для достижения этого являлся Совет министров, без согласия которого я не имел возможности внести проект закона в Государственный совет. И в этом вопросе я встретил противодействие со стороны моих коллег с графом Витте во главе. Собственно, принципиального возражения не было, но мне было указано на преждевременность решения вопроса накануне открытия Государственной думы и на тесную связь его с более общими вопросами, касающимися сословных прав вообще, устава о службе гражданской и т. д. Указывалось также на необходимость пересмотреть, одновременно с вопросом о правах, даруемых университетским дипломом, уставы других учебных заведений, как-то "привилегированных"[23] и специальных[24]. Напрасно я указывал на желательность ныне же предупредить абитуриентов средних учебных заведений о том, что прохождением университетского курса они лишних прав не получат, и что если этого не сделать теперь, то трудно будет перейти на предметную систему преподавания, и все дело упорядочения университетской жизни будет отложено ad calendas graecas*. Совет стоял на твердой почве необходимости рассмотреть весь вопрос в совокупности и невозможности провести его теперь через Государственный совет. Поневоле мне пришлось с этим пока согласиться, надеясь, что Государственная дума не откажется заняться этим животрепещущим для всех нас вопросом в первую же свою сессию. Дело заключалось в том, что для студентов, уже находящихся в университете, необходимо было сохранить существующие права, в расчете на получение которых они поступили, и можно было изменить их только для будущих студентов, т. е. тех юношей, которые будут поступать из средних учебных заведений. Сделать же это было желательно не откладывая, т. е. применить новые условия к абитуриентам 1906 г. Покидая министерский пост в конце апреля, я думал об этом вопросе и искренно надеялся, что моему преемнику, может быть, удастся провести его еще вовремя.

Через некоторое время по окончании университетского совещания мною было созвано тем же порядком совещание представителей специальных высших учебных заведений нашего ведомства. На это совещание собрались директора и представители, избранные Советами следующих учебных заведений: С.-Петербургского технологического института, Харьковского и Томского техн. институтов, Императорского Московского технического училища, Рижского политехникума, Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства, Ветеринарных институтов: Юрьевского, Варшавского, Харьковского и Казанского, С.-Петербургских и Московских высших женских курсов и С.-Петербургского женского медицинского института. Всего вошло в состав совещания 38 профессоров. Имея за собою опыт университетского совещания, мне было гораздо легче сорганизовать это новое, причем с внешней стороны оно явилось довольно точным повторением первого: мое председательство с добровольным отказом от права

голоса, присутствие обоих товарищей в общих собраниях (на половине из них О. П. Герасимов, впрочем, не присутствовал), тот же секретариат, тот же способ ведения журналов заседаний. Совещание разбилось тоже на комиссии, но не по группам вопросов, а по характеру учебных заведений, т. е. технологические вместе, ветеринарные отдельно, женские вместе. Работа совещания была значительно облегчена существованием схемы в виде проекта университетского устава. Представители С.-Петербургских высших женских курсов имели уже готовый проект устава этого учебного заведения, а потому его совещание совсем не коснулось, тем более, что зависимость курсов от министерства сводилась к тому, что директор их утверждался министерством и получал от него жалованье, т. е. курсы эти по существу представляли собою частное учебное заведение. Результатом работ этого совещания был ряд (кажется, пять) проектов уставов для различных учебных заведений, чрезвычайно добросовестно и подробно разработанных.

В смысле общей характеристики состава этого второго профессорского совещания, должен сказать, что собравшиеся, за исключением представителей Рижского политехникума, по высказываемым мнениям, были несколько левее университетских профессоров; кроме того, хотя в университетском совещании и принимало участие достаточное количество членов пресловутого “Академического союза”, но, за двумя-тремя исключениями, “платформа” союза фигурировала весьма редко в речах профессоров; здесь, в совещании представителей специальных учебных заведений не только чувствовалось постоянно влияние выработанных “союзом” положений, но некоторые из говоривших прямо и не обинуясь ссылались на его решения и на мнения разных съездов, на всякие “платформы”. Соответственно этому, и в выработанных проектах уставов оказалось более крайнее воззрение на роль “младших преподавателей”, которым даны известные права, на положение студентов, на роль начальства учебных заведений. В общем, однако, члены этого совещания не разошлись резко с мнениями своих университетских коллег и подтвердили почти все их воззрения на нужды высшей школы в России. Таким образом, получалась в общем довольно стройная и грандиозная даже картина мнений истинных представителей всей русской науки, насколько она воплощалась в русской профессуре высших учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения. Какие бы судьбы ни ожидали русскую высшую школу, сколько бы ни указывали на исключительность и даже ненормальность времени, в которое были выработаны проекты уставов, с этими мнениями и самими проектами придется считаться, и я убежден, что работа обоих совещаний составит важную и любопытную страницу в истории русской академической жизни.

Для характеристики времени любопытно упомянуть, что в числе участников совещания заседали под моим, министра, представительством директор Томского технологического института Зубашев и

профессор того же института Кижнер, отрешенные от должностей местным генерал-губернатором с высылкой их из пределов Сибири до окончания военного положения, на котором она была объявлена[25]. Относительно директора проф. Зубашева были мне сообщены его вины: когда, во время беспорядков в Томске, было предположено занять институт войсками, он этому воспротивился, но, когда в самом здании произошел разгром, он просил о присылке войск; когда составилась на улице сходка студентов университета и института, он не пустил туда инспекцию под предлогом, что инспекция может действовать только в стенах института; наконец, вообще направления антиправительственного, что явствует-де из его разговоров. Профессор Зубашев был назначен в свое время самим министерством директором Томского института, и, случай довольно редкий, по даровании "автономии" этому учебному заведению был избран вновь на эту же должность Советом профессоров и вновь утвержден министерством. Прибыв в Петербург, проф. Зубашев мне представился и рассказал о своих злоключениях, спрашивая, считаю ли я возможным его участие в совещании, так как приглашение он получил ранее своей опалы. Я, конечно, ему ответил, что решение мое остается в силе, что в моих глазах он остается выборным директором Томского технологического института, только временно отстраненным по распоряжению чуждого нам ведомства, действующего ненормально в ненормальное время, и что я очень ценю участие его в совещании как выдающегося деятеля в области технического образования. Так как он беспокоился относительно того, не возникнет ли для него неприятностей от пребывания в столице, я при первом свидании обратился к Министру внутренних дел Дурново с вопросом относительно всего зубашевского дела. П. Н. Дурново мне ответил, что отрешение от должности и высылка — дело генерал-губернатора, но что он ничего не имеет против пребывания г. Зубашева в Петербурге. Тогда я его спросил: "Но если Вы считаете его настолько опасным, что находите нормальною высылку его из Сибири, то Вы должны считать возможным, что он что-нибудь сделает и здесь, в Европейской России; что Вы тогда сделаете?" — "Вышлю его в Сибирь", — спокойно ответил П. Н. Дурново. Ничего подобного, конечно, не произошло, и проф. Зубашев по окончании заседаний совещания отправился в Харьков, где он раньше профессорствовал и имел много друзей, ждать снятия военного положения в Западной Сибири для возвращения к своим пенатам.

Для характеристики настроения позволю себе рассказать здесь эпизод анекдотического характера, имевший место в конце заседания второго профессорского совещания. В это время как раз произошла ужасающая катастрофа в каменноугольных копях в Северной Франции; один из профессоров — участников совещания — составил телеграмму на французском языке от имени совещания с выражением соболезнования и передал через меня, как председателя, на благоусмотрение собрания. Хотя я и небольшой сторонник подобных манифес-

таций, но счел долгом доложить о предложении совещанию, предполагая, что оно не вызовет особых прений и будет принято как вещь весьма обычная и соответствующая российским нравам. Не тут-то было. Ораторы один за другим стали подыматься со своих мест и произносить речи на тему о том, что не мы должны кому бы то ни было соболезновать, а мы, русские, наиболее достойны сожаления, что значит, мол, несколько сотен жертв, когда у нас их тысячи, когда у нас происходят казни, кровь льется рекою и т. д. Я поспешил прекратить прения, заявивши, что такие телеграммы от имени коллегии, каковую в данном случае составляет совещание, могут посылаться только при единодушном согласии, а не постановлением большинства, и телеграмма отправлена не была.

С участниками второго профессорского совещания я расстался в столь же хороших отношениях, как и с участниками первого, университетского. Помимо положительных, осязаемых результатов в виде ряда выработанных проектов новых уставов, совещания эти имели то значение, что приблизили и меня и обоих товарищей министра к профессорской среде, пробили брешь в той стене недоверия, которая существовала между профессурою и высшими представителями центрального управления ведомства. Если бы судьба определила мне остаться во главе министерства несколько дольше, я убежден, что зародившиеся добрые отношения принесли бы и добрые плоды; но и с моим уходом остались мои товарищи, которым профессорские совещания и их результаты помогли разобраться во многом и дали возможность направить в желательную сторону деятельность ведомства и при новом министре. Искренно надеюсь и верю, что работы совещаний не пропали даром и принесут свои добрые плоды. Я, со своей стороны, всегда с удовольствием и искреннейшею симпатией и благодарностью буду вспоминать об одних из самых светлых для меня днях моей министерской деятельности. Не будь этих совещаний, на которых я видел, что делается дело, и чувствовал, что с моим уходом они рискуют быть прикрытыми, — я, вероятно, не выдержал бы шести месяцев на своем посту и в своем кабинете, с направлением деятельности которого я во многих случаях был несогласен.

К разряду высших учебных заведений относятся многочисленные частные курсы, или, как их стали называть за последнее время, вольные университеты. В этой области, вместе с возникновением "освободительного движения", началось чрезвычайное оживление. Многие профессора, с прекращением лекций в казенных учебных заведениях, охотно соединились для организации частных курсов. В нормальное время следовало бы подумать о нормировке довольно сложного вопроса о подобных "вольных" курсах не в отношении правительственной цензуры, а в смысле участия в их организации профессоров правительственных учебных заведений, с крайней легкостью отдающих свое время частным учебным заведениям, получая казенное жалованье, но в переживавшийся период необходимо было, казалось мне,

позаботиться об удовлетворении, несомненно, существовавшего у многих “образовательного голода”; поэтому как я сам, так и оба мои товарища сочувствовали этому просветительному движению. Министерство было, однако, связано необходимостью направлять каждое отдельное ходатайство в законодательном порядке, т. е. через Государственный совет, так как действующим законом о частном обучении открытие таких курсов не предусмотрено, хотя министру было предоставлено разрешение своей властью открытие частных учебных заведений с курсом низших и средних казенных школ даже с предоставлением им, по своему усмотрению, прав правительственных учебных заведений для оканчивающих в них курс. Поэтому мною было испрошено Высочайшее соизволение на предоставление Министру народного просвещения права разрешать учреждение частных курсов как общеобразовательных, так и профессиональных, с программами преподавания выше средних учебных заведений, но без присвоения этим курсам каких-либо прав[26].

Не стану останавливаться здесь на других подробностях, относящихся к высшим учебным заведениям и затронутых в бытность мою министром, как-то испрошенном мною Высочайшем повелении о допущении в университет семинаристов, реалистов и учеников других средних учебных заведений, о принятии евреев сверх норм и т. п., ибо думаю, что описанного мною здесь достаточно для составления общего впечатления о направлении деятельности министерства в области высшей школы за время моего управления; но считаю любопытным коснуться эпизода, имеющего отношение к этой области и во многих отношениях характерного.

Если не ошибаюсь, чуть ли не на первой неделе моей интронизации на министерском кресле ко мне явился во всех регалиях директор Московского лицея Цесаревича Николая (vulgo* Катковского) г. Георгиевский. Георгиевский, сын известного сподвижника графа Д. А. Толстого и графа Делянова по введению у нас злополучного “классицизма”, был несколько мне лично знаком, так как я с ним завтракал, кажется, раза два у вел. кн. Владимира Александровича в бытность Георгиевского директором Царскосельской гимназии. О Московском лицее у меня были довольно смутные представления: мне известно было, что он основан Катковым и Леонтьевым в 60-х годах, что директором его до Георгиевского был пресловутый Грингмут, что состоял он из гимназического и университетского отделений и был весьма непопулярен в широких московских кругах, в качестве одного из цензоров реакции. Выразив свое удовольствие, что он видит меня занимающим министерский пост, и предупредивши, что граф Витте знаком с его делом и вполне ему сочувствует, а также что он через Д. Ф. Трепова, с которым он в наилучших отношениях, испросил Высочайшую аудиенцию или доклада о нуждах лицея, г. Георгиевский приступил к изложению своей просьбы, сославшись на представление, мною полученное уже раньше, но с которым я не успел толком

ознакомиться. Суть дела, насколько я мог понять, заключалась в следующем: еще в 1904/05 академическом году, когда университет забастовал, университетские курсы лицея продолжали функционировать, и студенты лицея не прерывали занятий до конца академического года. На основании существующего устава лицея воспитанниками в него могут быть зачислены только студенты Московского университета, обязанные слушать университетские лекции, причем зачет полугодий производится юридическим факультетом университета, переводные экзамены производятся в университете, а окончательные испытания для получения диплома происходят в общей Государственной комиссии, т. е. в университете же. В лицее имеют место чтение дополнительных лекций и туторские курсы, отчасти репетиционного характера, а также семинарского. В истекшем академическом году получилась такая картина: за закрытием университета, лекции в лицее, по словам Георгиевского, были расширены до размеров полного университетского курса юридического факультета, и в то время, когда университет бастовал, студенты лицея успели пройти весь положенный курс; однако ввиду того, что они не посещали собственно университетских лекций, которые не читались вовсе, факультет отказался зачесть им полугодия, а потому и не допустил к экзаменам, как и студентов университета. Директор лицея нашел следующий исход из этого положения: пользуясь своими связями, он исхлопотал через ген.-лейт. Глазова Высочайшее повеление, по которому предписывалось университету (без предварительного сношения с ним министерства) зачесть полугодия лицеистам и допустить их к экзаменам. Юридический факультет уклонился от исполнения этого повеления, ссылаясь на то, что оно издано не в законодательном порядке, хотя и нарушало утвержденный в этом порядке университетский устав. Таким образом, вопрос остался неразрешенным и, хотя переводные экзамены были произведены в самом лицее, университет таковых не признал, и лицейские студенты официально, в глазах университета, продолжали числиться на тех курсах, на которых их застала университетская забастовка. Для абитуриентов Георгиевский исхлопотал назначение отдельной Государственной комиссии, которая и выдала дипломы всем двенадцати или тринадцати окончившим курс лицеистам. В текущем 1905/06 академическом году положение оставалось прежним: несмотря на прекращение университетских занятий, таковые продолжались без перерыва в лицее, а юридический факультет продолжал игнорировать как этот факт, так и Высочайшее повеление как изданное без соблюдения законных форм.

Указывая на все это и пользуясь случаем, г. Георгиевский поднял вновь имевший уже свою историю вопрос об изменении устава Московского лицея в смысле создания из него самостоятельного и независимого от университета высшего учебного заведения, органически связанного с существующими гимназическими классами. Вопрос этот

был, впрочем, предрешен в положительном смысле во время министерства Зенгера, когда под председательством тогдашнего Московского генерал-губернатора (попечителя лицея ex officio) князя Сергея Александровича, весьма благоволившего к лицею, была образована комиссия, выработавшая проект устава, на основании которого предполагалось установление даже двух факультетов при лицее: юридического и историко-филологического. Проект этот был отклонен ввиду стоимости преобразования и несвоевременности крупного расхода из средств Государственного казначейства в самом начале русско-японской войны. С тех пор проект заглох, и вопрос подымался ныне вновь, причем Георгиевский, соглашаясь лишь на учреждение одного, уже существующего фактически, юридического факультета, указывал на то, что никаких затрат со стороны правительства реформа не потребует. Сознавая, что факт непрерывавшихся занятий лицеистов во время почти двухлетней общей забастовки, по каким бы причинам или побуждениям он ни произошел, требует признания со стороны правительства, и сбитый несколько с толку протекциею, оказываемою домогательствам Георгиевского со стороны графа Витте, я чуть было не дал хода проекту преобразования лицея, но, вспомнив непопулярность этого учреждения, решился навести справки, а Георгиевскому ответил уверением, что интересы слушателей лицея мною непременно будут приняты во внимание, но что я прошу дать мне время для ознакомления с делом лицея. Еще сильнее возбудилось мое недоверие к этому делу, когда при первом всеподданнейшем моем докладе, во время ожидания в приемной комнате, на меня насел Д. Ф. Трепов, уговаривая меня поднести проект непосредственно на Высочайшее утверждение и рекомендуя в качестве бывшего Московского обер-полицмейстера лицей как единственное порядочное учебное заведение первопрестольной. Государь Император, в свою очередь, по окончании этого моего первого доклада заговорил сам о лицее, указав, что он особенно благоволит к нему и считает необходимым поощрить примерное поведение учащихся в нем во время общей разрухи учебного дела. Но я был уже настороже и позволил себе ответить, что прошу дать мне хотя бы немного времени, чтобы ознакомиться с делом; Государь не настаивал, хотя и предупредил, что "против лицея интригует университет с ректором во главе" — очевидно, сведение, сообщенное или Треповым или Георгиевским, представлявшемся Государю и хлопотавшем о деле лицея. Я был очень взволнован всем этим делом, взволнован, признаться, настолько, что готов был из-за лицея подать в отставку, так как почувствовал в том направлении, которое грозил принять этот вопрос, именно ту сторону господствующего режима, которая вернее всякой революции способна погубить всякое правительство: решение дел, помимо ответственных лиц, безответственными советчиками и интриганами и большее доверие Государя к навязанным ему впечатлениям и ловко представленным ему под известным углом зрения данным, чем к назначенным им же министрам.

Вступивший, между тем, в должность О. П. Герасимов как старый москвич и приехавший в Петербург А. А. Мануилов окончательно раскрыли мне глаза на лицейский вопрос. Реформа университетского отделения лицея совершенно, в сущности, искажает первоначальную мысль его основателей и вызвана исключительно честолюбивыми замыслами начальства его. Причин для основания второго казенного юридического факультета в Москве никаких не существует, особенно какого-то второсортного факультета, так как конкурировать серьезно с университетским факультетом для него всегда будет немыслимо. Вся притягательная сила лицея заключалась пока в привилегии допускать студентов к государственному экзамену после трехлетних занятий вместо четырехлетних и отчасти в расчете более близкого знакомства с профессорами-экзаменаторами. За эти привилегии студенты лицеисты вносят весьма высокую плату, достигающую нескольких сотен рублей в год. Таким образом, лицей является привилегированным учебным заведением, но привилегия учащимся дается не за заслуги отцов, как в принципе предполагается относительно Александровского лицея или Правоведения, а за деньги. Реформа лицея, затеянная и проведенная именно теперь министерством, произведет в Москве весьма невыгодное впечатление и будет признана симптомом усиления реакционного направления. Когда съехались профессора на совещание, я составил небольшой консилиум из обоих моих товарищей, А. А. Мануилова и проф. Хвостова, бывшего ранее профессором лицея; так как я выражал намерение всеми силами противиться домогательствам Георгиевского и возбудить принципиальный вопрос о невмешательстве в дела министерства посторонних лиц и влияний, оба московских профессора просили меня не ставить министерского вопроса по поводу лицея, а вместе с тем выработали временные правила, вполне обеспечивающие интересы лицеистов, не производя полной ломки существующего устава. Я провел эти правила через Совет министров, и они удостоились Высочайшего утверждения. Георгиевский, однако, не успокоился: насевши с одной стороны на Трепова, а с другой стороны на генерал-губернатора, он добился того, что ген.-адъют. Дубасов вошел с всеподданнейшим докладом о необходимости реформы лицея, трактуя этот вопрос как дело первостепенной государственной важности. Доклад был представлен помимо меня, и я его получил с собственноручною надписью Государя, предписывающею мне немедленно внести дело в Государственный совет. Мне оставалось только подчиниться ввиду взятого с меня московскими профессорами обещания не делать из лицейского инцидента министерского вопроса. В заседание Государственного совета, в котором рассматривался вопрос, приехал из Москвы сам Дубасов и привез с собою, для дачи объяснений, Георгиевского; Дубасов переговорил предварительно со многими членами Государственного совета и перетянул их на свою сторону, а потому, несмотря на замечания министерства, проект в Государственном совете большинством

голосов прошел и был утвержден, но не по моему докладу, а по журналу Государственного совета, в котором я, Министр народного просвещения, в ведомстве коего находился лицей, был занесен как вотировавший с меньшинством, против проекта. Случилось это почти накануне выхода моего вместе со всем кабинетом Витте в отставку. Каждый, я думаю, поймет, по описанному мною эпизоду, насколько трудно приходилось министрам проводить последовательно какую-либо систему при существовании постоянных протекций и посторонних влияний, сказывавшихся как в крупных, так и в мелких вопросах. Я убежден, что в подобных "влияниях" и в том постоянном "полудоверии", которым пользуются ответственные перед Государем и общественным мнением официальные руководители ведомств, заключается первопричина ряда недоразумений и прямо общественных бедствий. Полным доверием пользуется, обыкновенно, безответственный временщик — придворный сановник, свитский генерал, флигель-адъютант, иногда еще более скромный чин или даже какой-нибудь простой "откровенный человек", конечно, до поры до времени, пока какой-нибудь глупый или неудачный совет не обнаружит недомыслия советчика, а министры должны или лавировать, делая на каждом шагу уступки, или вступать в споры, которые неизбежно кончаются отставкою. Хорошо еще, когда дело касается вопросов несущественных и не имеющих влияния на общий ход политики, но и в таком случае постоянные мелкие уступки и сделки со своею совестью понемногу развращают человека и превращают государственного деятеля в ловкого царедворца, заботящегося об угождении и прежде всего о сохранении добрых отношений к "собаке дворника", чтобы невзначай не укусила за икру в самую неудобную минуту... Впрочем, есть ли это специфическая характерная черта русского управления? Может быть, то же, но под другим соусом, встречается и в других странах, и затронутая мною сторона политической жизни присуща ей в большей или меньшей степени в более или менее крупных вариантах всюду. Конечно, может быть; но мое впечатление таково, что, не будь именно этого, дело управления значительно упростилось бы, и мне кажется, что шесть месяцев, которые все ушли у меня, в сущности, на подготовительную работу, могли бы быть использованы более производительно в смысле перехода от слов и пожеланий к делу.

4. СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Одна из наиболее характерных черт движения, охватившего Россию в начале нынешнего столетия, заключается, несомненно, в том участии, которое приняли в этом движении средние учебные заведения как в лице учащихся, так и учащих. Если в течение всей второй половины девятнадцатого столетия, а также и в двадцатом, всякое политическое и социальное движение, всякое брожение встречали живой отклик в университетской среде, то с этим все уже освоились, и это ни в ком не возбуждало ни удивления ни особого страха: русские люди давно привыкли видеть "бунтующих" студентов и многие были издавна не прочь признавать слова студент и бунтовщик синонимами. Главари новейшего революционного движения замечательно верно сообразили ту пользу, которую можно извлечь для дела, втянув в него подростков и детей: с одной стороны, дети легко подбивались на чисто героические действия, благодаря игре на их юном честолюбии, и будучи поставлены в первые ряды революционных действий, являлись естественною защитою для более взрослых "товарищей", а с другой — не было, конечно, лучшего средства взбудоражить все общество и вселить самое яростное неудовлетворение в родительскую среду, как поражая ее в лице ребят; сколько родителей присоединилось к движению только потому, что их дети исключались из учебных заведений или были иначе наказываемы начальством из-за политических убеждений, сколько отцов и матерей самого буржуазного склада стали проклинать правительство, не умевшее уберечь их детей от беды, сколько из них поколебалось в своих охранительных убеждениях благодаря детской, а потому и пылкой проповеди разных ненаглядных Ванюшей и Мишенек, которые грозились убежать из дому, если родители с ними не согласятся.

И надо отдать справедливость — почва для взращения беспорядков была благороднейшая: все, что можно было сделать для полного дискредитирования правительственной средней школы, было сделано и обществом и главным образом самим правительством. Не стоит здесь доказывать ставшей у нас трюизмом непопулярности толстовской школы и разбирать причины этой непопулярности, но нелишне напомнить, что система эта, продержавшись при самом ее создателе и при его преемнике графе Делянове[1], последовательно потом разрушалась, в том или ином направлении, всеми последующими Министрами народного просвещения. Лично я убежден, что грех ее был не в том, что преподавалось по этой системе в школе, а в том, как преподавалось и с какою целью, но как раз это "как" и эта "цель" остались неприкос-

новенными во всех последующих частичных реформах, а изменялись только программы, причем эти постоянные изменения только окончательно дискредитировали школу в глазах общества. Осталось в неприкосновенности и старое воззрение на преподавателей школы, как на людей, призванных исполнять и проводить в жизнь виды начальства, действовать по указанию министерских мудрецов, причем оплата их труда хотя и подвергалась некоторому повышению, но далеко не в таких размерах, которые соответствовали бы увеличению стоимости мало-мальски приличной жизни.

Ко времени назначения меня министром большинство средних учебных заведений в Петербурге или забастовало целиком, или функционировало лишь на половину, так как бездействовали старшие классы, и учение происходило только в младших, до 4-го включительно. Когда я посетил П. П. Извольского, тогда еще попечителя округа, вопрос об этом нами обсуждался очень горячо, причем Извольский говорил о своем намерении созвать представителей Педагогических советов для выяснения вопроса. Я не только дал разрешение на такое совещание, но выразил даже намерение присутствовать на одном из его собраний. Ради удобства, ввиду центральности ее местоположения, для собрания было избрано помещение 6-й гимназии, обладавшей, кстати, обширным залом. Я исполнил свое намерение и явился в собрание. Если в начале этого заседания при моем появлении и обнаружилось, может быть, некоторое стеснение, то оно очень быстро прошло, и целый ряд педагогов выложили, по-видимому, все, что было у них на душе. Прослушавши в течение почти 4-х часов этих ораторов, я пришел в ужас не от проповедовавшихся некоторыми из них довольно необычайных теорий организации школы, но от той картины развала, которая ясно обрисовывалась в речах. Я впервые вполне определенно узнал, что между учащимися средней школы образовалась всероссийская революционная партия учеников старших классов (начиная с 6-го и даже с 5-го): партия под названием "Северного союза" организовала правильные делегатские съезды, вырабатывала самые крайние резолюции, обязательные для всех членов, входила в официальные отношения с другими нелегальными организациями, предписывала бойкот преподавателей, инспекторов и директоров, имела своих представителей во всех гимназиях, реальных училищах и других средних учебных заведениях. Самые близкие сношения эта организация имела со студенческими революционными кружками и с Советом рабочих депутатов, который с особым удовольствием и с успехом пользовался охотно предлагаемыми услугами школяров для всяких революционных действий. Рядом с ученической организацией основался Союз преподавателей средней школы[2], наиболее деятельными членами которого состояли молодые учителя. Этот союз поддерживал тесные связи с ученическим и хотя старался, очевидно, ввести в известные рамки ученическое движение, но, добиваясь популярности среди школьников, убеждая себя, что только этим

способом он может получить на них благотворное влияние, сам из руководящего очутился явно в роли руководимого, а потому, когда гимназисты и реалисты объявили политическую забастовку с требованием Учредительного собрания и установления пролетарской республики в России, союзники учителя присоединились к ним, объявляя тоже забастовку, но выставляя перед школьным начальством предлог возмущения репрессивными мерами, которые применялись к коноводам ученического движения, а учеников заверяя в своей солидарности с их требованиями. На газетном жаргоне вся эта зеленая молодежь, т. е. революционированные гимназисты, начиная с 5-го класса, и поощрявшие движение педагоги именовались сознательной частью учеников и учителей средней школы. Очевидно, желавшие учиться или учить в глазах "мыслящих" русских людей являлись тупицами и подхалимами, а соблюдение налагаемых начальством обязанностей — подлостью. Какие же я услыхал предложения о реформе средней школы со стороны "сознательных" педагогов? А вот какие: ученики средней школы давно переросли те требования, которые к ним предъявляет эта школа; они не просто ученики, а юные граждане, сознательно стремящиеся к свету, к участию в политической жизни страны; поэтому они не могут, с одной стороны, слепо подчиняться установленному в школе режиму и изучать только тот круг предметов, который установлен для них бездушным ведомством народного просвещения, а с другой, имеют право требовать, чтобы средняя школа не была исключительно посвящена изучению предметов преподавания, приобретению научных знаний, но стала школою гражданского воспитания в духе истинной демократии. Для этого всеми силами следует поощрять не только независимость воззрений учеников, но и организацию всяких союзов, судов чести и сходок, поощрять их стремление к политическому самообразованию организацией лекций и чтений на злободневные темы, а рядом с политическим теоретическим воспитанием приучать их к практическому осуществлению своих гражданских прав, введя в школу принцип самоуправления. Реформируя в таком направлении ученическую среду, необходимо одновременно изменить весь уклад педагогического персонала. Тут требования доходили до полной автономии: директор должен избираться из своей среды коллегиею преподавателей на определенный срок, без всякого вмешательства учебного начальства, этот директор должен быть лишен всяких исключительных прав и является только primus inter pares*, временным председателем Педагогического совета; инспекторская должность, так же как и должности воспитателей некоторыми проектировались к полному уничтожению, а некоторые допускали их, но тоже по избранию, как и директорскую. Все дело управления школою сосредоточивалось в коллегии преподавателей, которые в своем преподавании должны пользоваться самою широкою свободою в вопросе о том, что и как преподавать. Некоторые допускали присутствие в коллегии с правом совещательного голоса делегатов от учеников.

При открытии преподавательской вакансии таковая замещается по избранию коллегии преподавателей, которая имеет право и изгонять из своей среды неугодных ей сочленов. Для увенчания всего здания автономной средней школы предлагалось развить союз преподавателей всех школ, который и направлял бы все дело, вырабатывал бы системы с соблюдением автономных прав отдельных школ и явился бы верховной инстанцией при коллизиях. Не надо, однако, думать, что все участники собрания симпатизировали изложенным выше мнениям и предложениям; напротив, значительная часть присутствовавших горячо оспаривала их. Если "сознательные" педагоги стояли за немедленное введение безграничной автономии для учащих, а некоторые даже и для учащихся, то "несознательные" ограничивались пожеланиями, чтобы были только расширены права Педагогических советов и уничтожена излишняя регламентация, основанная на сотнях министерских циркуляров; что касается учащихся, то эти педагоги жаловались, напротив, на слишком большую их распущенность и высказывались за необходимость отвлечь их от занятия политикою, вернув школу к единственной, по их мнению, нормальной функции — сообщить знание, научить логически мыслить и сознательно работать.

Вынесенное мною впечатление было, сознаюсь, сильное: принимая даже во внимание, что некоторые из говоривших, несомненно, просто "козыряли" своею "сознательностью" перед новым министром, что между собравшимися избранниками Педагогических советов оказались и весьма благоразумные люди, предъявлявшие скромные требования, в общем получалось впечатление ужасного хаоса, невероятной неуравновешенности значительной части тех людей, которым было поручено дело воспитания русских детей. Если некоторые из "сознательных" педагогов (уверен, что таких было самое немногочисленное меньшинство) увлеклись популярничанием, то значительнейшая часть их были, несомненно, люди хорошие, убежденные, но увлекающиеся, способные в своем увлечении договориться до комических предложений: не могу я забыть преподавателя одной частной гимназии, приобретенной и содержимой ее директором, который, конечно, содержал себя и свою семью на доходы, получаемые от учебного заведения; этот преподаватель торжественно заявил, что нужный порядок и терпимые отношения могут водвориться в этой частной гимназии только в том случае, если собственник ее будет совершенно устранен и будет введена в нее автономия с выборным директором и выборными преподавателями. Только принятое заранее решение не вмешиваться в прения и не возражать ни на что удержало меня от того, чтобы сказать этому взрослому ребенку, принявшему на себя обязанность руководства детьми: "Если Ваш директор так плох, то нужно запретить ему заниматься педагогическою деятельностью, и тогда он, вероятно, закроет содержимое им учебное заведение и займется чем-нибудь другим, но как Вы хотите заставить старого опытного педагога, основавшего свое учебное заведение и вложившего туда все свои средства,

отказаться от всякой роли в нем? Не проще ли Вам и Вашим единомышленникам уйти из столь плохой гимназии?"

Повторяю, впечатление, вынесенное из этого первого знакомства с представителями средней школы, было тяжелое вследствие той картины, которую они раскрыли перед моими глазами; насколько она была ярка — доказательством тому служит впечатление, какое мой рассказ произвел на графа Витте при пером моем с ним свидании. "Я ничего подобного не воображал!", — воскликнул он, — "это ужасно, ужаснее всех университетских беспорядков. Бедные дети, несчастная Россия. Я понятия не имел о существовании союза учителей и союза гимназистов. Я знал об участии мальчиков и девочек в революционном движении, но не мог его себе хорошенько объяснить; теперь для меня все ясно... Это ужасно, нужно принять какие-нибудь меры... Нет, хороши педагоги. Это черти, а не педагоги". Впечатление было настолько сильно, что граф Витте в первом же после этого заседании Совета министров под председательством Государя, в котором разбирались самые важные вопросы современного положения, счел нужным подчеркнуть состояние средней школы: "Может быть, самое ужасное из всего происходящего ныне в России, Ваше Величество, то, что происходит в гимназиях: когда граф Толстой рассказал мне о том, что он узнал, у меня волосы дыбом встали..." Об этом, как и о других заседаниях, я намерен рассказать в своем месте и упоминаю об этом здесь для характеристики впечатлительности Витте и той нервозности, в которой мы все поневоле находились.

Кроме данных, почерпнутых мною из заседания совещания преподавателей петербургских гимназий и реальных училищ, богатый материал для выяснения положения средней школы дали мне сотни телеграмм, прошений и писем со всех концов России, заключавших в себе жалобы, просьбы, требования и целые проекты. Чего тут только не было. И требования немедленно изменить всю программу преподавания, уничтожение одних предметов, как-то новых языков и закона Божия, и введение новых, вроде социологии и политической экономии; и жалобы на директоров и преподавателей с требованием немедленно убрать их; и указания на необходимость изъять сейчас же учебное заведение из заведования училищного начальства с передачей в руки "сознательных элементов общества"; и просьбы о прекращении каких бы ни было "репрессий" (понимай по-русски, взысканий) за поведение и за проступки учащихся. Кроме письменных обращений, я был буквально осажден десятками депутаций родителей и "общественных деятелей", иначе говоря лиц, имевших иногда со школою только то общее, что они признавали весьма важным для преследуемых ими целей впутать ее в освободительное движение. Одна из таких депутаций, приехавшая из далекой провинции, требовала для своей гимназии "полной автономии", без которой возобновление в ней занятий "невозможно" и которая понималась так, что избрание директора и преподавателей должно быть предоставлено общему собранию

гимназистов старших классов, начиная с 6-го, так как учиться у нелюбимых педагогов юноши не хотят и не станут. Другая депутация "родителей" требовала не только дозволения, но даже прямо организации ученических сходок для обсуждения желательных изменений в системах преподавания, для суда над товарищами и над действиями преподавателей и для саморазвития в политическом и социальном отношении. Целый ряд резолюций реалистов, гимназистов и гимназисток, посылавшихся мне при рапортах начальства, объявляли urbi et orbi*, что составившие их решили прекратить занятия до созыва учредительного собрания на основании выборов всеобщих, равных, тайных и прямых; другие выражали твердое намерение жертвовать всем и даже самою жизнью для достижения пролетарской всероссийской республики. Одна депутация гимназистов явилась ко мне с просьбою о введении в 7 и 9 классах "лекционной" системы преподавания с правом для гимназистов факультативно посещать или не посещать эти лекции. Ученицы одной из отдаленных гимназий, составив резолюцию по общепризнанной схеме, включили своеобразный пункт о разрешении, начиная с какого-то класса, свободной любви... Не останавливаясь на перечислении особенно диких и нелепых требований и пожеланий, должен сказать, что главными mot d'ordre'ами** были: автономия средней школы, различно отчасти понимаемая, и передача заведования школою в руки или родителей учащихся или самого общества или, по крайней мере, деятельное участие этих элементов в Педагогических советах. Не было недостатка, впрочем, и в радикально противоположных требованиях: подтянуть школу, вырвать ее из рук революционеров, прогнать того или другого ультралиберального педагога или компанию революционированных учеников, которые предупредительно переименовывались. Доходило, как известно, в некоторых местах дело до разгрома "черносотенцами" гимназий и до избиения учеников на улицах, и если в одних городах гимназисты ходили не только по улицам, но и в самую гимназию, с безобразными папахами на голове (непреложный признак радикализма убеждений) и в ботфортах, с папиросами в зубах, то в других — они боялись показаться на улице в форме, рискуя ежеминутно быть избитыми. Известно также, что, начавшись с пения революционных песен, срывания и уничтожения царских портретов в стенах учебных заведений, ученическое движение перешло к самым крайним проявлениям революционного катехизиса и к чисто анархистическим действиям. Гимназисты и реалисты, а также гимназистки участвовали в первых рядах вооруженных бойцов за "народные права", появлялись на баррикадах, стреляли в губернаторов, в своих директоров и учителей, бросали бомбы в гимназиях, участвовали в ограблении банков, винных лавок и даже частных лиц, ad majorem reipublicae gloriam***...

Газеты "либерального" направления, вперегонку и захлебываясь иногда от восторга, повествовали об удавшихся забастовках учеников, об их "сознательном" участии в освободительном движении, возводя

особенно убийц в герои и героини освободительного движения и поднимая крик по поводу всяких мер взыскания, проливая крокодиловы слезы каждый раз, когда юные преступники подвергались суду и вполне законным даже карам. Не отрицаю, что были случаи, когда кары эти были излишне суровы, а иногда даже непозволительно жестоки, принимая во внимание возраст преступников, но пресса считала долгом возмущаться не только этими, все же исключительными случаями, но всеми мерами воздействия или наказания, постигавшими юных борцов за свободу. Конечно, это разжигало страсти и являлось не последним средством поощрения революционной деятельности и без того легко возбудимых малолетних и несовершеннолетних граждан Российского государства. Сомневаюсь, чтоб где-нибудь в мире серьезная или почитающая себя таковою пресса, за исключением анархистических листков, могла занять такое положение относительно школьных беспорядков, какое заняли наши органы печати. В некоторых из них были заведены даже особые рубрики под заглавием "Наши учебные заведения" или "Беспорядки в учебных заведениях", в которых иногда в эпическом стиле повествовалось о героических подвигах забастовщиков из гимназистов и гимназисток, велась хроника гимназического движения и обливались помоями все противники его с требованием удаления директоров, инспекторов и иных "чудовищ". Можно объяснить только какой-то аберрациею, что издатели и редакторы, большею частью люди почтенные и культурные, не нашли для себя возможным обуздать не в меру ретивых хроникеров и корреспондентов, реферировавших о делах средней школы и явно поощрявших полную ее дезорганизацию, не обращая внимания на последствия. Но если радикально настроенное "общественное мнение" делало все, чтобы затруднить установление нормальных школьных порядков, то и противная сторона, особенно в лице представителей Министерства внутренних дел, едва ли не доставляла нам еще большие затруднения: необдуманные и без предварительного с ведомством народного просвещения сношения высылки популярных учителей, многочисленные аресты педагогов и школьников, раздувание мелких инцидентов в политические события лишали наше ведомство и его местных преподавателей последних остатков авторитета и отнимали возможность действовать спокойно, справедливо и планомерно.

Было от чего прийти в отчаяние. В одно ухо жужжали: "Дайте побольше свободы, раскрепостите школу, дайте дышать учителям и детям", а в другое кричали: "Чего Вы смотрите? Подтяните их, отдайте под суд, выгоните со службы, очистите школу от плевел".

Едва ли я сам нашел бы какой-нибудь мало-мальски приличный выход из прямо нестерпимого положения, не будь моего товарища О. П. Герасимова. Давно занимаясь не только практически, но и теоретически постановкою дела в средних учебных заведениях, он указал мне, что главным тормозом в деле нормального развития школы является бесправное положение Педагогических советов, целым рядом

последовательных циркуляров лишенных всякой самостоятельности, всякой инициативы в порученном им, по закону и по естественной логике, деле. Вернуть Советам их значение, сделать их хозяевами своего родного дела — главный шаг к упорядочению средней школы. Эту меру Герасимов считал основною и такою, которая в нормальное время могла бы одна вернуть школу к правильному функционированию, так как сами Педагогические советы могли бы выработать последующие необходимые реформы. Но при царствующей смуте, вконец подорвавшей авторитет школы по всей стране, при существующих недоверии и даже ненависти к школе как со стороны родителей, так и всего общества, необходимо было, хотя бы временно, ввести в управление ею элемент общественный и допустить в нее, в той или иной форме, семью, ближе всего заинтересованную в участи своих собственных детей. Проект циркуляра в этом смысле, изменявший некоторые законодательные нормы, касающиеся средней школы, был мною внесен в Совет министров 13 ноября, причем, с разрешения графа Витте, мною был приглашен в это заседание и О. П. Герасимов. Защита Герасимовым (тогда еще не утвержденным в должности товарища министра) тезисов предполагаемого циркуляра была блестяща, и, несмотря на первоначальные очень горячие возражения, в конце концов все они были единогласно почти приняты и, будучи изложены в форме мемории[3] Совета министров, вскоре были представлены графом Витте на утверждение Государя Императора. Особенно упорные возражения в Совете встретили предложения наши о допущении семьи вмешиваться в дело школы: указывали, что такой формы вмешательства в казенную школу не существует ни в одной цивилизованной стране, что наша семья крайне необразованна и неразвита, мало смыслит в педагогических вопросах, а потому внесет еще большую дезорганизацию в школу, которою должны ведать одни педагоги, причем дело Министерства народного просвещения —назначать людей достойных и гнать негодных. Главные возражения касались именно этого пункта проектированных правил, но возражали и против каждого из остальных в отдельности. Не стоит здесь восстановлять все доводы, приводившиеся и "за" и "против" проекта, повторю только сказанное мною раньше, что О. П. Герасимов блестяще защитил все свои тезисы и сразу завоевал к себе уважение всех присутствующих. граф Витте сам представил меморию Государю, не давшему, однако, согласия на все пункты тотчас, а приславшему ее обратно, подержавши некоторое время у себя, не утвердившему вначале одного пункта, а именно, об отмене обязательности ношения форменной одежды вне учебного заведения, на чем настаивал Герасимов, как на мере, которая многими родителями, боявшимися нападения на детей "черносотенцев", была бы встречена с особой благодарностью. Этот пункт был, однако, утвержден тоже вскоре Государем по личному моему докладу ввиду данных мною объяснений, что отмена формы вне школы предполагается не ради поощрения разнузданности

учащихся, а как необходимая, и то не везде, а лишь в некоторых местностях, мера предосторожности от могущих произойти несчастий. Благодаря описанному обстоятельству, т. е. первоначальному неутверждению Государем одного из пунктов мемории Совета министров, и последовавшему затем утверждению его по моему докладу и на основании данных мною объяснений мною были разосланы один за другим два циркуляра к попечителям округов 25 и 26 ноября. Считаю нелишним привести здесь полный текст этих циркуляров, не требующих особых комментариев.

1

Господину Попечителю .... учебного округа

25 ноября 1905 г.

На основании удостоившегося ВЫСОЧАЙШЕГО одобрения постановления Совета министров 13-го ноября 1905 года считаю необходимым во вверенном Вашему превосходительству округе ввести следующие меры, которые дали бы возможность упорядочить дело школьной жизни до введения общей реформы законодательным путем:

1) Разрешить советам средних учебных заведений в установлении распорядка жизни заведений руководствоваться уставом и своими постановлениями с предоставлением советам права отступать с разрешения Попечителя учебного округа от действующих правил для учеников, правил об испытаниях, инструкций для классных наставников и соответствующих циркулярных дополнений и разъяснений.

2) Предоставить советам право по своему усмотрению составлять ученические библиотеки, не ограничиваясь составленным Ученым комитетом списком.

3) Предоставить право присутствия в заседаниях совета с решающим голосом уездному предводителю дворянства или его заместителю, председателю уездной управы или его заместителю и городскому голове или специально для этой цели избранному Городской думой лицу из состава гласных.

4) Разрешить образование при каждом среднем учебном заведении совещаний родителей учеников всей школы и отдельных ее классов с предоставлением родителям прав организации родительского комитета, в состав коего должны входить члены, избранные на 1 год родителями учеников каждого класса, а председателем его должно быть лицо, избранное общим собранием родителей для председательствования в общих собраниях и в комитете. Председателю родительского комитета должны быть предоставлены права, одинаковые с правами почетного попечителя гимназии[4] как в Педагогическом совете, так и в хозяйственном комитете учебного заведения. Постанов-

ление общего родительского совещания и родительского комитета в случае внесения их в педагогический совет должны быть в нем обсуждаемы. Общие родительские совещания должны созываться по постановлению родительского комитета или Педагогического совета. В последнем случае совещание происходит под председательством директора, и на нем должен присутствовать педагогический персонал.

При этом считаю долгом обратить внимание Педагогических советов, что, находя необходимым для упорядочения школьной жизни поднятие их авторитета и полномочий, я вполне уверен, что они окажутся на высоте своего призвания и в своих постановлениях будут руководствоваться исключительно педагогическими соображениями, не допуская внесения в жизнь школы таких, например, явлений, как ученическая организация, с притязаниями образования власти учеников над учениками или с целями предъявления тех или иных требований к администрации школы. Ненормальные явления эти, возникшие на почве отстранения семьи от школы, с введением вышеуказанных мер не должны иметь места. При этом Педагогические советы могут быть уверены, что в своем отстаивании истинно педагогических оснований строя школьной жизни они найдут твердую и полную поддержку Министерства. Что касается родительских совещаний, то во избежание недоразумений считаю долгом присовокупить, что право участия в них принадлежит только родителям учеников, их опекунам и директорам и воспитателям пансиона-приюта (где таковые имеются), и вышеозначенными лицами никому это право передоверяемо быть не может. Педагогический персонал учебного заведения может присутствовать на родительском совещании в случае приглашения представителем собрания или самим собранием. Созываться родительские совещания должны через повестки, а не путем газетных публикаций, так как только такой способ созыва обеспечит осведомленность родителей о предстоящем собрании.

2

Господину Попечителю .... учебного округа

26 ноября 1905 г.

Согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ соизволению, последовавшему 17-го ноября сего года, ношение форменной одежды для учеников вне классов признается необязательным. Сообщая Вашему превосходительству об этом для соответствующих распоряжений, я считаю нужным обратить внимание советов учебных заведений на следующее: вызванная текущими событиями жизни отмена обязательности ношения верхней форменной одежды нисколько не мешает советам учебных заведений предъявлять к ученикам требования, вытекающие из чисто педагогических соображений. Таким образом, не могут быть

допускаемы как нарушения общих правил благоприличия, так и проявления франтовства и роскоши.

Приведенные циркуляры далеко не везде были одинаково оценены: больше всего они встретили возражений со стороны родительских комитетов, уже ранее организовавшихся нередко на довольно фантастических началах, не без применения пресловутого "захватного права"; с другой стороны, заявлялись претензии и со стороны некоторых педагогов, считавших себя чуть ли не отданными в жертву родительским кружкам. В громадном, однако, большинстве случаев новые правила были встречены с благодарностью, а иногда даже и с восторгом, как крупный шаг министерства в сторону освобождения школьной жизни от опутавших ее бездушных формальностей и как брешь, пробитая в пресловутой толстовской системе недоверчивой опеки и безапелляционной дисциплины. В общем, следует сказать, что после издания обоих циркуляров деятельность средних учебных заведений довольно быстро возобновилась почти повсеместно, и это несмотря на довольно общее убеждение россиян, что ничего хорошего из Назарета, сиречь из трущоб у Чернышева моста[5], исходить не может.

Сказанное не должно возбуждать представления, что начиная с декабря или даже января все в средней школе вошло в норму или что в гимназиях и реальных училищах беспорядки прекратились как по щучьему велению. Напротив того, взбаламученное море средней школы волновалось еще настойчиво и сердито; и теперь можно предсказать, что мертвая зыбь после бури долго еще не успокоится и никакие не только циркулярные разъяснения, но даже и меры, не в состоянии будут внести того успокоения, которое так необходимо для всякой плодотворной работы.

Считаю нужным напомнить здесь, что, пригласивши О. П. Герасимова занять пост товарища министра, я передал ему почти в бесконтрольное заведование все вопросы, касающиеся средней школы, как совершенно исключительному, по моему убеждению, знатоку в этой области. Конечно, он не проектировал ни одной мало-мальски важной меры, не принимал ни одного существенного решения, но я, признаться, не припомню случая, где бы даже наши возражения резко повлияли на решение предлагавшихся Герасимовым мер; да и самые возражения со стороны моей или Извольского не были часты или настойчивы, когда они и появлялись: с одной стороны, я держался мнения, что ученого учить — только дело портить, а с другой — все предлагавшееся Герасимовым было всегда настолько обосновано и обмозговано, а его общее направление и убеждения настолько совпадали с нашими, что поводов для спора и разномыслия было немного.

Герасимов, несмотря на внешнюю его суровость и действительную требовательность к себе и к другим, был по натуре человек замечательно добрый и с отзывчивым сердцем. Это не мешало ему быть строгим и взыскательным там, где он считал, что того требуют интересы

дела и справедливость. Применить эту строгость пришлось прежде всего к учебным заведениям Петербургского округа, где произошли крупные беспорядки. Так, в Первом реальном училище, помещающемся на Большом проспекте Васильевского острова, в октябре и ноябре происходили непрерывные скандалы на почве “освободительного движения”. Не вдаваясь в подробности, упомяну, что кроме ряда сходок, завершившихся митингом “улицы” в стенах училища, в нем произошел ряд бурных “родительских” совещаний, в которых принимали деятельное участие ученики, а также и посторонние лица, по “уполномочию” родителей, и странных заседаний Педагогического совета, завершившихся требованием со стороны педагогов, состоявших членами Союза учителей, выхода в отставку директора и инспектора училища и попыткою заменить их избранными педагогами из своей среды лицами. Все это совершалось с ведома и при содействии учеников, которых молодые и пылкие учителя легко сделали своими союзниками в деле “обновления на автономных началах школьного режима”. По настоянию Герасимова мною была назначена ревизия училища в лице члена Совета министра и консультанта министерства В. И. Мамонтова. Ревизия констатировала ряд служебных проступков со стороны преподавателей училища, и они были преданы суду с отстранением на время следствия и суда от занимаемых ими должностей. Когда я пишу эти строки, я результатов еще не знаю, так как суд над преподавателями Первого реального училища (июнь 1906 г.) не происходил еще.

Другой случай проявления строгости произошел в ближайшем к реальному училищу соседстве — в Ларинской гимназии[6]. Здесь директором уже много лет был старый и весьма известный в Петербурге педагог Смирнов, мнения о котором резко расходились: насколько одни его превозносили, настолько другие его резко критиковали. В качестве преподавателей в Ларинской гимназии фигурировали некоторые из педагогов Первого реального училища из числа наиболее передовых. В гимназии происходили, как и в училище, постоянные беспорядки и частичные забастовки, а также “бойкотирование” отдельных преподавателей. Директор, однако, держался и решился, по-видимому, плыть по новому течению. Истории и беспорядки в гимназии закончились форменным скандалом: в какой-то праздник, с разрешения г. Смирнова, было организовано для гимназистов какое-то чтение “сотрудником” одной из либеральных газет на злободневную тему; в то же время в гимназической церкви происходила церковная служба в присутствии массы прихожан. Настоятель церкви, бывший одновременно и законоучителем гимназии, не пользовался популярностью среди учеников и подвергался в свое время бойкоту. И вот во время пения “Спаси Господи люди твоя” или какой-то другой молитвы в церковь ворвалась компания гимназистов с лекции и начала петь рабочую марсельезу или нечто подобное. Молельщики пришли в

бешенство и хотели расправиться по-своему с безобразниками, которые обратились в бегство, прихожане были удержаны священником, который, однако, счел долгом рапортовать о происшествии митрополиту. Директора не было в гимназии: он уехал слишком кстати для себя за город на весь день, несмотря на лекцию и на богослужение в гимназии, где не оказалось никакого начальства в этот день, почему и виновники скандала остались неизвестными. При расследовании оказалось, что в гимназии пышно расцвел "Северный союз"[7], были заведены старосты, избранные гимназистами, которые энергично командовали над товарищами, пансионеры[8] были совершенно деморализованы. Герасимов настоял на отставке Смирнова, и не столько несмотря, сколько ввиду слишком многочисленной и влиятельной протекции, которую он пустил в ход. Тем не менее Смирнов получил разрешение открыть частное учебное заведение без прав казенного, куда охотно скоро собрались многие гимназисты-ларинцы и реалисты, которым восстановление более нормальных порядков в этих учебных заведениях было не по нутру.

Спутанность понятий о служебном и профессиональном долге в конце 1905 г. была столь велика, что целый ряд преподавателей средней школы, присоединившись ко всеобщей политической забастовке, решил прекратить занятия и на уроки не ходить; некоторые довели себя до того, что письменно и официально заявили директорам своим или Педагогическим советам, что, принадлежа к Союзу учителей, решившему присоединиться к всеобщей забастовке[9], они отказываются исполнять свои обязанности до момента решения Союзом возобновления занятий в гимназиях. Герасимов решил предложить через управляющего округом помощника попечителя таким преподавателям или подать в отставку или подписать обязательство, что впредь они никакого участия в забастовках учебных заведений принимать не будут. Большинство, кажется, дало такие подписки, но некоторые предпочли подать в отставку; последней категории оказалось, впрочем, по нашему ведомству весьма мало: на весь округ менее двух десятков человек. Хотя Союз и объявил "бойкот" против всех оставшихся, таким образом, вакантных мест, но осуществить его силы не имел, ибо все бойкотированные места почти тотчас были заняты.

При таком отношении к своим прямым обязанностям части педагогического персонала, при охватившем все общество, в том числе и родителей учащихся, революционном настроении, наконец, при существовании и кипучей деятельности "Северного союза" можно себе представить, во что обратилось учение за последних три месяца 1905 г. Для того чтобы напомнить учащимся и их родителям о тех последствиях, которые могут проистечь из такого положения вещей, Герасимов настоял на издании к началу рождественских каникул следующего циркуляра.

Господину Попечителю .... учебного округа

24 декабря 1905 г.

Нарушение нормального течения жизни в средних учебных заведениях сопровождалось во многих случаях более или менее значительным перерывом учебных занятий, что не могло не отразиться неблагоприятно на успешности учащихся.

Находя, тем не менее, необходимым, чтобы положенные для учебных заведений программы были в настоящем учебном году пройдены без значительных сокращений и чтобы учащиеся были переводимы в следующие классы лишь при условии надлежащего усвоения ими учебного курса, я прошу Ваше превосходительство предложить Педагогическим советам средних учебных заведений обсудить в конце второго полугодия текущего учебного года вопрос, достаточно ли усвоен учащимися пройденный ими учебный материал и, если времени для сего оказалось мало, то войти в Управление учебного округа с ходатайством о продлении по мере надобности учебного года на счет каникулярного времени.

Что же касается перевода учащихся в следующие классы, то вследствие значительного сокращения учебного года даже и при предложенной мере к возмещению его, Педагогическим советам не легко было бы убедиться по отношению к каждому учащемуся в достаточном усвоении им курса. Посему Советам предоставляется произвести всем учащимся или части их перед летними каникулами поверочные испытания из пройденного в течение года. О том же, как настоящий вопрос будет разрешен для каждого отдельного учебного заведения, я прошу Ваше превосходительство своевременно донести Министерству.

Картина состояния средней школы была бы неполна, если б я не упомянул о многочисленных депутациях большею частью озлобленных или нервно расстроенных людей, посещавших меня в конце 1905 г. почти ежедневно. Депутации эти состояли обыкновенно из отцов и матерей гимназистов и реалистов, но иногда и из лиц, имевших менее близкое отношение к школе. Никогда не забуду одной депутации от какого-то родительского собрания, в которое входили далеко не одни родители и оратор которой обратился ко мне со следующей речью: “Собрание уполномочило нас предъявить Вам следующие... (с заминкой) просьбы: во-первых, не применять никаких репрессий по отношению к учителям и к учащимся; во-вторых, не издавать никаких циркуляров и не делать никаких обязательных распоряжений; в-третьих, не вводить никаких изменений в строй школы до созыва учредительного собрания; в-четвертых, руководствоваться в своих

отношениях к средней школе общественным мнением..." Конечно, все это было уснащено соответствующими комментариями; я терпеливо выслушал речь до последнего пункта, но тут прервал говорившего и вопросил: "Откуда же мне прикажете почерпать сведения об общественном мнении?" — "Из газет", — последовал краткий и определенный ответ. Тут я не выдержал и спросил: "Из каких же газет? Из "Известий Совета рабочих депутатов" или из "Нового времени", "Правительственного вестника" или "Нашей жизни?". Выведенный из себя и потерявший самообладание, я прочел депутации лекцию о том, что я пока являюсь слугою правительства, а не революционных комитетов, что я готов выслушивать всякие разумные советы, но прошу меня не считать слугою революции и не приходить ко мне с требованиями помочь революционированию школы. Это был, кажется, впрочем, единственный случай, когда меня действительно вывели из себя; обыкновенно я очень внимательно выслушивал депутации, но в конце концов направлял их к О. П. Герасимову, как к лицу, которому я поручил высшее заведование средними учебными заведениями. Просьбы этих депутаций вращались большею частью вокруг следующих вопросов: возвращения уволенных директоров и учителей, дозволения и даже поощрения ученических организаций и сходок и, наконец, расширения деятельности родительских кружков и комитетов; последнее понималось как в смысле увеличения компетенции этих организаций, так и введения большего числа родителей в состав Педагогического совета с правом совещательного и даже решающего голоса (обыкновенно требовали, чтобы число родителей в совете равнялось числу преподавателей). Рядом, однако, с либеральными или, вернее, радикальными депутациями приходили довольно многочисленные депутации консервативно настроенных родителей с жалобами на "революционеров" и с просьбами дать их детям возможность учиться и с требованиями оградить их от вредных влияний. О. П. Герасимов нашел по совещании со мною необходимым до начала занятий во втором полугодии разослать следующий циркуляр, явившийся по существу ответом на разнообразные претензии родителей.

9 января 1906 г.

В Министерство народного просвещения поступил за последнее время ряд ходатайств отдельных родителей, родительских кружков и разных обществ о принятии мер, которые обеспечивали бы ученикам и ученицам среднеучебных заведений правильный ход учебных занятий.

Видя главную помеху к правильному течению школьной жизни в некоторых учебных заведениях в образовании среди учеников организаций с избранными старостами, делегатами и т. п., Министерство еще в ноябре истекшего года выразило уверенность, что Педагоги-

ческие советы не допустят внесения в жизнь школы таких явлений, как ученическая организация с притязаниями образования власти учеников над учениками или с целями предъявления тех или других требований к администрации школы.

Несмотря на это, до последнего времени наблюдалось в жизни некоторых учебных заведений продолжение ученических сходок и проявление деятельности организаций, которые не только отвлекали учеников и учениц от их прямых обязанностей, но прямо вовлекали в политическую деятельность, для которой не должно быть места в школе. Пропущенное, благодаря этим явлениям, время занятий Министерство должно было разрешить Педагогическим советам восполнить за счет каникул. Ввиду вышеуказанных ходатайств и ввиду того, что повторение перерывов занятий может сделать невозможным учениками усвоение проходимого ими курса, без чего они ни в коем случае не должны быть переводимы в следующие классы, Министерство вновь предлагает Педагогическим советам принять все зависящие от них меры для устранения вышеуказанных ненормальных явлений из жизни школы.

Вместе с этим Министерство не может не обратить внимания на полученные им заявления некоторых родителей, что их дети настолько возбуждены и нервированы, что они не могут поручиться за их поведение и что поэтому они просят не карать их в случаях нарушения ими требований учебного начальства.

Не считая возможным допустить в учебных заведениях нарушения учениками предъявленных им педагогами требований и признавая, то же время, что тяжелые условия жизни последнего времени могли действительно так повлиять на некоторых из учеников и учениц, что трудно родителям поручиться за их поведение в школе, Министерство признает возможным, в случае подачи заявления родителями начальникам учебных заведений о таком состоянии детей, освободить их от посещения классов с тем, что когда родители заявят, что нравственное состояние их детей изменилось, и родители с уверенностью за поведение детей могут отпустить их в школу, допустить их вновь к занятиям с обязательством сдать пройденные в их отсутствие курсы.

Что же касается тех учеников, которые, не будучи в состоянии по каким-нибудь причинам заниматься сами, проявят попытки к тому, чтобы помешать заниматься и другим, то, предоставляя полную свободу в определении мер в каждом случае Педагогическим советам, Министерство считает своим долгом указать, что подобные явления в школьной жизни долее терпимы быть не могут.

Какого бы мнения ни быть о приведенных выше распоряжениях по средней школе, — нет сомнения, что они способствовали восстановлению некоторой уравновешенности, и с января 1906 г. занятия в громадном большинстве учебных заведений, можно даже сказать,

почти во всех, возобновились и, за редкими исключениями, не прерывались до летних каникул.

Нельзя, однако, сказать, чтобы циркуляры не встретили при своем применении оппозиции. Не говоря о "союзных"[10] и иных крайних элементах, видевших в циркулярах даже более опасного врага, чем в прежнем формальном отношении министерства к школе, некоторые из российских сатрапов, иначе говоря, губернаторов и генерал-губернаторов, отнеслись к ним вполне отрицательно. На первом месте в этом отношении стоял московский генерал-губернатор, вице-адмирал Дубасов, только что справившийся с декабрьским вооруженным восстанием. Не сочувствуя родительским собраниям вообще и опасаясь их в политическом отношении, московский генерал-губернатор, пользуясь своею почти неограниченною властью, просто воспретил применение этого пункта Высочайше утвержденной мемории Совета министров в пределах своей юрисдикции. Вообще генерал-адъютант Дубасов не стеснялся вести открытую борьбу с министрами, когда ему почему-либо не нравились их распоряжения в применении к Москве. В качестве примера приведу здесь один случай. Как известно, во время декабрьского восстания "учащееся юношество", в том числе ученики средних учебных заведений, принимало довольно деятельное участие в военных действиях, конечно, на стороне защитников баррикад. В этом отношении выделилось, между прочим, обширное по размерам и по числу учащихся Комиссаровское училище[11]. Еще до восстания происходили там странные дела: так, один из преподавателей[12], почти не скрываясь, не только организовал среди своих учеников боевую дружину, но занялся с их помощью изготовлением холодного оружия для будущего восстания в мастерских самого училища. Рассказываю это на основании официальных данных, которые были мне представлены, верность которых я не имел возможности проверить лично на местах, но подтвержденных О. П. Герасимовым. Упомянутый преподаватель в одной из манифестаций, предшествовавших восстанию, принимал участие во главе своих учеников, неся в руках красный флаг. Было ли преувеличение в этой картине деятельности педагога, или нет, но несомненно одно, что поведение его было такого вызывающего и необычного свойства, что Педагогический совет училища нашел нужным заняться вопросом о нем и, факт редчайший в переживавшееся время, постановил почти единогласно решение о невозможности для этого лица продолжать в училище педагогическую деятельность. Директор не дал тотчас хода этому постановлению по нерешительности, а во время декабрьского восстания училище было ареною самых крупных беспорядков: оно было занято революционерами, а директор был просто препровожден на свою квартиру и просидел там запертым до прихода войск, не пытаясь с самого начала и до конца предпринять что-либо против творившегося вокруг него. На основании материала, доставленного посланным мною в Москву ревизором, я согласился с Герасимовым

относительно необходимости отстранения директора от должности с предложением занять менее ответственную и трудную, хотя без уменьшения жалованья, но вне Москвы. Все, казалось, устраивалось, и сам директор, по-видимому, согласился на такое решение, когда вдруг Дубасов запротестовал и признал меру министерства несправедливою. При этом он пустил в ход петербургские влияния, заинтересовав в деле самых высокопоставленных лиц. Признаться, я готов был уступить, чтобы не раздувать истории, но тут настоял уже Герасимов, пригрозивши мне даже отставкою, так как считал вмешательство в дела министерства и отмену постановленных и уже известных всему Московскому округу решений с помощью “влияний” прецедентом недопустимым. Я с этим согласился и настоял на исполнении решения нашего, но переписки и личных переговоров по вопросу хватило бы на десять таких дел.

Вообще, как я говорил уже раньше, вмешательство местных властей в дела нашего ведомства страшно связывало руки и ставило нас часто в трагикомическое положение, а самому делу вредило, как не мог бы повредить злейший враг правительства.

Приведу по этому поводу пару примеров, относящихся к средним учебным заведениям, которые укажут на роль русского министра в начале двадцатого столетия и на способы управления страною.

В уездный город одной из губерний, находившихся на военном положении, приехал ревизором вице-губернатор, молодой, но весьма предприимчивый человек. В местном реальном училище за несколько недель перед этим, как и в других школах по всей, можно сказать, России, произошли манифестации с пением революционных песен и с битьем стекол. Беспорядки продолжались, однако, недолго, и занятия ко времени ревизии уже возобновились. Вице-губернатор отнесся очень строго к происшедшему, весьма высокомерно и грубо обошелся с директором, человеком пожилым и в чинах, и, не допросивши его даже толком о скандале, тут же постановил решение: предложить директору за бездействие власти подать немедленно рапорт о болезни, сдать должность инспектору и выехать из пределов губернии через 48 часов, под страхом, в случае непослушания, ареста при местной тюрьме. Испуганный и страшно оскорбленный директор поспешил подчиниться скорому, но неправому приговору и явился ко мне в министерство с жалобою и объяснениями. Выслушавши его, я только мог развести руками и спросил его, как он может себе объяснить странное отношение к нему вице-губернатора, человека только что назначенного на должность. Объяснение, явно совершенно верное, было характерно для провинциальных нравов: явившись в уездный город, молодой администратор был с почетом принят городским головою, предложившим ему гостеприимство в своем доме, лучшем в городе; городской голова, случайно, был личным врагом директора, так как последнему несколько лет перед этим было поручено произвести расследование деятельности головы по должности

попечителя городского училища, причем им были раскрыты злоупотребления, поведшие к отстранению головы от заведования хозяйством училища. Inde irae*. Я немедленно обратился в Совет министров, к министру внутренних дел[13], но получил следующий ответ: “Ну что ж, Ваш директор потерпит: снимут военное положение — Вы, если верите ему, оставите его на месте, а я считаю местного губернатора и вице-губернатора одними из лучших чинов моего ведомства и буду поддерживать их решение всеми силами...” В конце концов я добился своего и вернул директора, но на это потребовалось целого месяца переписки и настойчивых стараний.

А вот другой случай. В одном из южных уездных городов произошел погром. Во время этого погрома директор местного среднего технического училища, один из выдающихся педагогов нашего ведомства, который достиг того, что его училище не прерывало занятий даже тогда, когда все и вся бастовало, спасал детей, помогал пострадавшим чем мог и вообще прилагал все усилия, чтобы не дать разрастись движению. Будучи одним из старших по чину и по официальному положению лиц в провинциальном городе, он счел долгом конфиденциально донести губернатору об обстоятельствах и о причинах погрома, причем не скрыл своего убеждения относительно той отрицательной и весьма опасной роли, которую играл во всем деле местный жандармский ротмистр. Губернатор не нашел ничего лучшего, как переслать это донесение на заключение того же ротмистра. Этот офицер немедленно приступил к воздаянию за “донос”: не проходило почти дня, чтобы не производилось полицейского сыска то у учеников, то у преподавателей, причем дело дошло до того, что одного их них, бывшего в особенно хороших отношениях с директором, арестовали и, в сопровождении трех городовых, провели средь бела дня по всему городу в тюрьму, откуда через 10 дней выпустили за отсутствием каких бы то ни было поводов к задержанию. Утомленный и доведенный до нервного расстройства вечными придирками, директор воспользовался рождественскими каникулами и уехал в университетский город, где слег в клинике. Вдруг он узнает, лежа там, что к больнице приставлены часовые из городовых, так как он отдан под надзор полиции. Страшно напуганный, он написал мне, как своему министру, письмо с просьбою спасти его от ареста. Я немедленно написал губернатору и получил ответ, что произошло недоразумение, что директор может спокойно вернуться к себе. Получивши от меня извещение об этом, он, однако, предпочел приехать в Петербург лично объяснить мне свое положение, что я ему охотно разрешил. В первый же день своего приезда в Петербург он получает телеграмму от жены, что распоряжением администрации за вредное направление он выслан из пределов губернии, в которой находится его училище, но этого мало — выслан также и инспектор училища, и это ко времени возобновления занятий после зимних каникул, когда дело близилось к экзаменам. Зная тщету обращения к своему кол-

леге, Министру внутренних дел, я послал энергичную телеграмму губернатору, который тотчас мне ответил, что распоряжение о высылке отменено, и директор вместе с инспектором вернулись к исполнению нелегких при существующих условиях обязанностей. Пресловутого ротмистра из города убрали с повышением или нет — этого я не знаю, да и не интересовался тогда узнать.

Думаю, что приведенных примеров пока достаточно, а потому, воздерживаясь от более или менее "исторических" анекдотов, перехожу к дальнейшему изложению некоторых мероприятий и распоряжений, имевших отношение к средней школе.

С первых же дней моего вступления в должность мое внимание было обращено на вероисповедный вопрос в школе. К сожалению, наиболее количественно и принципиально важная сторона вопроса, именно та, которая касалась евреев, не могла быть мною решена категорически в желательном мне смысле, благодаря довольно дружному отпору, который я встретил в среде своих коллег по Совету министров; тут мне пришлось ограничиться решением в положительном смысле по возможности всех доходивших до меня отдельных конкретных случаев[14]. Зато относительно других вероисповеданий мне удалось испросить ряд Высочайших повелений в духе объявленной правительством "свободы совести". Так, уже в ноябре мною издан циркуляр об отмене "всех изданных министерством административных распоряжений, стесняющих магометан в праве преподавать в учебных заведениях". Точно так же этим циркуляром были отменены стеснения магометан в праве получения стипендий и пособий для прохождения курса учебных заведений. В том же ноябре 1905 г. я испросил соизволение Государя Императора на отмену поистине архаических Высочайших повелений 1832 и 1839 гг., применявшихся до тех пор неукоснительно по ведомству Министерства народного просвещения, о недопущении "раскольников" на должности учителей и наставников и о воспрещении выдавать им свидетельства на право обучения детей. Я счел очень необходимым с разрешения Государя указать, что отныне "принадлежность к старообрядчеству или сектантству не должна служить препятствием к определению на государственную службу по нашему ведомству и к прохождению ее на одинаковых с остальными служащими условиях". Наконец, в феврале 1906 г. мною были утверждены и изданы временные правила о преподавании закона Божия инославных христианских исповеданий. На основании этих правил преподавание это необязательно, но непременно вводится по первому требованию родителей или опекунов учащихся и ведется на языке большинства иноверцев данного учебного заведения, а при возможности на природном языке каждого из учащихся. Преподавание поручается духовным лицам соответствующего вероисповедания, и только при отсутствии их — светским учителям того же вероисповедания. Наблюдение за обучением предоставляется духовенству соответствующего вероисповедания. Самое преподавание инослав-

ного вероучения объявлено факультативным, в зависимости от желания родителей и опекунов, и, по заявлению их, может быть совершенно прекращено.

Будучи сам решительным и убежденным сторонником развития частной инициативы в деле народного образования вообще, я встретил в лице О. П. Герасимова горячего союзника. Имея в качестве министра народного просвещения довольно широкие полномочия в деле разрешения устраивать и открывать частные средние учебные заведения с курсом мужских и женских гимназий, мне удалось расширить эти полномочия испрошением в январе 1905 г. права разрешать основание частных реальных училищ, без обязательства проводить каждый раз вопрос в законодательном порядке. Благодаря содействию Герасимова, за время моего министерства не было, кажется, ни одного отказа в разрешении открывать в пределах, установленных законом, частных средних учебных заведений, причем обыкновенно учащимся присваивались права учеников казенных школ. Так возник ряд не только русских, но и еврейских, немецких и т. п. частных средних учебных заведений за самое короткое время.

Схема средней школы, которую мы выработали для будущего вместе с Герасимовым, была следующая: все средние учебные заведения по источникам содержания и по ближайшему заведыванию ими делятся на шесть типов. Первый тип — чисто казенная, правительственная школа; второй — правительственная школа с субсидиею от земства, городского управления или иного общественного или сословного учреждения; третий — земские, городские и т. п. учебные заведения с субсидиями от казны; четвертый — такие же без субсидий; пятый — частные учебные заведения с субсидиями и шестой — такие же без субсидий. В зависимости от типа учебные заведения находились бы в большей или меньшей зависимости от министерства, от общественных учреждений, от частных лиц и обществ, причем программы наименее зависимых от правительства школ могли бы вырабатываться вполне самостоятельно, в желательном в каждом случае учредителям направлении и объеме. Я лично шел даже дальше О. П. Герасимова в вопросе полной самостоятельности средних учебных заведений во внутренней их жизни: мне казалось и кажется до сих пор, что самым благотворным способом решения вопроса о разваливающейся, если окончательно не развалившейся, средней школе было бы лишение этой школы, одинаково казенной и частной, всяких прав для учащихся, даруемых за окончание части курса или всего курса[15]. Я считал бы полезным установить, что право поступления в высшие учебные заведения приобретается по особому экзамену, наподобие государственного, в испытательной комиссии вне учебного заведения, по твердо установленной программе или программам, причем состав экзаменаторов во избежание злоупотреблений должен возможно чаще меняться. Каким образом будут приобретаться необходимые познания — дело каждого учебного заведения, а конкуренция между разными типами

их могла бы послужить только ко благу. Заботиться о правах по воинской повинности, мне кажется, не следует: по моему убеждению, продолжительность этой повинности легко могла бы быть сокращена для всех граждан до 2 1/2 лет в пехоте и до 3 1/2 лет в артиллерии и в кавалерии; полгода можно бы скидывать с этого срока и тем и другим за окончание среднего и низшего учебного заведения, еще год можно бы прощать вольноопределяющимся и "охотникам", а затем не допускать никаких иных привилегий по образованию, за исключением, конечно, прохождения курса в военном учебном заведении. Таким образом, проектируемые мной экзаменационные комиссии имели бы в виду исключительно одну цель — установление факта приобретения абитуриентом достаточных познаний для продолжения занятий в высшем учебном заведении. Программа необходимых требований могла бы, конечно, быть устанавливаема с участием профессоров высших школ.

Мне кажется, что при установлении такого порядка получились бы следующие преимущества. Прежде всего мы отучили бы публику, родителей от вкоренившейся печальной привычки смотреть на школу, как на источник главным образом приобретения прав, а не знаний. В настоящее время каждый чадолюбивый родитель заявляет претензии главным образом не на плохое учение, а на трудность его, на то, что курс слишком обширен и бесполезен. Увольнение ребенка из учебного заведения главным образом потому является трагедией в доме, что этим самым он лишается возможности занять привилегированное положение в будущем. При выделении экзамена, дающего права, из курса учебного заведения получится картина обратная: с одной стороны, родители будут настаивать, чтобы их детей лучше учили, а с другой, если им скажут, что учебное заведение не в состоянии подготовить ребенка к экзамену по лености его или неспособности, то чем тратить лишние деньги — родители возьмут его и отдадут в другое учебное заведение или будут готовить дома. Для педагогов конкурс учеников разных учебных заведений, в который, естественно, обратится проектируемый мною экзамен, явится важным стимулом для добросовестных занятий с учениками. В свою очередь, ученики привыкнут смотреть на свои занятия не как на формальную повинность, а как на средство получить те права, которые дает знание. Думаю, что едва ли при предлагаемых условиях даже вошедшие в моду (которая, вероятно, не скоро прекратится) учебные забастовки будут решаться с теперешнею легкостью: ведь к определенному экзамену как-никак а надо будет подготовиться, а для этого нужно учиться и, следовательно, нагонять потом пропущенное время.

Главное возражение против предлагаемой меры — чисто педагогического свойства, а именно: важен не экзамен, а занятия, вся система воспитания и развития; при предлагаемой мною системе учеников станут не учить, а "натаскивать" к экзамену. На это отвечу, что натаскивать в течение семи или девятити лет окажется невозможным, а

чтобы теперь при существующей системе не "натаскивали" к экзамену на аттестат в 7 и в 9 классах — более чем сомнительно. Я лично думаю, что при всяком экзамене "натаскивание" есть и будет, а степень такового зависит не от системы экзаменов, а от качества педагогов и от отношения общества к задачам школы. А затем, если подобная система так зловредна, то как допускает министерство существование частных учебных заведений без прав казенных, ученики которых должны держать экзамены вне стен своего учебного заведения? Если содержатели таких учебных заведений добиваются прав, то, конечно, не из-за антипедагогичности "натаскивания", а по совершенно иным причинам, между которыми не последнюю роль играет большая легкость прохождения курса, когда экзаменуют свои учителя. Признаться, я думаю, что страх перед антипедагогичностью системы преувеличен и что найдется достаточно родителей и педагогов, которые будут предпочитать вообще хорошую школу, в которой будет царить порядок, добросовестное отношение к обязанностям и доброе отношение к детям, такой, где будут быстрее и шикарнее "натаскивать" к экзамену: ведь достаточно у нас людей, имеющих право помещать своих детей в правоведение и лицей[16], где скорее можно получить права, большие тех, которые дает университет, пускающих своих детей в гимназию и университет или иное высшее учебное заведение. Неужели возможно утверждать, что высшие круги общества, аристократы и важные бюрократы идеальнее и возвышеннее смотрят на образование и воспитание, чем остальная русская интеллигенция или даже менее развитые классы? Об осуществлении такого плана, конечно, не могло быть речи в промежуток времени, которое длилась моя служба министром, и я упоминаю о нем только для того, чтобы читатель мог судить, чего от меня следовало, смотря по вкусам, опасаться или надеяться, останься я дольше на этом посту, на котором, может быть, легче натворить бед, чем доставить соотечественникам случай воздвигнуть памятник.

Этим я мог бы окончить свое повествование об отношении моем к вопросу о средних учебных заведениях, но считаю нужным в заключение привести текст циркуляра за подписью Герасимова, разосланный попечителям округов 5 февраля 1906 г. Он, во-первых, достаточно охарактеризует отношение моего товарища к средней школе, а во-вторых, является полезным дополнением к тем распоряжениям по министерству, которые приведены мною выше. Вот этот текст. "Пунктом 4 циркулярного предложения от 6 мая 1883 г. Министерство народного просвещения установило, что ученические библиотеки средних учебных заведений должны быть впредь пополняемы лишь книгами, одобренными Министерством народного просвещения и Духовным ведомством, по принадлежности, причем попечителям учебных округов предоставлено было сообщать министерству и предположения о таких книгах, которые начальства учебных заведений считали бы полезным приобрести для означенных библиотек.

Принимая во внимание, что по действующим уставам мужских гимназий и прогимназий и реальных училищ (ст. 1538 и 1759, т. 11, ч. 1 св. зак.) выбор предметов для пополнения кабинетов и книг для библиотеки подлежит обсуждению и окончательному решению Педагогического совета, я нахожу нужным отменить приведенное выше распоряжение министерства, предоставив Педагогическим советам при выборе книг в ученические библиотеки руководствоваться собственным усмотрением."

5. НИЗШАЯ ШКОЛА

Низшее образование в России, несомненно, является краеугольным камнем не только всяческого прогресса, но и тем основанием ее будущего величия и роли в цивилизованном мире, от правильной постановки которого зависит направление, можно сказать, всей внутренней ее политики. Без удовлетворительно поставленной народной школы нет надежды на культурное развитие всей народной массы, на ее правильное отношение к сложным вопросам общежития, к своим собственным интересам и к интересам всего государства. Ясно, что в такой громадной стране, как Россия, дело народной школы приобретает почти фантастические размеры, а разноплеменность населения ее усложняет и без того сложное дело низшего образования. Об этой последней стороне вопроса я поговорю в следующей главе, а здесь постараюсь дать общую характеристику положения народной школы в 1905/06 академическом году и объяснить, в каком направлении сосредоточились заботы министерства в это же время.

Как известно, дело низшего образования не сосредоточено в одних руках: главную, первенствующую, можно сказать, во всех отношениях роль в этом деле играют земства и городские самоуправления, а правительство стоит уже на втором плане; при этом начальная школа распределена по различным ведомствам: Министерство народного просвещения имеет свои, так называемые министерские школы нескольких типов, но рядом с этим существует целый ряд церковно-приходских школ, поставленных под надзор ведомства православного вероисповедания, а затем почти каждое ведомство имеет свои школы, причем особенно много тратит на них Министерство путей сообщения в интересах своих служащих[1]. Чтобы охарактеризовать положение нашего министерства в этом деле, достаточно указать, что к 1906 году ассигновалось из казны на нужды начального образования по духовному ведомству почти 10 1/2 миллионов в год, а по Министерству народного просвещения всего 8 1/4 миллионов. Но и до этой, как будет указано ниже, мизерной суммы ассигнование дошло только в последнее десятилетие, а еще в 1897 г. отпуск из казны по сметам Министерства народного просвещения на нужды начального народного образования равнялся лишь 1 150 000 рублям.

Ко времени вступления моего в должность министра, по приблизительным подсчетам, на 149 000 000-ное население России имелось менее 90 000 школ и училищ всех наименований и ведомств, а учащихся в них было около 5 000 000 при наличности в стране не менее 12 1/2 миллионов детей возраста от 8 до 11 лет включительно, т. е. того

возраста, в котором дети при установлении всеобщей грамотности должны бы были обязательно посещать школу. Уже из этих весьма приблизительных цифр ясно, что прежде всего нужно было обратить внимание на недостаток количества школ, особенно, принимая во внимание переполнение существующих. Но, кроме того, очень существенно важен факт недостаточности содержания, отпускаемого на школы: чуть ли не большинство учителей и учительниц должны существовать на 20 и даже на 16 рублей в месяц, в глуши, при самой невозможной обстановке, нередко в борьбе с невежественным и грубым сельским начальством...

Естественно, что при данных условиях общее недовольство широко распространилось среди учительского персонала низшей школы, и революционное движение нашло многочисленных сторонников и пособников в лице учителей обоего пола, являвшихся естественными истолкователями происходящего освободительного движения среди темного крестьянства, а нередко и прямо агитаторами в пользу самых крайних социалистических и анархистических учений. Если для меня и несомненно, что таких было, конечно, меньшинство среди общей массы учителей, но все же абсолютное число их было довольно значительно, а потому и обратило на себя внимание администрации. Учителя, занявшиеся пропагандою, обратившие на себя внимание не только уездного и губернского начальства, но и центрального правительства, навлекли репрессии и гонения не только на себя, но и на множество своих товарищей, не участвовавших в движении. В конце концов получалось впечатление полного и поголовного революционирования всего учащего персонала низшей школы, а отсюда появилась самая настойчивая подозрительность администрации по отношению ко всему и всем, имевшим отношение к народной школе. Положение было таково, что ведомству народного просвещения приходилось не наблюдать за поведением народных учителей, не направлять их, а только выступать в их защиту, когда случаи недостаточно обоснованного или даже совершенно произвольного преследования со стороны представителей местной администрации доходили до его сведения. Даже самая защита учителей от произвола иногда считалась преступлением и подвергала окружных инспекторов и директоров народных училищ риску высылки из пределов губерний, в которых они служили.

Останавливаться здесь на прегрешениях, с одной стороны, и на злоключениях, с другой, сельского учителя я не буду; скажу только, что многие из них деятельно участвовали в движении, особенно крестьянском, что ими был учрежден тоже нелегальный союз[2], что многие из них пострадали[3], в том числе немало и невинных; но все это так естественно и так соответствует тому, чего следовало ожидать в описываемую мною бурную и совершенно исключительную эпоху, что приводить анекдотические случаи и глубокомысленно комментировать их положительно не стоит.

Важность вопроса о всеобщем обучении в России побудила нас, т. е. меня и обоих моих товарищей, обратить на него особенное внимание, причем О. П. Герасимов взял на себя все руководство над его разработкою, на которую им положено много времени и труда. Была исполнена прежде всего с возможною точностью крупная статистическая работа по выяснению вероятного числа детей школьного возраста по учебным округам, причем получились в круглых цифрах следующие данные: в сельских местностях — 11 3/4 миллионов детей, для которых число школ нужно довести до 238 000; в городах — около 1 1/2 миллионов детей, а число необходимых школ до 28 000.

В основу проекта введения всеобщего обучения поставлены следующие положения:

1. Все дети обоего пола должны иметь возможность, по достижении школьного возраста, пройти полный курс обучения в правильно организованной начальной школе.

2. Обязанность открытия достаточного числа училищ соответственно числу детей школьного возраста лежит на земствах и городах.

3. Школьный возраст начального обучения обнимает четыре года, причем расчеты относительно числа необходимых школ делаются применительно к четырем возрастным группам: 8, 9, 10 и 11 лет.

4. На каждого учителя начальной школы должно приходиться не более пятидесяти учащихся.

5. Правильно организованная начальная школа на один комплект учащихся (т. е. не свыше пятидесяти человек) должна иметь одного учителя или учительницу, имеющих соответствующее право на преподавание, и одного законоучителя.

6. Обязательность начального обучения устанавливается постановлениями органов местного самоуправления.

7. Министерство народного просвещения в случае постановления земства или городского общества о введении всеобщего обучения обязано принимать на себя расходы в размере минимального оклада содержания учащих лиц как во вновь учреждаемых училищах, составляющих школьную сеть данной местности, так и в ранее существовавших училищах. Остальные расходы по содержанию училищ удовлетворяются из средств местного населения. Получение пособия от министерства на содержимые земствами и городами училища ни в чем не должно стеснять самостоятельность общественных учреждений в деле заведования начальной школой.

8. Ведомствам сословным и иным законным организациям, частным обществам и частным лицам, если содержимые ими училища входят в общую сеть правильно организованных училищ данной местности, так же, как земствам и городам, предоставляется возможность пользоваться пособием от Министерства народного просвещения на содержимые ими училища.

9. Минимальным окладом жалованья для учителей всех местностей России полагается 360 руб. в год и для законоучителей —

60 руб. Оклад этот, в зависимости от местных условий жизни, может изменяться в сторону повышения, которое относится исключительно на местные средства. Периодические прибавки, устанавливаемые содержателями училищ для учащих лиц, должны быть относимы всецело на местные источники.

10. Каждая школа должна обслуживать район с радиусом не свыше трех верст.

11. Максимальный срок введения всеобщего обучения для всех местностей России устанавливается в 10 лет.

12. Введение всеобщего обучения в губернии, уезде или городе стоит в зависимости от выработки на месте определенного плана осуществления этого дела. Размер правительственного пособия на каждый год для каждой отдельной местности определяется и исправляется органами местного самоуправления в зависимости от количества школ, открываемых в этом году.

Исчисление расходов, вызываемых введением всеобщего обучения, составлено Министерством народного просвещения следующим образом.

За основание взято число детей 8, 9, 10 и 11-лет в каждой губернии, уезде и городе по данным всеобщей переписи 1897 года и дополнено цифрою составляющей естественный прирост к нему за десять лет, считая по 1,49% в год. Такой процент является средним за десятилетний период с 1891 по 1901 гг., за каковые годы имеются последние напечатанные сведения Центрального статистического комитета. По количеству детей школьного возраста определяется число школ или, вернее, число учащих и расход на них. На оплату жалованья каждого учителя при комплекте учащихся не свыше 50 человек установлен расход в 360 руб. Что же касается расхода на жалованье законоучителям, то принято было во внимание, что число законоучителей в начальных школах не всегда соответствует числу учителей, так как многие школы при одном законоучителе имеют двух, трех и более учителей. По статистическим данным за 1903 г. общее число законоучителей в начальных училищах Империи составляет менее половины общего числа учителей начальных училищ. Поэтому по исчислении расходов на жалованье законоучителям при комплекте учащихся не свыше 50 человек принято не полное жалованье законоучителю (60 р.), а только половина этого жалованья (30 р.). Таким образом, при расчете пособия от Министерства народного просвещения на количество учащихся в 50 человек определено 390 р. (360 р. учителю и 30 р. законоучителю).

Такие вычисления дают общую схему потребных от правительства денежных ассигнований на введение всеобщего обучения в России и определяют максимальный размер того пособия, которое должно быть оказано Министерством народного просвещения на все существующие и имеющие быть открытыми в уездах и городах для удовлетворения всеобщего обучения училища. Ежегодно же со стороны Министерства народного просвещения должна быть отпущена такая сумма,

которая вполне удовлетворила бы местные потребности в содержании существующих и открытии новых школ на основании местных статистических исследований. Эти исследования должны указать с определенностью число школ, число учащих и учащихся в каждой. При отпуске с определенного года ведомствам и городам необходимых сумм от Министерства народного просвещения должно приниматься во внимание как общее экономическое и финансовое положение уезда или города, так и размер его собственных ассигнований на начальные школы как существующие, так и проектируемые.

Потребное на исполнение проекта ассигнование из средств казны исчислено в 103 1/2 миллиона в год: это та сумма, которая потребовалась бы для обеспечения минимального жалованья личному составу. Очевидно, что такой огромной суммы ввести сразу, как плюс, в годовой бюджет государства было бы немыслимо, а потому мы проектировали постепенный отпуск этой суммы в течение десяти лет, т. е. ежегодно до 1917 г. увеличения отпусков на народную школу в размере приблизительно 10 1/2 миллионов, т. е. в 1907 г. этот отпуск равнялся бы 10 1/2 м., в 1908 — 21 м., в 1909 — 31 1/2 м. и т. д. Невозможность сразу ввести всеобщее обучение, кроме финансовых соображений, вытекала также из необходимости озаботиться приисканием учительского персонала в огромном количестве. Таким образом, осуществление всего проекта даже и в десять лет возможно только при самом благоприятном стечении обстоятельств. По тем же причинам нам казалось невозможным подымать пока вопрос о принудительном обучении грамоте всех детей школьного возраста. Вообще в такой громадной и отсталой стране, как наша Россия, всякие исчисления получают грандиозные размеры: если принять во внимание, что указанные 103 1/2 миллиона предназначены только для обеспечения минимального жалованья учительскому персоналу, что не включены в эту сумму ни строительные надобности, ни содержание самой школы, ни периодические прибавки учителям, ни нужды школьных библиотек и т. д., то смело можно сказать, что от местных общественных организаций и управлений потребуется даже несколько большая сумма, чем проектированная к отпуску из казны, так что в конце концов всеобщее первоначальное обучение обойдется России от 200 до 250 миллионов в год, а потребная армия учителей должна будет равняться не менее чем 300 000 человек.

Все материалы по вопросу были разработаны и закончены ко времени открытия Государственной думы.

6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ШКОЛЕ (ИНОРОДЧЕСКАЯ ШКОЛА)

Давно уже была высказана мысль, что Россия — не государство, а целая страна света, и это не только по своей обширности, по тому пространству, которое она заняла на карте, но и по количеству и по разнообразию населяющих ее племен и рас. В этом отношении она может быть сравниваема только с Британскою империею, отличаясь, однако, от нее по существу: тогда как Британская империя резко делится на небольшую, но густо населенную метрополию и на колонии самого разнообразного вида и характера, Русская империя составляет пока одно громадное целое, которое хотя и состоит из частей, но плохо ограниченных как в географическом, так и в этническом отношениях, причем ни одна из этих частей характера колониального не имеет. Тогда как Британская империя является целою, если дозволено так выразиться, коллекциею земель и государств, находящихся под управлением и главенством англосаксонского королевства, Русская империя представляет собою конгломерат народностей, из которых только незначительная часть представляет собою остатки независимых когда-то в политическом смысле наций. Действительно, из всех народностей, населяющих территорию нашего отечества, в широком смысле этого слова, едва ли не одна Польша может считаться крупным историческим государством, насильно присоединенным к России, с которою она с переменным счастием вела вековую борьбу, оказавшись в конце концов побежденною стороною. Конечно, существовали когда-то и грузинское и армянское царства, возникали также на время и разные ханства: крымское, казанское, Золотой орды, кокандское и т. д., но сравнивать их с Польшей было бы едва ли основательно. Точно так же остзейские немцы, поработившие несколько небольших племен, сами никогда не пользовались настоящею самостоятельностью, не составляли настоящего государства; даже Финляндия является государством самой новейшей формации и образовалась, как это ни странно с исторической и политической точки зрения, только по завоевании ее Россиею, причем этнически она не составляет одного целого, так как до сих пор наиболее влиятельную, хотя и малочисленную сравнительно часть ее населения составляют шведы, тогда как ближайшие сородичи финнов, обитающие на всем севере России, никогда ничего общего в политическом отношении с ними не имели, да пока и иметь не желали. Выделяя, таким образом, польский вопрос в ряду остальных национальных, следует, однако, сознаться, что и он представляет серьезные затруднения, и вот в каком отношении: к

сожалению или, вернее, к великой невыгоде самих поляков, этнические пределы Польши не совпадают (как это, впрочем, всегда было и будет во всяком почти государстве) с историческими границами ее. Поэтому польский патриот имеет историческое право говорить о восстановлении польского государства от моря до моря, хотя в него тогда вошли бы не одни поляки, но и литовцы, и латыши, и немцы, и белорусы, и малороссы, которые в громадном большинстве совершенно не имеют желания быть поглощенными Польшею или даже органически соединиться с нею. Но если даже признать, что такие великопольские вожделения менее распространены, чем раньше, если поверить, что недалеко то время, когда они останутся уделом только незначительной кучки утопистов, то являются на сцену другие затруднения: само основное королевство разделено между тремя соседними государствами, что само собою будет всегда питать идею Poloniae irredendae*; затем, если согласиться, что под владычеством России находится наиболее крупная часть Польши, вмещающаяся в десяти губерниях так называемого Привислянского края, то, во-первых, не все они чисто польские, так как в некоторых местностях клином врезается в царство литовская народность, желающая сохранить свою этническую обособленность и мечтающая даже о давно утраченной политической самостоятельности, а также в пределах Польши довольно настойчиво поддерживает свое существование так называемая Холмская Русь; во-вторых, во многих граничащих с Царством (Królestwo) губерниях большинство интеллигенции — польская, почему там получается приблизительно та же картина национального вопроса, как в местах со смешанным населением, например в Финляндии до последнего времени или в Прибалтийском крае, где высшие, а отчасти и городские классы принадлежат к иной национальности, чем масса населения.

Несмотря на все эти затруднения и оговорки, польский вопрос все же представляется яснее и проще, чем остальные национальные вопросы, и его разрешение на основах справедливости и логики значительно легче, хотя, может быть, и опаснее с политической точки зрения, чем разрешение его в других местностях Российской империи. Начнем наш обзор для удобства с севера. Хотя Финляндия и представляет собою ныне отдельное государство, соединенное с Россиею, несмотря ни на какие бы то ни было несогласия с этим законодательные определения, почти только личною унией, но перечень необходимо начать с нее, так как, во-первых, в пределах ее проживает значительное количество русских, число которых несомненно будет постоянно расти, а во-вторых, тот национальный подъем, доходящий иногда до шовинизма, который охватил за последнее время Великое Княжество, отражается уже теперь на финских жителях Петербургской губернии, составляющих здесь абсолютное большинство сельского населения.

В этом отношении лютеранские "маймисты" или "чухны" столичной губернии, несмотря на двухвековое сожительство с русскими,

несравненно более тяготеют к Финляндии в культурном отношении, чем доподлинные финны — карелы Олонецкой и Архангельской губерний, говорящие на том же языке, как жители восточной части Великого Княжества, абсолютно единокровные им, но довольно резко отделенные от них исповедованием православия, не упоминая уже, конечно, о более восточных сородичах — вологодских зырянах, вотяках и т. д. В Финляндии до сих пор идет внутренняя, иногда весьма ожесточенная, борьба между господствовавшими доселе в стране шведами и составляющими большинство народонаселения финнами. Борьба эта во второй половине девятнадцатого столетия была в полном разгаре, причем враждующие стороны нередко обращались к помощи русской власти в интересах своих партий. Несчастная система, примененная в Княжестве с назначением на должность генерал-губернатора Н. И. Бобрикова, заключавшаяся в грубо-явном стремлении воспользоваться раздором партии в пользу русификации, соединила временно, но замечательно тесно и шведоманов и младофиннов и даже многих старофиннов для совместного отпора общему врагу, грозившему поглотить молодую культуру и только что сформированное маленькое государство, организовавшее и свои финансы, и свои войска, и даже свою почту. До этой несчастной попытки русского сатрапа, поплатившегося за нее своею жизнью, одарить финляндцев благами российской гражданственности со всеми ее спутниками в виде жандармерии, полиции и коллекции чиновников всех рангов и мастей внутренняя жизнь Финляндии развивалась если не вполне на почве, то под аккомпанемент борьбы финнов со шведами, причем первые шаг за шагом отвоевывали у вторых одну позицию за другою. В России мало кто знает, что вплоть до второй половины девятнадцатого столетия шведы, составлявшие правящий класс Финляндии, запрещали печатать какие-либо книги на финском языке, кроме Священного Писания, пропустивши, после строжайшей цензуры, только несколько книг на финском языке духовного содержания и по сельскому хозяйству... Газет на финском языке не разрешалось, а в университете допускался только один преподавательский язык — шведский. Мало-помалу, благодаря ряду финских патриотов, большинство населения получило возможность удовлетворять свои умственные потребности на родном языке, но произошло это только благодаря настойчивой борьбе и не без жертв. В борьбе с финноманским движением (чистые представители его называются "старофиннами" в отличие от "младофиннов", возникших позже и о которых я скажу несколько слов ниже) шведы нередко прибегали к помощи Государственной власти в лице генерал-губернаторов и министров статс-секретарей по финляндским делам, пугая ее, по обыкновению всех правящих классов, призраком социализма, народного движения и разорения страны. Бобриков круто повернул руль, положивши его налево и вступивши в открытую борьбу со шведами; для этого он предложил союз свой финнам, но... не сумел скрыть, а может быть, в обаянии власти нашел это даже лишним, что

конечная его цель не торжество финской партии, а... русификация, торжество русской объединительной политики. Благодаря грубости его политической игры и действительному патриотизму финнов, с успехом заменявшему для них тонкости высшей политики, Бобриков достиг только того, что финноманская партия раскололась, и масса патриотов, покинув старые знамена старофинской партии, присоединилась к возникшей сравнительно недавно перед этим младофиннской партии, более либеральной, но не отказывавшейся идти рука об руку со шведами против общего врага. Старофинны оказались в трагическом, отчасти даже трагикомическом положении: войдя по тактическим соображениям в союз с Бобриковым и не питая принципиальной вражды против России и ее правительства, они, не находя возможным для себя изменить союзнику, хотя и не одобряя ни его конечных целей, ни его способов действия, оказались в роли каких-то предателей национального дела, и ряды их редели благодаря бегству в противный лагерь более пылкой молодежи. Всем известно, как кончилась в 1906 г. вся эта историческая драма, а потому ограничусь сказанным, вполне, мне кажется, достаточным для характеристики националистического движения на крайнем нашем севере. Я думаю, что здесь драма вступила уже в последний фазис и что теперь, если не случится чего-либо неожиданного, песнь шведов, в политическом смысле, спета и что финны, конечно, не без партийных между собою раздоров, которыми шведы будут стараться пользоваться, будут завоевывать одну позицию за другою от отступающих перед их натиском шведов, которым в конце концов останется только альтернатива или отказаться от своей политической роли или слиться с господствующим по численности населением. Будучи лично большим поклонником финского национального характера, я и как русский не вижу в этом ни вреда ни опасности для отечества, а потому искренне буду радоваться тому дню, когда младофинны вновь сольются со старофиннами для общей плодотворной работы на пользу родной страны, а потому, как я смотрю на культурное преуспеяние, на пользу и всего человечества, вложив и свою крупицу в общую сокровищницу прогресса.

Спускаясь на юг, мы наталкиваемся на условия, имеющие свои отличия от финских, но много и общего. Как в Финляндии, так и в Прибалтийском крае высший класс и отчасти городские жители принадлежат к иной народности, чем крестьяне и большинство населения. Тут то же стремление аристократии провести резкую границу между краем и остальною Россиею, старание заполучить особые права и привилегии и то же отношение к большинству населения, как к низшей расе, которую нежелательно особенно усердно просвещать, но в случае, когда просвещение уже коснулось кого-либо из народа, — приближать его, по возможности, к своей среде, онемечивая, подобно тому, как финляндские шведы в свое время и обыкновенно не без

успеха обращали в шведов природных финнов, получивших высшее образование. Главная и существенная разница Остзейских провинций от Финляндии заключается в следующем: во-первых, завоеваны они еще при Петре I, не имевшем ни причин, ни охоты проявлять качества характера, которые впоследствии отличали его эпигона Александра I; во-вторых, эти провинции не составляют одного целого, а делятся на четыре "автономных" единицы; в-третьих, при однородности правящего класса, вся масса населения принадлежит к двум совершенно различным народностям: эстам и латышам. В Остзейском крае старание русифицировать имеет более старую историю, чем в Финляндии, хотя результаты получились mutatis mutandis*, аналогичные: здесь мы тоже встречаемся с энергичным противодействием видам русского правительства со стороны правящих классов и со стремлением "угнетенных" народностей войти в союз с русскими реформаторами и, как результат в этой политике, попыткой латышей и эстов получить возможно полную автономию. Крупная разница заключается, однако, в том, что при возникновении народного движения иноплеменные высшие классы не соединились с большинством местного населения, так как самое движение в самой грубой форме было направлено главным образом против них самих, но устремились под защиту той же русской власти, против которой они раньше, иногда не без успеха, боролись.

В Северо-западном крае до самого последнего времени царили принципы управления, являющиеся отголоском знаменитого Муравьевского режима, иначе говоря, принципы полного недоверия ко всему, что не русское и что не принадлежит к православной церкви. Ввиду близости к Польше и исторических связей этого края с Царством система русификации здесь являлась отголоском применяемой к Польше с некоторыми местными отличиями. Как образчик такого отличия, не лишенного истинного трагикомизма, укажу на тот факт, что в еврейских школах Северо-западного края было абсолютно воспрещено преподавание русского языка, тогда как в соседней Польше то же преподавание и в тех же школах было обязательно; очень часто две школы на границе Северо-западного края и Польши были отделены друг от друга каким-нибудь ручейком, и то, что в одной считалось обязательным, под страхом наказания каралось как преступление в другой, и притом в обоих случаях одною и тою же русской властью, именем того же русского правительства...

Перехожу в порядке географическом к Польше. Но что о Польше скажешь, чего не было сказано раньше и не повторялось бы на все лады и с самых противоположных точек зрения? Несомненно, однако, и в этом сойдутся все — и друзья ее и враги, что более трагической судьбы, чем Польша, ни одно большое историческое государство, ни один культурный народ за последние столетия не имел: одно из самых могущественных европейских государств, населенное гордым и независимым народом, союзом с которым всякий дорожил и вражды которого все боялись, даже не завоевано кем-нибудь, а просто разде-

лено тремя соседними государствами между собою, причем всякое стремление к сохранению своей национальности, всякое патриотическое воспоминание о былом величии в двух по крайней мере из этих государств само по себе считается преступным и рассматривается как начало бунта. Конечно, необычайная судьба Польского государства и народа вызвала и необычайные меры к ее закреплению, и винить Россию или Пруссию за принятие таковых вообще трудно с точки зрения практической политики, но, несомненно, можно требовать, чтобы меры эти, как бы они ни были суровы и даже жестоки, были прежде всего справедливы и хоть сколько-нибудь оправдывались достигнутыми результатами. К сожалению, сказать, чтобы последние условия существовали на деле, по совести нельзя. После безумного восстания 1863 г. вплоть до 1905 г., т. е. в течение более сорока лет, русское правительство не столько занималось предупреждением его повторения, сколько местью за него, иными словами, дети настойчиво и последовательно наказывались за прегрешения отцов. Извинением этому или, вернее, объяснением такой системы (так как правящие в России круги не признавали необходимости извиняться в своем образе действий) служило знаменитое изречение, ставшее аксиомою: la Pologne n'a rien oublié mais n'a rien appris (Польша ничего не забыла, но ничему не научилась).

Того мнения, что полякам уступать что-либо опасно, что трогать польский вопрос непатриотично и грозит серьезными бедами России, даже самому ее существованию, — придерживаются еще многие у нас и не только из охранительного лагеря, но и несомненные либералы и даже радикалы. Подтверждение своему мнению они находят в последних событиях и в нынешнем фазисе польского вопроса. Действительно, с начала 1905 г. и даже несколько раньше было заметно некоторое желание русского правительства идти навстречу справедливым требованиям поляков, и хотя первые шаги в этом направлении крайне несмелы и, можно сказать, микроскопичны, но ни для кого не составляло секрета, менее всего, конечно, для самих поляков, что ветер начал дуть, пока хоть и слабо, с новой для них стороны. Было ли такое изменение направления политики в польском вопросе прямым последствием опасений, возбуждаемых разрастанием освободительного движения в России, или желанием в конце концов установить мирные человеческие отношения с покоренным, но все же братским народом, чтобы хотя бы временно обезопасить себя с этой стороны, — в этом я не могу разобраться, несмотря на свои связи в высшем правительственном мире. Думаю, что тут действовало много причин одновременно, и что нет никаких данных заподазривать правительство в каком-то особом макиавеллизме или неискренности. Впрочем, как всегда у нас, новые течения в польском вопросе проявились несмело, на ощупь, с такою опаскою и с такими оговорками, что невольно заставляли подозревать неискренность там, где был только страх перед всяким решительным и твердым шагом.

Как бы то ни было, желание покончить с жестокою системою существовало, и это было известно многим, если не всем. И вот в это самое время являются в Польшу агитаторы из России и предлагают от имени русской демократии союз оборонительный и наступательный. В Польше все всколыхнулось и движение, сметя немногочисленные к этому времени осторожные и, может быть, благоразумные (насколько они были благоразумны — покажет только будущее) элементы и, можно сказать, вся страна, весь польский народ потребовал для себя почти всего того, о чем он давно мечтал, — полной автономии и, во всяком случае, не менее той, какой достигла Финляндия. Поддержанные земским съездом в Москве, поляки стали требовать изгнания всей русской администрации и суда из Польши, собственного парламента, собственного ответственного министерства, а некоторые и собственного войска, собственных финансов и т. д. Российские Катоны и Катончики возвысили голос: "Что мы говорили? Дайте поляку палец, он не одну руку, а обе заберет и нас еще зарежет. Раздавить нужно Польшу, чтобы покончить с вопросом: поляки ничего не забыли и ничему не научились ..." И хотя Польша и не была раздавлена, но в ней... было введено военное положение со всеми приятными последствиями такового.

Не стану я здесь касаться "националистических" и сепаративных стремлений малороссов и даже белорусов, как заключающих в себе много неопределенного и отчасти даже наивного. Во всяком случае, если претензии этих разветвлений русского племени и имеют известное основание, то нет у них той почвы, которую мы находим в отношениях центральной власти к инородцам, каковы поляки, литовцы, эсты и иные финны и т. д., нет обрусительных стремлений, старания уничтожить по мере сил саму народность и особую культуру, так как обрусивать русских, хотя бы и "малых" или "белых", само собою нелепо, мешать восстановлению никогда, в сущности, не бывших самостоятельными государств нельзя, а о каком бы то ни было различии в гражданских и иных правах между великоруссом и малороссом и белорусом никогда и разговора не было. Очевидно для меня и, думаю, для большинства спокойно рассуждающих людей, что различие наречий, на которых люди говорят, еще нигде в мире не служило основанием для признания обособленных политических, экономических и культурных интересов, а отличить образованного воронежского или одесского малоросса от таковых же великоруссов было бы в большинстве случаев абсолютно невозможно. Не могу, однако, не указать здесь, что запретительная система нашего правительства, распространявшаяся до последнего времени на печатание книг на малороссийском и белорусском языках, не преминула дать свои плоды в виде автономно-сепаратистических стремлений.

Итак, оставляя в стороне требования наших ближайших сородичей, перехожу к рассмотрению положения дел на южной нашей окраине. Трудно подыскать более подходящее выражение к тому, что проис-

ходило последнее время на Кавказе, чем слово “каша”. Я убедился из неоднократных расспросов кавказских жителей, что они сами едва ли способны разобраться в том, что у них делается. Все знают, что там режут, подстреливают, поджигают и грабят друг друга без передышки, с чисто азиатским пылом и даже восторгом. Но спросите грузина, армянина, татарина или горца о причинах и поводах — каждый несет свое. Единственное слово, которое им всем понравилось и которое представители каждого из этих народцев повторяют, это “провокация”, конечно, провокация со стороны русских властей. Не расспрашивайте, однако, их далее, что они под этим словом понимают, ибо обыкновенно опять получается нечто иное, как “каша”. Один под провокациею понимает стрельбу из ружей и пулеметов, другой — аресты агитаторов, третий — запрещение митингов, четвертый — приказы наместника; только немногие понимают действительное значение слова, и такие употребляют его осторожнее других. Когда спрашиваешь о целях провокации, получаешь ответ, находящийся в прямой зависимости от национальности собеседника: армянин говорит — чтоб истребить армян, татарин — что русские подкуплены армянами, грузины — что русские хотят все захватить и выжить из Кавказа грузин. Толково объяснить свою мысль, кажется, никто не умеет, когда сойдутся друг с другом — спорят, но все тотчас согласны, когда кто-нибудь произнесет магическое слово “провокация”; однако потом опять разойдутся во мнениях, когда начнут говорить о том, для чего эта провокация нужна и какие цели она преследует... По-видимому, в конце концов под знаменитою “провокациею” на Кавказе подразумевается из рук вон плохая администрация, отсутствие какой бы то ни было разумной системы управления краем и те варварские способы усмирения, которые заменяют собою, как ultima ratio*, разумные меры успокоения страстных и малокультурных жителей Кавказских гор и долин. Центробежные стремления существуют и здесь, и на Кавказе любимое модное слово — автономия или, вернее, автономии, во множественном числе: отдельно автономная Грузия, а некоторые даже говорят об автономной Имеретии; конечно, автономная Гурия, автономная Армения, требующая еще иногда завоевания армянских провинций Персии; об автономии татарской я, признаться, не слыхал, но уверен, что ни один уважающий себя лезгин или иной мусульманин не захочет идти под начало автономных грузин, имеретин или, horribile dictu**, армян. Мне случилось быть зимою 1906 г. в компании грузин; все ругали ругательски русско-кавказскую администрацию, говорили, что войска своими действиями только разжигают страсти и даже разбойничают, но когда я стал говорить о том, что следовало бы увести войска и предоставить Кавказу самому устроиться, все, как один человек, пришли в ужас от такого проекта и запротестовали: “Да понимаете ли Вы, что если вывести войска, то мусульмане вырежут всех христиан, и армян и грузин”... Говорили они даже против

отозвания графа Воронцова-Дашкова, которого ругали, говоря, что его имя популярно среди татар и что он один способен благодаря этому сдержать их. Одним словом, если сами кавказские аборигены не в состоянии уяснить определенно причины и цели кавказской разрухи, то не мне, не имеющему ясного понятия о Кавказе, делать это.

В качестве постороннего почти зрителя, мне сдается, что увлечения кавказскою автономиею или, вернее кавказскими автономиями пока является погонею за утопиею, если только сама Россия не ухитрится устроить что-нибудь, напоминающее эти самые "автономии". Главный наш грех на Кавказе, мне думается, непоследовательность и дурные качества администрации, в большинстве состоящей, между прочим, из туземцев. Было время, когда мы искусственно всячески поощряли армян, в ущерб другим народностям, но затем воздвигли на тех же армян форменное гонение. Зачем было обирать армянские церковные имущества, чтобы затем вернуть им отнятое. Для чего кому-то пришло в голову требовать от армян при браках с православными грузинами и русскими подписки о воспитании детей в православии? Кому это нужно было? Когда кавказцы требуют изгнания из школы русского языка — они, несомненно, увлекаются к своей собственной невыгоде: русский язык является ныне связующим звеном многочисленных народцев Кавказа, и в этом отношении с ним может поспорить разве азербайджанское наречие, на котором говорят многие и не-татары, ибо на Кавказе грузин не понимает языка своего соседа армянина и vice versa*, ни тот ни другой не понимают осетина или чеченца; одним словом, это чистое столпотворение Вавилонское, где должна была бы возникнуть, если б не возникла в ином месте, пословица homo homini lupus**. Трудность управления краем увеличивается еще тем, что, кроме языка, каждый из народцев имеет свое обычное право, свои социальные воззрения, и ко всему этому прибавляется пестрота вероисповеданий. Нет также мало-мальски значительной территории, где народонаселение было бы сплошным, несмешанным. Никто Вам ясно не ответит, грузинский ли город Тифлис, или армянский или, вернее, ответит слишком определенно в зависимости от того, к какой национальности он сам принадлежит. Согласятся ли армяне признавать Баку с губерниею татарским краем? Что татары никогда не согласятся признать его армянским — за это можно поручиться. Насколько мне известно, существует во всем крае страшная запутанность поземельных отношений и прав на землю, — распутать их не удалось администрации, причем к общей путанице прибавилась царившая лет 20-30 назад система конфискации имений за преступления и раздача их затем русским чинам или верным туземцам. На такую-то благодарную почву попало семя революционной пропаганды, воспользовавшейся еще к тому же существующею уже тайною армянскою организациею анархического характера. Самое трагическое в кавказских делах, по-видимому, заключается в том, что совершенно неизвестно, на какой элемент там можно положиться, так как туземной культуры, в современном

смысле этого слова, почти нет: нет ни армянской, ни грузинской, ни татарской науки, ни даже сколько-нибудь значительной национальной литературы[i], а искусство ограничивается воспроизведением старых форм, имея характер прикладного, причем и оно имеет тенденции к своему обезличению и к заметному упадку.

Считаю долгом повторить здесь, что о кавказских делах я сужу понаслышке, а потому, весьма вероятно, и ошибаюсь во многом, и мне приходится выразить только сожаление, что до сих пор мне не попалось в руки книги ли, брошюры, или даже статьи, трактующих о кавказских делах, которые производили бы впечатление беспристрастия и вдумчивости, а присланные от Кавказа члены Государственной думы, к сожалению, не способны были внести хотя бы крупицу чего бы то ни было нового или оригинального в наши суждения о положении края: дальше общих фраз и настаивания все на той же пресловутой “провокации” их сведения, вернее, способность разобраться в вопросах, к сожалению всех, желающих добра их сородичам, не идут.

Об остальных националистических и вероисповедных стремлениях и претензиях я упомяну в своем месте при повествовании о том касательстве, которое мне пришлось иметь к ним в школьном деле. Воздерживаюсь также от предварительного обсуждения, может быть, наиболее важного России национально-религиозного вопроса — еврейского: во-первых, я говорил о нем отчасти уже раньше в первой главе, где выяснил свое отношение к нему, а во-вторых, мне придется поговорить о нем в своем месте, ниже, в применении к школьному вопросу. Позволяю себе только здесь выставить общий тезис, составляющий мое самое искреннее убеждение. Вот в чем он заключается: насколько все остальные националистические стремления и вожделения имеют характер центробежный, настолько еврейские обладают свойством центростремительным; иными словами, я убежден, что удовлетворение требований равноправия со стороны евреев даст в их лице тот цемент, который удержит страну от распадения на составные элементы, ибо еврею как таковому политический сепаратизм невыгоден и в большинстве случаев даже противен его натуре. Дайте евреям права — и они, я убежден, будут стремиться не к созданию отдельной Польши, Литвы, Малороссии, а к теснейшему единению этих частей единого великого отечества.

Итак, перехожу теперь от общих рассуждений и соображений к конкретному изложению фактов, с которыми мне пришлось иметь дело в министерстве в области национальных или, вернее, националистических вопросов, которые в порученной мне области государственного управления сводились главным образом к вопросу о языке преподавания в школе.

---

[i] Наиболее интересная литература — армянская, причем важны главным образом древние памятники языка; но новейшая армянская литература небогата и еще мало самостоятельна *(Прим. автора)*

Прежде всего, и в самом начале моего вступления в должность, а именно уже в ноябре 1905 г., на меня насели балтийские немцы. С огромной настойчивостью и солидарностью между собою предводители дворянства — Эстляндский, Лифляндский и Курляндский — лично приехали хлопотать о восстановлении дворянских гимназий с немецким преподавательским языком[1] в трех губерниях. Гимназии проектировались всесословными в отношении личного состава учащихся, и дворянский их характер заключался в двух главных основных положениях: все руководство ими как в хозяйственном, так и в педагогическом отношениях передавалось в руки местного дворянства, и язык преподавания в них должен быть немецкий, т. е. язык высшего сословия Прибалтийского края. Русский язык имел преподаваться в этих гимназиях как предмет, а затем дворянство соглашалось допустить преподавание на русском языке и русской истории и географии России. Курс этих учебных заведений предполагалось сравнять с курсом германских классических гимназий, причем испрашивались для оканчивающих все права русских гимназистов при условии, чтобы экзамен на аттестат зрелости производился в присутствии делегата от министерства (подчеркивалось, чтобы этот делегат был бы не от местного Рижского округа, а от центрального управления, которому немцы все-таки более доверяли). Учителей и директоров имели выбирать дворянские собрания, и они должны были утверждаться не округом, а министром; ценз для учителей устанавливался не только русский, но и германский, так что оба признавались для этих гимназий вполне равнозначащими. Весь педагогический персонал должен был пользоваться всеми правами государственной службы. Все расходы по содержанию гимназий и персонала брали на себя дворянства без всяких приплат со стороны русской казны. Как я сказал, об этом деле приезжали хлопотать сами предводители дворянства лично, причем пускали в ход все свое влияние и пользовались своим привилегированным положением, представляясь Государю Императору и вручая ему записки из рук в руки. Постоянных защитников своих интересов они имели в Петербурге в лице двух весьма ценимых Государем сановников — графа К. И. Палена и ген.-адъют. Рихтера. Я лично откровенно симпатизировал стремлениям балтийских немцев и по мере сил поддерживал их домогательства, но встретил весьма серьезные затруднения как в своем собственном министерстве, так, позже, и в Государственном совете. Мне казалось, что бывшие дворянские гимназии, уничтоженные во время русификаторских экспериментов правительства, никакого вреда никому не принесли, а по типу, несомненно, были учебными заведениями, стоявшими значительно выше наших гимназий. Опасаться германизации края, германизации латышей и эстов посредством трех или четырех гимназий казалось мне неосновательным, тем более, что ничто не мешало устроить и другие средние учебные заведения (сохранивши в крае русских), хотя бы с латышским и эстонским языками

преподавания. Если бы не мешкая учебные заведения оказались, паче всякого чаяния, хуже всех других, то они бы никого к себе не привлекали, а правительства это не касалось бы, так как содержаться они будут на средства сословные, а не общегосударственные; напротив, если б эти гимназии оказались лучше других, то на каком основании воспрещать их возникновение? Не на том ли, что сравнение могло бы быть обидным для других? Неужели распространение немецкой культуры настолько опасно для России, что лучше допустить возникновение автономных латышской и эстонской народностей, чем онемечение хотя бы нескольких сотен русских (?) латышей и эстов? Как я уже сказал, я прежде всего встретил противодействие “немецкому” проекту в собственном министерстве, причем ни Лукьянов, ни Тихомиров, ни dii minores* департамента не хотели сойти с позиции, занятой уже давно в этом вопросе министерством: они все смотрели на утверждение проекта как на гибель всей существующей системы, как на отказ от проведения русской политики на окраинах, как бы на измену русскому делу, русской государственной идее. Я этого ожидал, а потому меня и не удивило; удивлен был я вначале отношением к вопросу О. П. Герасимова, который им занялся тотчас по назначении его на пост товарища министра. Ничего не имея против инородческих учебных заведений, он, однако, решительно отказывался от поощрения их в каком бы то ни было отношении, более того, относясь с величайшею симпатиею к введению местных языков в качестве преподавательского, в низшей, народной школе, он относился отрицательно к этой мере по отношению к средней школе. Среднюю школу с иным, чем государственный, языком преподавания он допускал исключительно в виде частной школы, без всяких государственных прав для учащих и для учащихся. Приблизительно в этом последнем виде утвердил проект немецких гимназий и Государственный совет в марте 1906 г.; столько времени потребовалось на проведение проекта в законодательном порядке, несмотря на могущественную протекцию, которою пользовались балты. Да и в самом Государственном совете, под скромным видом частных гимназий, немецкие средние учебные заведения чуть-чуть не провалились, встретив самую ярую оппозицию в лице русификаторов, как Галкин-Врасский, Саблер, граф Толь и др. Мне пришлось произнести горячую речь в защиту права всякого воспитывать своих детей на родном языке для того, чтобы убедить в возможности разрешить немцам иметь немецкие школы у себя дома, хотя пришлось уступить оппозиции в вопросе об экзамене, дающем государственные права: этот экзамен абитуриенты должны держать при русской казенной гимназии, а не в своей, хотя бы в присутствии делегатов от министерства.

Если этот вопрос, имевший столько шансов пройти благополучно во всех инстанциях, встретил столько затруднений, то можно себе легко представить, как трудно было достигнуть чего-либо в вопросах, касавшихся инородческой школы других национальностей.

В этом отношении, несомненно, первое место занял вопрос о польской школе. Со времени известного попечителя Варшавского учебного округа Апухтина дело русификации этой школы пошло гигантскими шагами, и к 1905 г., можно сказать, польская школа в Царстве была совершенно искоренена. Только в этом году было признано возможным, после десятка лет интенсивного преследования всего польского, сделать несколько шагов в сторону удовлетворения требований общественного мнения и школьных потребностей края: было разрешено преподавать римско-католический Закон Божий на польском языке, на том же языке допустить преподавание польского языка и литературы, в низшей школе было тоже разрешено преподавание на польском языке, но с тем чтобы продолжалось преподавание и русского, причем на этом языке обязательно преподавались все остальные предметы, за исключением Закона Божия, т. е. история и география, а также и арифметика, но при преподавании последнего предмета допускались, в виде крайней уступки, необходимейшие объяснения на польском языке русских терминов. В частных учебных заведениях, и это был, несомненно, крупный шаг вперед, разрешалось преподавание всех предметов на польском языке, за исключением русского языка, истории и географии, преподавание которых было обязательно на русском языке. Наконец, в Варшавском университете проектировалось утверждение двух польских (с чтением по-польски) кафедр: польской литературы и польской истории[2], истории, а может быть, и третьей — истории польского государственного и гражданского прав.

Живи мы в менее революционно-нервное время и будь поляки более хладнокровны по натуре — эти уступки были бы признаны и довольно значительными, а главное, очень знаменательными, как первые шаги к восстановлению прав польского языка в школьном обиходе; оставалось настаивать на точном исполнении на местах благих намерений правительства с тем, чтобы по прошествии некоторого времени добиться новых. К несчастию, меры правительства запоздали по крайней мере года на три-четыре, а нервозность эпохи сделала то, что они не только не принесли никакой пользы, но стали источником новых бед.

Как русская администрация в Польше, так и сами поляки увидали в новшествах те крайние уступки, на которые согласно идти правительство; поэтому администрация считала себя вправе и даже нравственно, с русско-патриотической точки зрения, обязанной по возможности ограничить данные права, локализовать их, с одной стороны, и уменьшить их значение, с другой, придумывая им противовес в виде увеличенных требований по русскому языку и т. п. Поляки, со своей стороны, стали толковать меры в смысле расширительном, надеясь этим способом фактически перескочить через поставленный перед их стремлениями барьер. Вместо улучшения взаимных отношений получилось их ухудшение, перешедшее в яростную и несдерживаемую вражду, существовавшую всегда в более скрытом виде. Польское общество объявило и провело бойкот русской школы в Царстве

Польском, воспретивши польским родителям посылать своих детей в казенные учебные заведения, университет заставили закрыть, в низших школах предъявили требование преподавания всех предметов исключительно на польском языке и изгнания русского; там, где этому не подчинялись, — закрывали самые школы, а учителей, особенно русских, изгоняли, а некоторых даже и поубивали; в частных учебных заведениях, где правительство ограничило свои требования преподавания на государственном языке русского языка, истории и географии, самовольно сократили число часов преподавания самого языка, а историю и географию стали преподавать по-польски, сохранив для виду несколько часов номинального преподавания на польском языке истории и географии России, ссылаясь на то, что в выражении текста закона "русский язык, история и география" прилагательное относится, по их толкованию, ко всем трем существительным, а не только к первому.

Управление округом и администрация генерал-губернатора ответили на эксцессы и на уклонения от точного исполнения новых правил энергичными репрессиями. Учебные заведения, где преподавание шло на одном польском языке, закрывались совсем, учителя арестовывались и высылались, частные школы тоже опечатывались, а содержатели штрафовались, и т. п. Дело кончилось тем, что вся школьная жизнь края замерла, польские дети перестали ходить в учебные заведения, и продолжали функционировать с грехом пополам только казенные русские учебные заведения, которые под охраною полиции, а иногда и войск, стали посещать только немногочисленные дети русских и еврейских семей, находясь под ежечасным страхом разгрома со стороны патриотов.

Все польские депутации, приезжавшие в Петербург для представления правительству объяснений о нуждах края, считали долгом делегировать ко мне специально по несколько своих членов для хлопот по школьным делам; настроение всех многочисленных поляков, которых я таким образом принял, было совершенно одинаковое, и пожелания их не в чем не расходились: все требования сводились к решительной и коренной реформе всего учебного дела в крае с отказом со стороны правительства от всей своей русификаторской системы. В это время, т. е. в первых числах декабря 1905 г., ко мне утром в министерство явился профессор Петербургского университета Петражицкий.

Петражицкий, избранный затем в апреле 1906 г. депутатом в первый состав Гос. думы от Петербурга, был мне известен тогда только понаслышке как талантливый и весьма популярный по либеральным своим воззрениям, и это несмотря на строгость, профессор. Он был избран осенью 1905 г. деканом юридического факультета Петербургского университета. В качестве такового он явился, чтобы хлопотать об утверждении вновь избранного на новое пятилетие, после 25-летней службы, профессора Ходского (издателя радикальной газеты "Наша

жизнь"), не утвержденного моим предшественником. Пообещавши мое содействие[i], я, зная, что Петражицкий поляк не только по происхождению, но и по чувствам, зная также, что он умный человек, воспользовался случаем и затеял с ним разговор о польском школьном вопросе, который меня занимал самым исключительным образом. Петражицкий как будто этого только и ожидал, так как посвятил выяснению своих воззрений часа полтора времени. Он нарисовал мне настолько ясную картину всего дела, что я решился попросить его составить записку, которая могла бы лечь в основу моих дальнейших действий в вопросе о народном образовании в Польше. Охотно согласившись на это, Петражицкий недели через две принес мне подробную и обдуманную записку, которая и легла в основание моих предложений о реформе школьного дела в Польше. Передавая мне свою записку, составитель, услыхав полное мое одобрение выставленным в ней положениям, обратился ко мне с речью, в которой обнаружил всю сущность своих стремлений и всю ту преданность интересам своей отчизны, которою он был одушевлен: "Вы меня извините, граф, за то, что я решаюсь сказать Вам по поводу моей записки. Вы отнеслись с таким сочувствием к высказанным мною принципам, и, по-видимому, мы с Вами настолько в этом вопросе солидарны, что несбыточность того, что я считаю нравственным долгом высказать Вам, не может показаться Вам оскорбительною. Вы сами знаете и указали мне, что Вы долго на Вашем месте не останетесь и должны будете оставить его через несколько месяцев; итак, я осмеливаюсь утверждать, что Вы за это короткое время ничего или почти ничего не успеете сделать ни по какой части порученной Вашему руководству области; все Ваши благие старания разобьются о суровую действительность, и Ваше управление Министерством народного просвещения будет столь же бесплодно, как управление Ваших предшественников. Единственное дело, которое Вы можете провести и в короткий срок, — это дело восстановления справедливости в школе по отношению к нерусской части населения. В этом отношении на первом плане стоит польская школа: тут схема проста, всем понятна и будет иметь при ее проведении немедленные и самые благотворные последствия, благотворные как для поляков, так и для русских, покончив со слишком долго длящимся недоразумением между обоими народами, а явясь актом справедливости, будет иметь огромное не только нравственное, но и чисто политическое значение. Это дело Вы можете провести и в короткий срок, так как весь труд заключается в необходимости убедить в правильности нашей точки зрения. Прошу Вас извинить меня, если я скажу, что на Вашем месте я поставил бы по поводу этого дела кабинетский вопрос: если граф Сергей Юльевич будет делать Вам затруднения, то на Вашем месте я объявил бы ему,

[i] Проф. Ходского я утвердил, но отдание об этом утверждении в высочайшем приказе совпало с преданием его уголовному суду как журналиста. Танеев поэтому вычеркнул его имя из приказа, уведомив меня, что по закону до окончания дела Ходский утвержден быть не может.

что Вы уходите из состава министерства, и думаю, что Вы заставите его этим согласиться на принятие Вашего проекта. Если это не подействует, Вы спокойно можете уйти, так как Вы ничего другого значительного не успеете в министерстве исполнить. Но если Вам удастся провести польский школьный вопрос, то, ничего другого не сделавши, Вы воздвигнете себе вечный памятник как благодетель многомиллионного исстрадавшегося народа, оказавши огромную политическую услугу своему народу и всему великому отечеству, избавивши их от векового кошмара...” Привожу речь Петражицкого по памяти, а потому без ручательства за отдельные выражения, но суть ее и смысл были именно таковы, как я их изложил, так они врезались мне в память по своей необычности и по спокойной, если можно так выразиться, горячности говорившего.

Записка Петражицкого была, по моему распоряжению, переписана целиком с незначительными изменениями и редакционными поправками, мною подписана и представлена в качестве проекта в Совет министров. Граф Витте, ознакомившись с нею, отнесся к ней вполне сочувственно и по существу не только не возражал, но выразился, что лично убежден в правильности моей точки зрения и желательности осуществления предложенных в записке мер. Вместе с тем он, однако, считал невозможным немедленно приступить к реформе и, во всяком случае, признал необходимым предварительно послать записку на заключение Варшавского генерал-губернатора, так как без предварительного сношения с последним Совет министров никогда не согласился бы даже и рассматривать и обсуждать моей записки. Как это ни было невыгодно в интересах дела — я с последним не мог не согласиться. Посланная к ген.-адъют. Скалону, записка пролежала у него месяца два и вернулась с заключением в том смысле, что, хотя многое в ней признается им теоретически верным и желательным, но что немедленное введение реформы невозможно ввиду политического состояния края; были в ответе генерал-губернатора и возражения по существу, но я считаю ненужным останавливаться на них, так как в них повторялись всем известные мотивы, да и не они повлияли на судьбу записки: проект мой не получил движения потому, что рассмотрение его было признано “несвоевременным”, а это магическое слово лучше и вернее убивает в России всякие добрые намерения и начинания, чем самая злая и основательная критика. К сожалению, у меня не сохранилось копии с моей записки, явившейся почти точным повторением записки Петражицкого, но я имею возможность сообщить здесь препроводительную к ней бумагу за подписью его, которая заключает в себе весь ее смысл и главную мотивировку.

“Исполняя поручение Вашего сиятельства представить соображения по вопросу о школьном деле в Царстве Польском, имею честь доложить следующее:

1) Необходимою мерою, соответствующею духу Манифеста 17-го

октября, по отношению к Царству Польскому по ведомству Министерства народного просвещения представляется замена русификационной системы в школьном деле предоставлением местному населению права обучения в школе на родном языке.

Применяемая до сих пор система успела в достаточной мере обнаружить свою полную несостоятельность. В частности, не подлежит сомнению и общеизвестно, что она, не говоря уже о ее педагогических свойствах, не достигала и той политической цели, ради которой она была введена и поддерживалась в течение нескольких десятилетий, и даже вела к противоположному результату, к возбуждению и поддержанию в учащемся юношестве и местном населении вообще ненависти к навязываемому языку и к русскому правительству и Государю. В теперешнее же время, ввиду наступившего изменения государственно-правовых и политических условий, осуществление этой системы на деле и сохранение ее на будущее время сделались и фактически невозможными. Поэтому сохранение формальной юридической силы за соответственными прежними узаконениями и административными распоряжениями было бы политической оплошностью и весьма вредным упущением со стороны правительства, а именно, оно влекло бы за собою только существование и возрастание противоречия между законом и действительностью, т. е. анархического состояния, в области школьного дела, поддерживало бы и усиливало революционное возбуждение в местном населении и служило бы для представителей крайних партий средством для агитационной деятельности, направленной на возбуждение недоверия обещаниям Манифеста 17-го октября и вражды к теперешнему правительству и для пропаганды в пользу противодействия выборам, бойкота Государственной Думы и вооруженного восстания.

Напротив, надлежащее положительное решение школьного вопроса в Царстве Польском было бы актом большой политической важности и ценности. Другие вопросы, касающиеся управления, представляются связанными с вопросом о пределах местного самоуправления, а решение этого вопроса ожидается не теперь, а в будущем, со стороны Государственной думы. Очередным и подлежащим решению теперь, со стороны теперешнего правительства, является именно школьный вопрос, и притом это с точки зрения населения Царства Польского крайне важный, жгучий и наболевший вопрос. На нем сосредоточивается внимание, и он волнует умы и сердца поляков. Удовлетворение подлежащих ожиданий и воодушевленных желаний оказало бы чрезвычайно сильное благоприятное политическое действие, произвело бы, можно утверждать, коренной переворот в политическом настроении; в частности, оно существенно усилило бы значение и влияние тех элементов польского общества, которые отвергают революционные приемы и стараются удержать местное население на почве легальности.

Действие подлежащей меры правительства было бы тем более

благоприятным, и она является тем более уместной и необходимой с политической точки зрения, что в соседних областях, в среде других народностей, литовцев, эстов, латышей происходит восстание; доставление теперь полякам, пока еще не увлекшимся примерами и политическими страстями, удовлетворения их главного, очередного политического желания и стремления важно в качестве меры, предупреждающей распространение пламени восстания и показывающей полякам и другим народностям, что считать теперь наиболее действительным или единственным средством достижения политических благ применение силы и оружия ошибочно, и что правительство склонно и способно действовать в духе благожелательной политики свободы, предначертанной Манифестом 17-го октября, а не уступать только пред революционными насилиями, не давая ничего добровольно и по собственной инициативе.

Наконец, и в сфере русских конституционных партий и освободительного движения вообще указанная мера произвела бы, несомненно, благоприятное впечатление и политическое действие.

Не говоря уже о радикальных партиях, и средние и самые умеренные конституционные русские партии, в частности и большинство, и меньшинство земского съезда, — единодушно требуют предоставления полякам права обучения на родном языке. Разногласие существует только по вопросу о пределах местного самоуправления. Быть более консервативным, чем наиболее консервативные из конституционных русских партий, правительству во всяком случае не следует. Удовлетворение согласного требования освободительных программ русских конституционных партий относительно языка преподавания в школах Царства Польского представляется тем более политически уместным в данное время, что правительство принимает разные меры, толкуемые как реакционные, отступления от начал Манифеста 17-го октября, и нет других мер, доказывающих реально и наглядно иное направление и иной смысл правительственной политики.

2) Реформы должны иметь принципиальный и последовательный характер, в частности обнять школы всех разрядов, в том числе и Варшавский университет и другие высшие учебные заведения Царства Польского[3]*. Только такая реформа оказала бы при теперешних обстоятельствах то важное благоприятное политическое действие на народонаселение Царства Польского, которое было указано выше. В данном случае имеется такое благоприятное положение, что правительство может предпринять меру, вполне удовлетворяющую наличные требования и ожидания, не оставляющую почвы для обычной революционной критики, игнорирующей то, что достигнуто, ради протеста и агитации по поводу того, что не дано, по поводу ограничений.*

Напротив, всякая лишь частичная реформа, всякая попытка компромисса и сохранения элементов прежней русификационной системы

оказалась политически неудачной и недействительной, создавая почву не для удовлетворения и примирения, а для раздражения, сохранения состояния анархии в школьной области и продолжения агитации и успешной революционной пропаганды.

Началу полноты и последовательности реформы отнюдь не противоречит: 1) Обеспечение для детей русских в Царстве Польском возможности, в свою очередь, учиться на родном языке, т. е. сохранения в некоторых учебных заведениях преподавания всех предметов на русском языке. 2) Обеспечение и в польских школах надлежащего усвоения общегосударственного языка путем сохранения преподавания русского языка, русской словесности, русской истории и русской географии на русском языке.

Что касается вопроса о теперешних преподавателях тех предметов, по которым будет введено преподавание на польском языке, то удовлетворительным решением его представляется следующее: 1) Те преподаватели, которые владеют польским языком, в случае готовности с их стороны продолжать преподавание на польском языке, сохраняют свои возможности. 2) Прочие преподаватели подлежат переводу на соответственные места в других областях Империи, а в случаях временного отсутствия вакансий сохраняют право на жалованье. Ввиду того, что за отсутствием теперь достаточного для фактического осуществления реформ сразу польского преподавательского персонала замена русского преподавательского персонала польским может происходить лишь постепенно, и ввиду того, что в России требуется и предстоит значительное расширение деятельности Министерства народного просвещения, в частности значительное увеличение количества средних учебных заведений, указанная утилизация теперешних преподавательских сил учебных заведений Царства Польского не может представить серьезных затруднений. 3) Реформа в смысле принципиального, законодательного решения вопроса должна быть произведена немедленно. Всякая проволочка ухудшает положение дела и грозит серьезными опасностями. И она, эта реформа, может быть произведена немедленно, не предполагает сложных и требующих сколько-нибудь продолжительной подготовки мероприятий. В частности, отнюдь не требуется выработки каких-либо новых уставов для учебных заведений и управления ими. Дело сводится только к замене языка преподавания, т. е. лишь преподавателей и учебников, точнее, к разрешению такой замены и указания правительственных органов, имеющих руководить этим делом.

На основании вышеизложенных соображений представляется возможным и необходимым немедленное издание Высочайшего указа, который бы после обычного введения со ссылкою на Манифест 17-го октября, содержал следующие постановления.

1. Ввести в учебных заведениях Царства Польского преподавание на польском языке всех учебных предметов, за исключением рус-

ского языка, русской словесности, русской истории и русской географии, сохранив преподавание всех предметов на русском языке в достаточном для обеспечения желающим возможности учиться на русском языке количестве средних учебных заведений.

2. Образовать под председательством попечителя Варшавского учебного округа, вместо существующего Попечительского совета, Комитет по учебным делам из 12 представителей местного общества, известных своей педагогической или общественной деятельностью, по назначению Министра народного просвещения и присвоить этому Комитету права и обязанности, указанные в ст. 13-47 11 т. Св. Зак., ч. 1, разд. 1, изд. 1893 г., а также право и обязанность: 1) рекомендовать и одобрять с согласия попечителя, учебные книги, руководства и пособия для учебных заведений края; 2) представлять к утверждению подлежащих властей кандидатов для замещения мест по учебной части в крае с правом на первое время, впредь до особого постановления, приглашения на эти места и лиц с дипломами заграничных учебных заведений.

3. Принять меры к обеспечению интересов и дальнейшего служебного положения тех лиц, которые теперь состоят преподавателями в учебных заведениях Царства Польского.

Проведение указанной простой по существу, но весьма крупной культурной и политической меры было бы важной исторической заслугой не только с точки зрения истории польского народа, но и с точки зрения истории освободительных, прогрессивных и культурных реформ в Русской империи вообще.

Профессор Л. И. Петражицкий.
С.-Петербург. 19-го дек. 1905 г.

Записка, представленная мною в Совет министров, заключала в себе мотивированное указание на ненормальность, с педагогической точки зрения, системы, при которой обучение детей ведется не на их родном языке, причем была сделана ссылка на авторитетное мнение Ушинского, находившего единственно правильным преподавание на природном языке учащегося. Точно так же была приведена выдержка из всеподданнейшей записки Н. А. Милютина, которого едва ли кто мог заподозрить в отсутствии русского патриотизма, с указанием на категорическое мнение этого государственного человека, что обрусить Польшу посредством школы никогда не удастся, и что все попытки в этом направлении поведут только к увеличению озлобления. Меры, предлагающиеся к немедленному, если будет признано возможным, введению в Царстве Польском, заключались в следующем:

1. Признание польского преподавательского языка в низшей школе, в которой русский язык оставался только как предмет преподавания.

2. То же относительно средней школы, но с оговорками:

а) чтобы преподавание русского языка было поставлено на должную высоту, в интересах самих учащихся;

б) чтобы, кроме русского языка, по-русски преподавались русская история и география России;

в) чтобы сохранено было в крае достаточное количество русских гимназий и реальных училищ как для русских, живущих в Польше, так и для желающих из поляков;

г) чтобы в русских учебных заведениях в качестве предмета преподавались польский язык и литература.

3) Относительно Варшавского университета было формулировано два предложения на выбор: а) оборудование "утраквистского" университета, т. е. установление параллельных факультетов польских и русских, или б) перенесение русского университета в другой город, например Вильну или, еще лучше, в чисто русский город в центральной России[4] с передачею Варшавского университета всецело полякам с тем, чтобы расходы на него оплачивались из местных средств[5].

Записка моя не получила желаемого утверждения, и законодательное изменение системы школьного преподавания в Царстве Польском отложено на неопределенное время, дай Бог, чтоб не на слишком долгое; это не препятствовало, однако, сделать что можно для облегчения существовавшего в крае невыносимого положения. Вызов в Петербург попечителя округа, проф. Беляева особенно решительного влияния на изменение этого положения не имел, хотя, несомненно, разговор со мною и с О. П. Герасимовым имел последствием несколько менее суровое применение репрессий. К описываемому времени отношения между русскими элементами в крае и польским обществом были обострены до крайности, причем обострение это поддерживалось проливаемою чуть ли не ежедневно кровью русских служащих, за которую администрация мстила, при первой возможности, суровыми репрессиями до смертных казней включительно. Сам Беляев, по натуре человек добродушный и далеко не враг поляков, был чисто русским человеком по душе и, находясь, так сказать, в самом центре борьбы, решительно принимал сторону своей национальности против поляков и явно верил в возможность победы с помощью "твердой" политики и решительных действий. Поэтому на все уступки польским вожделениям он смотрел как на преступную слабость, почти как на предательство по отношению к России. Поэтому в его глазах я должен был казаться с проповедуемыми мною теориями и предъявляемыми к нему требованиями или весьма легкомысленным и поверхностным администратором, или опасным теоретиком, чуть ли не беспочвенным международником и даже предателем; я чувствовал, что, подчиняясь моим указаниям, он имел намерение исполнить их только наполовину, в пределах лишь самого необходимого, уступая лишь шаг за шагом. Его поддерживал генерал-губернатор, а потому позиция его была довольно твердая, и я решился послать в Польшу ревизора в

лице нашего юрисконсульта В. И. Мамонтова. Материал, привезенный последним, оказался очень поучительным, и подтвердились все мои наихудшие опасения: Апухтинская система[6] процветала в крае вовсю и насчитывала между русскими деятелями многочисленных и убежденных сторонников. На основании материала ревизии я настоял на возвращении к своим местам ряда уволенных польских учителей низших школ, на уничтожении целого ряда мелких стеснений и придирчивых правил, царивших в школе, настоял на сокращении насильственного преподавания русского языка и на более широкой постановке преподавания польского.

Большего я не успел сделать до моей отставки, и дело польской школы, дело народного образования в Царстве Польском ждет своего коренного разрешения, ибо мое убеждение таково, что без радикального изменения всего отношения к вопросу, и именно в духе представленной мною записки, — вопрос этот неразрешим, так как стремление насильственно обрусить через школу будет всегда тщетным и поведет только к обострению отношений между двумя родственными племенами.

Относительно литовской школы мне не пришлось встретиться с теми затруднениями, как в вопросе о польской: здесь я вначале имел союзника в лице местного генерал-губернатора Фрезе; однако и тут вышла задержка вследствие увольнения генерала Фрезе от должности и замены его другим лицом, заключения которого пришлось ожидать. Так как заключение это оказалось, в общем, благоприятным моему предложению, то и удалось получить Высочайшее утверждение следующего доклада.

Именным ВЫСОЧАЙШИМ указом Правительствующему Сенату 1-го мая 1905 г. постановлено, между прочим, допустить преподавание литовского и польского языков в учебных заведениях Западного края с программами начальных двухклассных[7] и городских училищ[8], а также в среднеучебных заведениях и в тех местностях, где большинство учащихся принадлежит к литовской или польской народности. В одноклассных же училищах[9] не введено преподавание означенных местных языков по тому соображению, что в этих училищах вследствие сравнительно кратковременного — двухгодичного — пребывания в них детей и при одном учителе представлялось затруднительным одновременное прохождение, наряду с русским, местного языка.

С осени минувшего года и по настоящее время к местному учебному начальству и к гражданским властям, а также и в Министерство народного просвещения поступают многочисленные ходатайства от литовского населения Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернаторств о введении преподавания литовского языка в учебных заведениях с программами одноклассных начальных училищ, а также о преподавании на этом языке в начальных училищах всех предметов, кроме русского языка.

При рассмотрении настоящего дела, и в частности первого пункта означенного ходатайства, Министерство народного просвещения приняло в соображение следующее.

Одноклассные начальные училища в Виленском учебном округе, как выяснилось на месте, имеют курс учения трехгодичный, а иногда и четырехгодичный; во многих школах имеются учительские помощники, причем назначения таковых помощников и в остальные начальные одноклассные училища, в случае введения в них преподавания литовского языка, недостатка в соответственных кандидатах, знающих литовский язык, по донесению Виленского учебно-окружного начальства, не встретится.

Ввиду сего отпадает указанное выше препятствие к преподаванию в одноклассных начальных училищах литовского языка.

Что же касается ходатайства о введении преподавания в начальных училищах Виленской, Ковенской и Гродненской губерний на литовском языке всех предметов, кроме русского языка, то министерство полагало бы возможным разрешить и этот вопрос в положительном смысле. Подобный порядок преподавания уже установлен в помянутых учебных заведениях Варшавского и Рижского учебных округов на основании Высочайше утвержденных 17-го апреля, 6-го и 18-го июня 1905 г. особых журналов Комитета министров и высочайшего повеления 27-го октября того же года. Сими постановлениями в названных округах допускается преподавание на местных языках Закона Божия, природных наречий учащихся, а также и арифметики в одноклассных и первых классах прочих начальных училищ. В частности, приведенными узаконениями литовский язык в губерниях Царства Польского в школьном употреблении поставлен в одинаковые условия с польским языком, между тем как в смежных с ними западных губерниях Виленской, Ковенской и Гродненской с преобладающим литовским населением литовский язык в начальной школе подвергается ограничениям. В этом смысле Советом министров была составлена 2-го декабря 1905 г. мемория, каковая и была повергнута на Высочайшее Вашего Императорского Величества благовоззрение, но Вашему Императорскому Величеству благоугодно было рассмотрение настоящего вопроса отложить впредь до получения по нему отзыва вновь назначенного Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернатора.

Ныне помянутый отзыв получен, причем генерал-губернатор относительно литовского языка высказался в смысле предположений Министерства народного просвещения.

На основании вышеизложенного Министерство народного просвещения полагало бы:

1. Распространить действие отд. VI Высочайшего указа Правительствующему Сенату 1-го мая 1905 года о преподавании литовского языка в начальных двухклассных и городских училищах в девяти западных губерниях на учебные заведения с программами начальных

одноклассных училищ в губерниях Виленской, Ковенской и Гродненской.

2. Разъяснить, что преподавание литовского языка в означенных в предыдущем пункте училищах Виленской, Ковенской и Гродненской губерний ведется на природном языке учащихся, т. е. на том же литовском языке.

3. В одноклассных и первых классах прочих начальных училищ названных трех губерний, кроме преподавания Закона Божия и литовского языка на сем последнем, разрешить пользоваться при преподавании арифметики не только русским, но и литовским языком.

Независимо сего и принимая во внимание, что в Гродненской губернии в части, прилегающей к Царству Польскому, имеется сплошное польское население, Министерство народного просвещения полагало бы разрешить в этой местности преподавание в одноклассных начальных училищах взамен литовского польского языка с применением к нему п. 3 указанных выше предположений.

Польский и литовский вопросы в применении к школе были наиболее крупными и трудными; мне остается сказать несколько слов о школах других национальностей.

В самом Петербурге издавна существовала при финской церкви финская школа для многочисленных проживающих в столице финнов (свыше 30 000). Эту школу было решено в 1905 г. преобразовать в среднеучебное заведение типа финских лицеев (гимназий). Первым директором этой гимназии был избран мой учитель финского языка магистр фил. Тойкка. Личное знакомство директора с министром, конечно, было весьма выгодным обстоятельством для дела, и я с величайшею радостью утвердил все предложения училищного Совета о реформе учебного заведения с финским преподавательским языком. Дело казалось вполне законченным: учебные планы утверждены, вопрос о языке преподавания тоже, права учащихся, ценз преподавателей, — одним словом, все. Но тут встретилось затруднение с совершенно неожиданной стороны. Лицею потребовалась субсидия, весьма скромная, со стороны финской казны; статс-секретариат, посовещавшись с политическими деятелями Финляндии Михелиным и иными, в субсидии не отказал, но поставил условия: чтобы лицей отнюдь не готовил своих питомцев в русские университеты, а исключительно в Гельсингфорсский университет, а потому требовалось сокращение преподавания русского языка и увеличение преподавания шведского; кроме того, ставилось условием, как conditio sine qua non*, подчинение лицея финской инспекции великого княжества. Эти требования были мне сообщены г-ном Тойкка, и я выразил готовность поговорить с сенатором Михелиным и с ген.-майором Лангофом, но ни тот ни другой не нашли времени сделать это до моей отставки. Так вопрос и остался, кажется, до сих пор неразрешенным.

Относительно эстонской и латышской школ, особенно относительно последней, мне пришлось иметь довольно много хлопот. Латышские

депутации, приходившие ко мне, принадлежали к двум категориям: представителей наиболее радикальных партий, имевших, несомненно, связи с революционными элементами края, и более консервативных (в политическом отношении) с латышским духовенством во главе. Обе категории депутаций сходились, впрочем, во всех главных своих пожеланиях, в сущности поражавших своею скромностью: они просили о введении латышского языка преподавания в низшей школе и в первых двух или трех классах средней школы, но с обязательным параллельным изучением русского языка; начиная с третьего или четвертого класса гимназий просители признавали желательным переход к русскому преподавательскому языку, но отнюдь не к немецкому. Партии расходились в вопросе о преподавании лютеранского Закона Божия, тогда как одни требовали полного прекращения этого преподавания с заменою курсом "морали", другие желали его сохранения, но с условием преподавания предмета на латышском языке до конца. Относительно Юрьевского университета, в противоположность немецким балтам, требовавшим разрешения читать лекции безразлично на немецком и на русском языке, эсты и латыши настаивали на том, чтоб университет остался непременно русским с учреждением нескольких новых кафедр, а именно: на историко-филологическом факультете — кафедры финских наречий с чтением на эстонском языке, на медицинском факультете — лектории эстонского и латышского языков в применении к медицине; на богословском факультете — кафедры практического богословия одна на эстонском, другая на латышском языке. Все пожелания мне казались и осуществимыми и весьма разумными, и я всеми силами поддерживал их. Самое серьезное затруднение я встретил в отношении университета, где богословский факультет находился в немецких руках[10]; принимая во внимание автономию, он имел возможность противопоставить моим желаниям свое non possumus* и имел полное основание отклонить учреждение новых ординатур за отсутствием эстов и латышей, имевших докторскую степень.

Националистическое движение охватило не одни только европейские народности, но и более отдаленные. Всю осень 1905 и зиму 1905/06 года прожила в Петербурге депутация Байкальских бурят с первосвященником ламаитского духовенства Восточной Сибири Хамба-ламою во главе. Эта многочисленная весьма декоративная, благодаря роскошным азиатским костюмам, депутация приехала хлопотать об экономических, религиозных и отчасти политических нуждах своих. В отличие от европейских инородцев, важные и спокойные азиаты громко выражали свою преданность Царю и России и главным образом добивались представления Государю Императору. Им долго этого счастия не доставляли, по-видимому, вследствие опасений Министерства иностранных дел, как бы это не возбудило подозрений Англии, так как было известно, что Хамбо-лама был в постоянных

сношениях с Далай-ламою и имел в своей свите, по-видимому, непосредственного посланника от этого земного бога ламаитов. Буряты испросили аудиенции и у меня, так как хлопотали, между прочим, и о бурятских школах: они просили об учреждении сельскохозяйственного училища для бурят, учительской семинарии и ряда низших школ, добивались введения во всех этих учебных заведениях монгольского языка преподавания, но с сохранением преподавания и русского, который признавали для себя очень полезным; преподавание религии во всех школах они считали необходимым, но с тем, чтобы параллельно и на одинаковых правах преподавался "Закон Божий христианский, буддистский и шаманистский". Депутация из четырех духовных лиц, четырех светских с Хамбо-ламою во главе и с переводчиком явилась ко мне на квартиру; все, за исключением переводчика, были в роскошных костюмах: Хамбо-лама в великолепном из золотой парчи халате, опушенном соболем, три настоятеля дацанов (монастырей) в несколько менее богатых, но все же замечательных и дорогих костюмах; все они были в русских орденах и медалях, с шелковыми лентами, обозначающими их сан, через плечо. У всех духовных — бритые или с короткоостриженными волосами головы, лица безбородые. Хамбо-лама поднес мне торжественно статуэтку "Всемогущего Будды" и шелковое полотенце, причем произнес речь по-монгольски, переведенную переводчиком, в которой он призывал благословение Божие на Министра народного просвещения и на великую его задачу просвещать народ светом знания и просил принять "образ Всемогущего Будды, просветившего много столетий тому назад народы божественным учением". Изложив свои просьбы о школах, которые я обещал по мере сил исполнить, буряты ходатайствовали сказать слово Государю, чтоб Его Величество их принял. Я исполнил и эту просьбу и доложил Государю Императору о пребывании бурят в Петербурге. Не знаю, мой ли доклад помог, или добились своего буряты через других, но Государь действительно вскоре принял их. Я угостил своих гостей чаем и послал за конфетами в хороших бонбоньерках. Когда я роздал их членам депутации, то Хамбо-лама произнес цветистую речь, в том смысле, что да будут плоды просвещения, которое я внесу в среду бурятского народа, столь же сладки, как те дары, которых они только что удостоились получить от меня. Замечу, что хотя глава миссии говорил со мною через переводчика, но хорошо понимал по-русски, следя за его переводом, поправляя его и вставляя даже русские слова.

Большая депутация крымских татар с ахуном во главе предъявляла мне единственную просьбу более религиозного, чем националистического характера: они просили о дозволении преподавать в их духовных школах преподавателям из Стамбула, которые, будто, обладают наилучшими методами и являются наиболее учеными. И эта депутация заверяла в своей непоколебимой преданности Государю

и даже готовности защищать престол до последней капли крови против революции. В состав ее входили несколько офицеров-магометан. Кавказских депутаций ко мне не приходило, и вообще с Кавказа я за все шесть месяцев не получил ни одной просьбы, ни одной претензии националистического характера: очевидно, там все варилось, как в котле, в своем собственном соку, и требования еще не успели вылиться в определенную форму.

Думаю, что приведенного мною по вопросу об "инородческой" школе достаточно, чтобы дать общее понятие об этой области народного просвещения в России, и не буду останавливаться на таких более мелких эпизодах, как просьбы немецких колонистов юга о введении немецкого языка в их школах, бессарабских молдаван о национальной школе и т. п., но считаю долгом сказать здесь несколько слов об одном из самых проклятых вопросов русской жизни — о еврейском вопросе в школе. Вопрос этот не может быть признан чисто национальным, а разве что этническим, потому что стремление евреев и совершенно справедливое их требование заключается не в создании национальной школы, а в разрешении доступа им в общую школу наравне с другими национальностями, населяющими Россию. Так как каждый еврей, отпавши от веры отцов своих и приняв христианство, тем самым приобретает всю полноту прав для поступления в любое учебное заведение, то вопрос этот можно бы еще точнее назвать "религиозно-этническим", а не национальным. Но так как, с другой стороны, евреи представляют собой, несомненно, особый народ, то я считал себя вправе поговорить о еврейском вопросе по отношению к школе именно в этой главе, трактующей о национальных стремлениях.

Еврейский вопрос в применении к школе не нов и имеет уже свою историю, проследить эту историю не входит в мою теперешнюю задачу, и я ограничусь только некоторыми общими замечаниями. В вопросе о допущении евреев в общую школу издавна существовала у правительства двойственность преследуемой цели, хотя основная мысль была одна. Основная мысль имела в виду не благо самих евреев, а благополучие христиан, благо остальной России, противопоставляемое благу еврейства, двойственность ее заключалась в том, что благо это полагалось, с одной стороны, в уничтожении обособленности евреев через школу, превращении еврея в русского, что должно было бы вести к поощрению евреев поступать в общую школу, а с другой — в охранении христианского юношества от вредного влияния молодых евреев, что должно было вести к противоположному стремлению не допускать евреев в общую школу. Правительство при этом, несомненно, ясно сознавало принципиальную несправедливость отношения своего к еврейской молодежи и находило оправдание только в оппортунистических соображениях о защите интересов христианского населения. Разрешение дилеммы удалось найти в последней четверти девятнадцатого столетия благодаря статистической формуле: исходя из того,

что учебные заведения содержатся на общегосударственные средства, иначе говоря, на всенародные деньги, и принимая во внимание, что еврейское население России составляет менее 5% общего его числа, решили, что, по всей справедливости, еврейские дети и юноши имеют право претендовать на замещение в среднем не более как 1/20 всех вакансий в учебных заведениях, содержимых на общегосударственные средства. Вот та формула, примененная в общих чертах на деле, конечно, с разными уклонениями в обе стороны, т. е. от полного воспрещения приема евреев в одни учебные заведения до увеличения процента, равнявшегося в некоторых случаях десяти и более в других, которая показалась многим даже порядочным и вдумчивым лицам верхом справедливости и беспристрастия.

Как всякая попытка разрешить чисто этически вопрос формальным образом, установление процентной нормы[11] допустимости евреев в школу является, на мой взгляд, самою неудачною и самою опасною мерою, принесшею те злые плоды, которые только и может принести злая мера. Прежде всего, казавшийся составителям проекта столь неопровержимым статистически-справедливый прием касался только одного разряда населения — евреев, оставляя в стороне немцев, поляков, татар и т. д., следовательно, именно на справедливость, требующую прежде всего уравнительности, претендовать не мог. Но затем, что главнее всего, при применении статистического метода совершенно позабыли о целях, преследуемых правительством по отношению к допущению или недопущению евреев в общую школу: если они опасны как элемент дезорганизации, то почему считать 5% не опасным в качестве "фермента", а если желательно слияние еврейства с остальным населением через школу, то, очевидно, процент этот должен бы казаться слишком малым. Я слышал от одного австрийского убежденного антисемита вполне определенное мнение о совместном обучении христианских и еврейских детей. Он и его единомышленники считали это совместное обучение абсолютно вредным и ведущим к полной деморализации христианской школы под влиянием семитической этики. Он предлагал, уверяя, что к этому пришли многие из его единомышленников в Австрии, учредить отдельные гимназии для христиан и для евреев; по окончании гимназии, когда характеры уже достаточно сформировались, он не видел никакой опасности в совместном обучении христиан и евреев в высших учебных заведениях. Против такого решения вопроса можно легко возражать, но ему нельзя отказать в последовательности и в справедливости, раз признается вредное влияние семитической этики на арийца, но наша система допущения "яда" в случайной дозе, определяемой посторонними признаками, просто нелепа.

Предположим, что, придерживаясь своей точки зрения на вред еврейского элемента в школе, правительство поступило бы так, как указывал мой собеседник австриец — какое явилось бы возражение? Только то, что правительство ошибается, и что мера эта не нужна,

так как еврейские дети не могут дурно влиять на христианских и больше ничего. Экономический вопрос не играл бы никакой роли, ибо предположим, что на среднеучебные заведения государством тратится 20 миллионов; оно могло бы давать на еврейские гимназии и реальные училища 5%, т. е. 1 000 000 руб., а если б их не хватило, предоставить евреям самим изыскивать недостающие средства; вот где статистический метод был бы применим вполне справедливо. Если б еврейские средние учебные заведения имели те же права, как и другие, то евреи не могли бы жаловаться на несправедливость, а только оспаривать верность точки зрения правительства; я лично был бы на их стороне, откровенно сознаюсь в этом, так как не верю значению этнических элементов школы, а придаю значение только качествам педагогическим личного состава ее руководителей, но понимаю, что вкоренившиеся предрассудки и расовые увлечения могут, к сожалению, еще влиять на решения многих вопросов человеческого общежития. Правительству, казалось бы, следовало стоять выше этого, а во всяком случае оно должно воплощать идеи высшей, а не формальной только справедливости.

Конечно, при таком решении вопроса во всей силе встало бы возражение: "Этой мерою, т. е. созданием особых еврейских гимназий, поддерживается обособленность еврейства, являющаяся одним из самых серьезных зол, и приходится отказаться от стремления слить его с коренным населением, что является одной из целей, преследуемых правительством. Но против такого возражения не знаешь даже, что сказать. Как правительство, доведшее до минимума прием евреев в общие учебные заведения, уверяет, что оно стремится к слиянию их через школу с остальным населением? Это похоже на насмешку, на издевательство над несчастным племенем, и я считаю для себя лишним серьезно заняться разбором этого возражения при существующих данных.

Итак, правительство говорит: "Считая присутствие слишком большого числа евреев в школе вредным для остальных учеников, я допускаю их в ограниченном числе, с тем, чтобы они тесно слились со своими товарищами и потеряли свои специфические вредные качества; число таких вредных, но могущих быть исправленными средою семитов я устанавливаю в зависимости от процентного отношения еврейского элемента к прочему населению всей страны..." Посмотрим, какой результат получается из этого "соломонова" решения. Благодаря закону о процентной норме в младшие классы поступают только исключительно счастливчики из евреев, или блестяще выдержавшие конкурсный экзамен, или по особой высокой протекции; с самого начала мальчик считает себя по всей справедливости человеком исключительным, особенно умным или важным; но, попав в товарищескую среду, ему необходимо обладать особым тактом, чтобы не выказать самомнения: уже не говоря о грубых детях, которые рады издеваться над "жиденком" и предлагать ему колбасы и свинины, нигде так не разви-

та зависть к успехам, как именно в младших классах. Более тонкие натуры из христиан, напротив, принимают евреев под свое покровительство; и вот на этой антипедагогической почве пререканий по поводу достоинств и недостатков евреев, причем сторонники их чувствуют себя передовыми героями, стоящими выше предрассудков, протекает жизнь еврея в школе. При этом ему известно, сколько других сверстников евреев, между которыми бывают и родные его братья, были менее счастливы и не попали в гимназию, хотя и выдержали экзамен гораздо лучше христиан, благодаря все той же проклятой процентной норме. Что, кроме возмущения против правительства, может возбуждать в нем мысль об этом? Наиболее близкие к нему товарищи христиане совершенно с ним в этом отношении солидарны, а антисемитические элементы в школе, а такие почти всюду существуют, только разжигают это чувство. При таких условиях присущее большинству молодежи благородство само по себе должно помешать ассимилироваться, а побуждает, напротив, подчеркивать из гордости и назло другим свои особенности. Если даже признать возможным спор относительно практичности установления процентной нормы с государственной точки зрения, то едва ли найдется защитник ее в педагогическом отношении.

И сказанного было бы достаточно для того, чтобы получить отвращение к принятой системе нормировки числа евреев в школе, если б к этому не прибавлять еще привходящее обстоятельство, еще более сгущающее краски гонения на иудеев. Дело в том, что, всемерно затрудняя для евреев поступление в учебные заведения, правительство вместе с тем сулит им за окончание высших учебных заведений максимум привилегий, которых еврей может достичь в России, а именно, право повсеместного жительства и свободу избрания профессий. Созданное нашим правительством для евреев положение создавало в моем воображении такую картину: сидит сотня голодных людей, причем они знают, что за стеною находится склад дарового хлеба, и несколько булок лежит у них даже на виду на самой стене; чтобы помочь голодным забраться на стену, добрый человек подставил жердь, по которой все стремятся взлезть, но благодетель позволяет взбираться только поодиночке и с разбором; удастся взобраться одному, много двум, а остальным предоставляется облизываться и щелкать зубами. Немудрено, что голодные грызут самый камень стены, отделяющий их от жизни.

Установивши такую "либеральную" привилегию для дипломных евреев, правительство, очевидно, нашло, что слишком широко раскрыло двери для получения евреями гражданских прав; поэтому оно решилось поставить второй барьер на пути их освобождения от стеснений, установив вторую процентную норму для поступления из средних в высшие учебные заведения. Необходимость установления таковой, с антисемитической точки зрения, естественно вытекала из следующих фактов и соображений. Благодаря конкурсной системе в

гимназии попадают преимущественно наиболее способные из еврейских детей; поэтому вообще они занимаются более чем удовлетворительно; но затем каждый еврейский гимназист знает, что, раз попавши в учебное заведение, от его собственных усилий зависит приобретение человеческих прав, и юный еврей старается, тянется из всех своих сил, чтобы не провалиться ни на одном экзамене, чтобы быть одним из лучших учеников. Результатом является то, что, тогда как христианские дети проваливаются на переходных экзаменах, отстают и в большом количестве выбывают до окончания курса, еврей, раз поступивши, в громадном большинстве случаев дотягивает до конца и обыкновенно, нигде не застрявши, проходит весь гимназический курс в положенное число лет. Для ясности положения приведу пример. Предположим, что в гимназии — 600 учеников, причем в приготовительном классе — 100, в 1-м — 120, во 2-м — 100, в 3-м — 80, в 4-м — 70, в 5-м — 50, в 6-м — 35, в 7-м — 25 и в 8-м классе — 20 человек, на 600 человек учеников при норме 5% может быть 30 евреев. За отсутствием вакансий, прием в приготовительный и первых два младших класса прекращен; следовательно, все 30 еврейских вакансий распределятся на шесть классов, с 3-го по 8-й; для простоты предположим, что прием евреев из года в год в 3-й класс оставался одним и тем же; так как ни один еврей не оставался второй год в классе, то во всех шести классах будет одинаковое число их, т. е. (30:6) — 5 человек; таким образом, в 3-м классе их будет около 6%, в 5-м 10%, а в 8-м 25% общего числа учеников данного класса, хотя общее процентное отношение евреев во всей гимназии не превысит нормы (30:6 сотен) 5%. Конечно, ради ясности я взял грубый пример, не встречающийся в действительной жизни, но думаю, что он для читателя, умеющего читать, довольно точно выяснит положение; можно предположить, что в гимназии не 600, а 700 человек, что евреи в них распределены неравномерно, и все же окажется, что, тогда как в низших классах их будет каких-нибудь 3%, за отсутствием еврейских вакансий, в 8-м их окажется 10% по отношению к общему числу гимназистов этого класса. Таким образом, получился тот знаменательный факт, что, тогда как процентная норма евреев в средних учебных заведениях оставалась на прежней низкой цифре, эта цифра поразительно возросла по отношению к абитуриентам, оканчивавшим средние учебные заведения и получавшим аттестаты, по закону открывавшие им двери высших учебных заведений, а следовательно, для евреев широкий путь для достижения общегражданских прав. Результат этот совершенно не соответствовал видам правительства, а потому оно и тут, позабыв всякие соображения справедливости и права, объявило, что устанавливает особую процентную норму для приема евреев в высшие учебные заведения. Такое грубое решение вопросов сразу устанавливало различное юридическое значение одного и того же аттестата среднего учебного заведения в зависимости от того, какую религию исповедовал

его собственник: для христианина аттестат этот давал непреложное право поступления в высшее учебное заведение, для еврея он являлся лотерейным билетом, на который только мог пасть выигрыш в виде этого права, причем, как во всякой лотерее, предсказать результат тиража не было возможности.

Можно себе представить всю сумму горечи, накапливавшуюся против правительства как среди сотен ежегодно отталкиваемых от заветной цели юношей, так и среди их родственников и близких знакомых. Число несчастливцев с каждым годом росло, постоянно пополняясь новыми жертвами мудрой предусмотрительности придворных антисемитов. Даже теперь, когда я пишу об этом, у меня невольно подымается чувство негодования: мера эта придумана как будто не людьми, а какими-то врагами рода человеческого; и надо отдать справедливость русскому юношеству: мне не приходилось встречать абитуриентов христиан, которые не относились бы с негодованием к судьбе своих товарищей евреев. И жертвы правительственного антисемитизма могут найти себе утешение в том сознании, что их страдания и унижение дали добрый плод, уничтожив в зародыше антисемитизм в среде учащегося юношества, которое никогда не помирится с грубою и кричащею несправедливостью и издевательством над товарищами.

Ввиду моих убеждений по отношению к еврейскому вопросу, вполне понятно, что я делал все, что лично от меня зависело, чтобы помочь евреям в отдельных конкретных случаях: где прием сверх нормы зависел от решения министра, с моей стороны никогда отказа не было. Но в том-то и дело, что корректив в виде министерского соизволения был немногим лучше самого зла, так как заставлял молодых евреев унижаться и получать в виде милости то, чего они имели нравственное право требовать. Поэтому я решился внести в Совет министров записку следующего содержания.

В 1886 г. Комитет Министров по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению рассматривал всеподданнейший отчет за 1885 г. о состоянии Харьковской губернии. В отчете этом Харьковский губернатор указал на значительный наплыв в школу лиц еврейского происхождения, которые, внося в среду учащихся материалистический взгляд на образование, не могут оказывать благотворного влияния на русскую молодежь[12]. Комитет Министров, приняв во внимание, что вопрос о мерах против переполнения учебных заведений евреями поручен был рассмотрению особой комиссии по пересмотру действующих о евреях узаконений, и не считая возможным предрешать мероприятия, вырабатываемые этою комиссиею, и устанавливать какие-либо общие по этому предмету правила, признал целесообразным предоставить Министру Народного Просвещения принимать по ближайшему его, Министра, усмотрению частные меры по ограничению приема евреев в подведомственные ему высшие и средние учебные заведения[13].

Приведенное положение Комитета Министров удостоилось 5-го декабря 1886 г. ВЫСОЧАЙШЕГО утверждения.

Затем, рассматривая в 1887 г. предложения Министра Народного Просвещения о мерах к упорядочению состава учащихся в средних и высших учебных заведениях сего министерства, Комитет Министров в журнале своем от 6-го июня 1887 г. высказал, что опубликование во всеобщее сведение ограничительных постановлений относительно приема евреев в высшую и среднюю школу могло бы быть неправильно истолковано, и что цель правительства — оградить учебные заведения от наплыва лиц иудейского вероисповедания — может быть достигнута с большим успехом путем частных распоряжений министра, согласно потребностям отдельных местностей или отдельных учебных заведений.

Согласно с приведенными соображениями Комитета Министров, Министерство Народного Просвещения циркулярным распоряжением от 1-го июля 1887 г.[14] предложило с начала 1887–1888 учебного года принимать в студенты высших учебных заведений лиц иудейского исповедания со следующими ограничениями: в высшие учебные заведения, находящиеся в черте еврейской оседлости, в количестве 10%, в высшие учебные заведения столиц в количестве 8% и во все остальные высшие учебные заведения в количестве 5% общего числа вновь принимаемых студентов[15]. В 1901 г. распоряжением Министра Народного Просвещения генерал-адъютанта Ванновского процентная норма была понижена с 10 до 7%, с 5 до 3% и с 3 до 2%, но затем распоряжениями тайного советника Зенгера в 1902 и 1903 гг. во всех высших учебных заведениях была вновь восстановлена действовавшая до 1901 г. норма. В одном лишь Харьковском технологическом институте ограниченный прием евреев установлен особым ВЫСОЧАЙШИМ повелением 7-го июня 1885 г., внесенным в виде примечания 2 к ст. 1151, т. II, ч. I Свод. Зак. 1893 года.

Из сказанного видно, что ограничение лиц иудейского исповедания в праве поступать в высшие учебные заведения было установлено, кроме Харьковского технологического института, не в законодательном, а в административном порядке, а именно, распоряжением Министров народного просвещения, основанным на ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном 5 декабря 1886 г. положении Комитета Министров, нигде не опубликованном. Между тем проведенная мера, существенно ограничивающая права значительной части населения, вызывает острое неудовольствие этого населения, которое видит в этих стеснениях, не установленных законом, проявление административного произвола. Этот характер произвола находит себе подтверждение и в неоднократных изменениях процентной нормы, а равно и в тех отступлениях от нее в пользу отдельных лиц и групп, которые допускались и допускаются в зависимости от личных взглядов отдельных министров.

Опыт применения указанных мероприятий не оправдал возлагавшихся на них надежд. Если высшие учебные заведения и были до известной степени избавлены от наплыва еврейской молодежи, то, с другой стороны, неудовольствие, порождаемое этими мерами, нередко служило поводом к студенческим волнениям и, во всяком случае, не способствовало установлению в этих заведениях нормального хода жизни. Между тем еврейская молодежь, приобретшая окончанием курса средней школы право на поступление в высшие учебные заведения, но лишенная этого права административным распоряжением учебного начальства, вступает в практическую жизнь с чувством обиды и вражды к ограничивающей ее права государственной власти. Этими озлобленными элементами пополнялась и поддерживалась революционная партия, и в то же время высшие учебные заведения, огражденные от наплыва евреев, оказались, как показали поздние события, не огражденными от действия революционной пропаганды.

Таким образом, следует признать, что вышеприведенная мера, с одной стороны, не основана на законе и даже противна духу нашего школьного законодательства, которое устанавливает доступ в школу без различия сословий и вероисповеданий, а с другой стороны — несправедлива, практически бесплодна и даже вредна.

На основании приведенных суждений Министр Народного Просвещения полагал бы отменить все особые правила, ограничивающие права евреев при поступлении в высшие учебные заведения ведомства Министерства Народного Просвещения.

Как можно было ожидать, голоса в Совете по поводу моей записки разделились: хотя большинство с графом Витте и князем Оболенским во главе высказались в мою пользу, меньшинство решительно оппонировало. Особенно против записки ратовал П. Н. Дурново, указывая главным образом на несвоевременность меры. Он говорил приблизительно следующее: “Я лично не враг евреев, многих евреев лично знаю и уважаю; когда ко мне обращаются лично евреи — я обыкновенно выполняю их просьбы как по поводу разрешения жительства вне черты оседлости, так и по поводу поступления в учебные заведения сверх нормы. Кто Вам мешает разрешать все отдельные случаи в утвердительном смысле? Это Ваше право, и я решительно ничего не имел бы против его осуществления Вами. Но решать вопрос огульно теперь я считаю капитальною ошибкою: мы даже не знаем, как отнесется Гос. дума к еврейскому вопросу; что касается теперешнего настроения, то поверьте, что врагов еврейства, антисемитов гораздо больше в России, чем Вы думаете. Опубликование во всеобщее сведение распоряжения правительства о свободном допущении евреев в высшие учебные заведения невыгодно в политическом отношении: оно подымет бурю негодования в широких кругах и поведет к новым серь-

езным беспорядкам. Ручаюсь за это головою, всею моею административною опытностью." Несмотря на все мои и других членов Совета возражения, Дурново остался на своем, к нему присоединилось еще несколько членов, и результатом оказалось то, что мемория Совета была составлена с разногласием и в таком виде была послана председателем на благовоззрение Государя. Понятно, что она вернулась с резолюциею в том смысле, что вопрос имеет быть отложен до Государственной думы.

* * *

В настоящей главе я постарался дать картину того положения, которое занимал в 1905/06 году национальный или, точнее, с русской точки зрения инородческий вопрос в школе. Решаюсь в заключение сказать несколько слов о том, как я лично смотрю на него.

Прежде всего должен сказать, что, по моему убеждению, всякие попытки уничтожить какую-либо национальность, превратить одну национальность в другую всегда и всюду окажутся тщетною мечтою, так как все эти попытки имеют в виду недопустимую цель. Если такие сильные и культурные нации, как немцы и англичане, ничего до сих пор не могли поделать ни с поляками, ни с чехами, ни с венгерцами, ни с ирландцами и т.д., то едва ли русское правительство когда-либо сможет русифицировать поляков, финнов, латышей и литовцев. Но если вообще стремление претворить одну национальность в другую должно считаться, по моему убеждению, безумным по своей безнадежности, то все старания сделать школу проводником этих стремлений я считаю преступлением, извиняемым только недомыслием и недостаточною вдумчивостью. Та сумма озлобления и нравственных мучений, которая накапливается от всегда грубых, по необходимости, приемов фабрикации неискренних "патриотов" из инородных детей, сама собою является достаточным поводом для поддержания ирредентистских идей и ненависти родителей к насильникам. Пусть читатель представит себе Россию, завоеванную Германиею, причем немцы ввели ту школьную систему германизации, которую мы применяли до сих пор в Польше. Вообразите, что нашим детям запрещают в гимназии говорить между собою по-русски, что в школе идет сплошное восхваление Германии, что история преподается в смысле возвеличения всего немецкого и позорения всего русского, что по окончании курса в гимназии их заставляют заканчивать свое образование в немецких университетах, что чтение Пушкина и Гоголя считается предосудительным и заставляют зубрить Шиллера и Гердера. Какие бы получились из этой системы результаты? Я думаю, что, кроме ненависти ко всему немецкому, такая система ничего бы не достигла: мы стали бы учить наших детей по-русски у себя дома, старались бы разжечь в них любовь к родине, не скрывали бы перед ними нашей ненависти к немцам-насильникам, и, я думаю и даже уверен, что у самых безразличных в национальном отношении людей развился бы горячий русский патриотизм. Мне кажется очевидным, что путем

насилия в школе никогда никакой русификации достигнуть не удастся и систему эту нужно бросить: пусть дети учатся на том языке, на котором желают, чтобы они учились, как их родители. Другое дело — дать возможность и поляку, и литовцу, и финну основательно изучить государственный, т. е. русский, язык, и конечно, если сами родители финских или польских детей нашли в утилитарных соображениях полезным для них получение русского образования, препятствовать этому и даже не помочь было бы безумием; только происходить это должно по доброй воле, а не искусственным путем. Поэтому во всех местностях со сплошным инородческим населением необходимо иметь достаточное количество школ с государственным языком преподавания, могущим обслуживать интересы как местных русских учителей, так и тех же инородцев, которые пожелали бы дать своим детям русское образование; кроме того, в инородческой школе русский язык, как предмет преподавания, должен быть поставлен в интересах самого населения достаточно солидно, чтобы дать практические результаты в смысле умения говорить и писать на государственном языке. Конечно, в настоящее смутное время трудно предвидеть, что станет с Россией, и невольно приходится опасаться, не расползется ли великая империя по всем швам. В последнем случае говорить, конечно, о каких-либо системах, да и вообще о том, что будет и что желательно, совершенно излишне и даже комично; но я пока вправе сделать предположение, что Россия сохранится как государство, и что единство ее, хотя и с предоставлением, в неизвестных нам пока пределах, автономии отдельным областям или народностям не будет нарушено. Так вот, в последнем случае мне представлялась бы следующая картина народного образования.

Преподавание в низшей школе — везде исключительно на родном языке большинства населения; там, где население смешанное — обязательно существование школ с преподаванием на языке каждой народности, входящей в состав населения, если народность эта имеется в достаточном количестве для снабжения школы контингентом учащихся в 40-50 человек; я говорю об официальной, казенной или общественной школе, так как частная может быть открыта хотя бы и на 5-10 учеников или учениц. Так как по моему убеждению начальное образование обязательно должно быть субсидировано государством, и субсидия эта должна заключаться в обеспечении учащего персонала минимальным жалованьем, ниже которого оно не должно быть (см. гл. 5, стр. 111-123), то я считаю справедливым, чтобы субсидия назначалась тем школам, где учителя или учительницы, ведя преподавание на местном языке, учили детей также и общегосударственному, т. е. русскому, языку, конечно, в пределах возможного и не форсируя этого предмета сверх нужды. Школы совершенно без преподавания русского языка должны быть также свободно допущены, но субсидию от казны они получать не должны, а поддерживаются исключительно на местные средства.

Средние учебные заведения в местностях с инородческим населением могли бы делиться на три категории: 1) с преподаванием на государственном, т. е. русском, языке, 2) с преподаванием на местных языках, но с достаточным, по определению Министерства народного просвещения, преподаванием русского языка и 3) с преподаванием исключительно на местных языках, с преподаванием русского языка как второстепенного предмета или даже совсем без этого преподавания.

Из этих трех категорий чисто казенными, содержимыми на средства общеимперской казны, могут быть только учебные заведения первой. Вторая категория может представлять собою два типа: в первом обучение на местных языках ведется до 3-го или до 4-го класса, затем в высших классах переводится к преподаванию на русском языке, когда дети в младших классах достаточно с ним освоятся; во втором — преподавание на местных языках ведется целиком до конца, но русскому языку отводится достаточное для основательного его изучения число часов, причем в виде вспомогательного средства, могло бы вестись на русском же языке преподавание русской истории и географии России. Учебные заведения второй категории, содержась на местные средства, могли бы пользоваться субсидиями от казны в бóльших или меньших размерах в зависимости от результатов преподавания вообще. Наконец, третья категория, с преподаванием исключительно на местных языках должна содержаться исключительно на частные средства. Педагогический персонал первой категории обязательно пользуется всеми правами государственной службы, второй категории — факультативно, т. е. по отдельному для каждого учебного заведения рассмотрению вопроса, а третьей категории — правами общегосударственной службы пользоваться не может, а только правами местной, хотя бы общественной службы (это должно находиться, впрочем, в полной зависимости от размеров будущей областной автономии).

Высшие учебные заведения, содержимые казною, могли бы быть русскими, но с широким допущением копирования на местном языке. Рядом с казенными следует допустить основание самым обеспеченным способом частных и общественных высших учебных заведений с чтением лекций на любом языке.

Вот моя схема. Повторяю, если России суждено остаться единым государством, то, естественно, придется признавать государственное значение русского языка в качестве одного из главных связующих звеньев между различными народностями, населяющими ее. В этом отношении справедливо и не возбудить даже особых претензий, если со знанием русского языка будут соединены или этим знанием будут обусловлены известные гражданско-государственные права. Так, сокращение срока службы в войсках (см. гл. 4, стр. 106) могло бы быть обусловлено для инородцев минимальными познаниями, установленными для субсидируемых казною низших учебных заведений; точно так же право поступления на государственную (на общественную)

службу должно бы было быть обусловлено отличным или по крайней мере вполне удовлетворительным знанием русского языка. Дальше этого идти нет никакой нужды: само население отлично разберется в том, что ему нужно и что составляет ненужное мучение для детей.

В главе 4 я уже говорил о желательности, с моей точки зрения, выделения экзаменационных комиссий из учебных заведений, даже казенных. В вопросе об инородческой школе такое выделение облегчило бы разрешение его, так как если бы с выдержанием этих экзаменов были сопряжены какие-то права (например, поступления во все высшие учебные заведения Империи), то дело каждого родителя — обсудить вопрос, желает ли он, чтобы его ребенок приобрел эти права, а также вопрос о том, в каком заведении или каким способом вне учебного заведения подготовить его лучше к экзаменам. Но все это касается прав, оставляя собственно педагогический принцип, а также национальные чувства нетронутыми. Так как права государственной службы будут, несомненно, рано или поздно приобретаться в России не аттестатами учебных заведений, а особым государственными или, еще лучше, ведомственными экзаменами, то в этом отношении инородческая школа будет вполне приравнена к русской и никаких претензий по этому поводу предъявлять не будет вправе.

В заключение считаю нужным подчеркнуть, что доступ евреев и каких бы то ни было иных иноверцев или инородцев, конечно, должен быть ничем не стесняем в государственных школах всех ступеней.

7. В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

В своем месте (гл. 1) я рассказал, как я был приглашен занять пост Министра народного просвещения. Положение Витте при составлении кабинета было не из легких. Одушевленный наилучшими намерениями, смело став на сторону тех, которые признавали необходимым реформирование всей правительственной системы в конституционном духе, в смысле преобразования России из абсолютной монархии в правовое государство, он взял на себя всю ответственность перед Государем и страною за исторический акт, выразившийся в Манифесте 17 октября и Высочайше одобренной объяснительной записке к нему, официально называвшейся Всеподданнейшим докладом статс-секретаря Витте "по вопросу об объединении деятельности министров". Под этим скромным заглавием была изложена целая программа деятельности правительства, программа широкая и чрезвычайно либерально настроенная. Сам Витте придавал этой записке больше значения, чем самому Манифесту, и неоднократно говорил и мне лично и другим в моем присутствии, что предпочел бы, чтобы Государь, предварительно подписания Манифеста, позволил издать во всеобщее сведение именно эту записку и, только убедившись в произведенном впечатлении, подписал бы самый Манифест. Граф Витте уверял, что он даже просил об этом Государя, но что Его Величество предпочел одновременное издание обоих документов[1]. Я имею основание полагать, что Витте действительно сделал такое предложение, но не настаивал энергично на нем, а предоставил Государю самому решить вопрос, представивши аргументы за и против одновременного опубликования обоих документов.

Как бы то ни было, рубикон был перейден, и с 18 октября граф Витте предстояло направить все свое умение и свою энергию на осуществление всего обещанного накануне этого знаменательного дня. Перечитывая Манифест 17 октября и доклад, всякий поймет, что Витте охватило, с одной стороны, чувство гордости по поводу того, что это имя будет отныне связано в истории с превращением России одним росчерком пера в правовое государство, а с другой — уверенность, что он заслужил благодарность сограждан и воздвиг себе "памятник нерукотворный". Избалованный успехами своей финансовой политики и удачею при недавнем заключении мира с Японией, сделавшими его одним из известнейших и отчасти популярнейших государственных деятелей всего образованного мира, он несомненно был убежден, что венчает свою карьеру инициативою в акте, который явится источником счастья и величия Родины и самого Государя. Витте был слишком умным человеком, чтобы воображать, что все пойдет гладко и что

Манифест вызовет одни восторги и дружную работу всей страны в деле осуществления новых идей, но, конечно, не предчувствовал размеров скандалов и революционного озлобления, охвативших страну вслед за изданием актов, долженствовавших, как он думал, успокоить недоверие сознательных элементов населения. Что Витте предвидел, что не все пойдет гладко, что крайние элементы как справа, так и слева будут подставлять правительству ножку, видно из некоторых мест записки его. Так, перечисляя руководящие принципы, которым впредь должно следовать правительство, он указывает на пять основных положений:

1. Прямота и искренность в утверждении на всех поприщах благ гражданской свободы, даруемых населению, и установления гарантий свободы.

2. Стремление к устранению исключительных законоположений.

3. Согласование действий всех органов правительства.

4. Устранение репрессивных мер против действий, явно не угрожающих обществу и государству.

5. Противодействие действиям, явно угрожающим обществу и государству, опираясь на закон, и в духовном единении с благоразумным большинством общества.

Из текста пункта 5 и из подчеркнутых мною слов можно с несомненностью заключить, что автор доклада предвидел “противодействие”; столь же ясно обнаруживаются опасения его в заключительных словах доклада: “следует верить в политический такт русского общества, так как немыслимо, чтобы русское общество желало анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением государства”. Автор записки явно выдает свой страх перед наступлением “немыслимого”, иначе не стоило громко утешать себя и других подчеркиванием своей веры в такт (?) русского общества, с которым он приходил в достаточно близкое соприкосновение, чтобы вернее судить о нем: я думаю, что русскому обществу можно приписывать все, что угодно — добродушие, доброту, терпение, разум, но только не такт. В этом прежде всего и немедленно же после опубликования Манифеста пришлось убедиться графу Витте, и притом в такой форме, которая наложила, несомненно, печать на всю эту его последующую полугодовую деятельность.

Все помнят дикий взрыв политических страстей, последовавший по всей России вслед за 18 октября, громкое заявление недоверия правительству, которое заподозривалось в фальшивой игре, грубые манифестации, дошедшие до вооруженных восстаний и до всеобщей забастовки, в которую были вовлечены даже агенты правительства. Даже акт трогательного в другое время милосердия — амнистия 21 октября, освободившая массу политических заключенных и эмигрантов, подлила только масла в огонь, так как огромная часть освобожденных, очутившись на свободе, моментально пристала к революционному движению, не чувствуя ни малейшей благодарности к правительству, так что и эта благая сама по себе мера тоже повернулась против него[2].

Граф С. Ю. Витте был, несомненно, поражен полученными результатами: хотя он и был довольно хорошо осведомлен относительно оппозиционного настроения широких кругов населения, но ожидал, что либеральные намерения правительства, возвещенные в торжественной форме и подкрепленные таким убедительным и, несомненно, смелым по времени шагом, как амнистия, освободившая тысячи противников старого режима, привлечет к правительству сторонников, на которых можно было бы опереться. В частности, выраженное во Всеподданнейшем докладе твердое намерение правительства "уравнять перед законом всех русских подданных, независимо от вероисповедания и национальности" путем нормальной законодательной разработки вопроса, должно было, как был уверен Витте, привлечь на сторону его инородческие массы, и в частности евреев как наиболее обойденную в правах часть населения. Эти надежды рухнули с небывалым треском, причем никто, казалось, не хотел даже дать себе труда проверить искренность намерений правительства, положить хотя бы несколько дней, чтобы убедиться, что Витте не ведет двойной игры. Верили в намерения правительства вполне только заклятые враги нового порядка вещей, к которому стремился Витте с совершенной искренностью, как я мог подтвердить вполне сознательно, т. е. верили те, которые считали долгом совести и убеждений помешать осуществлению плана реформ: с одной стороны, социалисты и анархисты, а с другой — реакционеры и крайние консерваторы. Первые считали, что введение парламентаризма и начал правового порядка должно было отдалить осуществление на практике их теорий, а между тем условия исторической минуты казались им как нельзя более выгодными для того, чтобы попытаться провести на практике свои учения; а вторые в предполагаемых реформах видели конец своему влиянию, крушение всех своих идеалов, не лишенных практической прелести. Вся масса русских граждан, не принадлежащая к партиям и не привыкшая не только к политической жизни, но даже и к мышлению на политические темы, вначале инстинктивно готова была принять обещания правительства с восторгом, но, не будучи организована, не находя точки опоры для своей веры в лучшее будущее, быстро была сбита с толку крайними в ту и другую сторону партиями. Нетрудно было убедить не один народ, но и интеллигентные круги, что правительство сулит журавля в небе, а синицы и той из рук не выпустит, причем одни утверждали, что правительство никогда ничего не даст, если народ сам насильно не заставит его, а другие — что Витте работает исключительно на пользу "жидов", которым только и хочет дать все и, сделавши это, покажет "шиш" русскому народу, продавши его инородцам[3]. Как известно, самые торжества по поводу Манифеста 17 октября удалось "сознательным" элементам обратить в грандиозные антиправительственные демонстрации, а попытка монархистов и консерваторов устроить контрдемонстрации повели к отвратительной междоусобной бойне. Газеты, воспользовавшись оторопью правитель-

ства и действительным его намерением освободить прессу от излишних стеснений, развили настоящую сарабанду, обливая правительство самыми вонючими помоями, и заботились только о том, как бы похлестче отомстить ему за все прежние стеснения, а также, не считаясь с правдою и этикою, поднести читателю возможно более сенсационные новости, в самом необычном для России и по форме и по содержанию освещении, что весьма содействовало розничной продаже.

Хотя С. Ю. Витте честно вначале боролся с тем впечатлением, которое на него должно было произвести и действительно произвело это полное непризнание всех его намерений и планов, он не мог, однако, реагировать на тот кошмар, который нарушил его грезы о светлом и счастливом будущем России, и грубая действительность, столь внезапно и беспощадно с самого начала испортившая теоретически составленный план мирного расцвета Родины, наложила печать на его дальнейшую деятельность и на самое направление его мыслей.

Нельзя сказать, чтобы он сразу потерял всякую надежду на более спокойный переход от полудиких к цивилизованным формам, доказательством чему служат, между прочим, его старания найти поддержку в представителях передового общества, еще не увлеченных революционною волною, а также то необычное для России явление, что он, первый сановник в Империи, пользовался всяким случаем, чтобы лично переговорить с представителями самых крайних элементов. Приглашенные им общественные деятели, охраняя свою чистоту, категорически отказались войти в состав министерства, а радикалы и революционеры, которых он принимал у себя запросто, приписывали свой вызов к нему его растерянности и своему значению, своей силе в данный момент, а потому менее всего были склонны к уступчивости[4]. Наконец, издатели и редакторы газет, которых Витте попытался склонить к поддержке правительства в этот важный психологический момент, ответили на его скромные просьбы почти единодушным игнорированием не отмененных еще законов о печати и самыми бесцеремонными нападками лично на него и на правительство, всеми силами поддерживая недоверие к обещаниям, требуя немедленного осуществления того, что за месяц перед тем никому и не снилось, кроме фантазеров революции[5].

Но и тут, несмотря на невероятную оскорбительность многих статей, лично против него направленных, на гнусную непристойность некоторых карикатур, появившихся сотнями под названием сатирических или юмористических, журналов, поэтических иллюстрированных листков, нагло вторгавшихся даже в его семейную жизнь, Витте не решался принимать репрессивных мер, а когда наконец и признал их необходимость, то всегда защищал в Совете министров принцип, что нападки на него и на министерство должны быть терпимы, а преследовать должно только за оскорбление Его Величества, за нападки на армию, за призыв к восстанию. То, что я здесь говорю, может легко быть проверено всяким, кто даст себе труд просмотреть хотя бы

в Публичной библиотеке коллекцию номеров этих, с позволения сказать, "журналов"[6]. Широкий либерализм, которого в октябре, ноябре и отчасти в декабре еще придерживался Витте по отношению к печатному станку, было своеобразно оценено издателями, державшимися правилами carpe diem* и не стеснявшимися никакими этическими или даже иногда просто человеческими соображениями для того, чтобы воспользоваться моментом и лягнуть побольнее, удовлетворяя грубые инстинкты толпы. Революционные элементы радовались новому в России явлению, следуя известной пословице "calomniez, calomniez: il en restera toujours quelque chose"** и видя, как безнаказанность наглости укрепляет и в публике и в простонародье убеждение в бессилии правительства, не могущего защитить самое себя.

Я счел нужным напомнить обо всем этом для того, чтобы читателю моих воспоминаний стала понятна деятельность Совета министров под руководством Витте, которая с первого взгляда может представиться непоследовательною, а иногда и совсем странною.

Позволю себе в двух словах охарактеризовать первоначальное положение "кабинета" или, вернее, председателя его к тому времени, когда я был призван в состав министерства. Итак, Витте представил Государю проект широких либеральных реформ, одобренных Его Величеством после уверений Витте, что они одни в состоянии вывести страну из состояния скрытой революции. Не успев еще приступить к ним, он встречается с явно выраженным к нему лично недоверием, отказом общественных деятелей вступить с ним в союз и с новым взрывом оппозиционного движения, приближающегося к откровенной анархии, причем поддержки он ниоткуда не видит.

Что было ему делать? Не мог же он идти к Государю, скажем, 24 или 25 октября с такою речью: "Я, Ваше Величество, ошибся, ручаясь неделю тому назад, что опубликование либеральных намерений Ваших успокоит Россию; теперь я вижу, что без строгости ничего не сделаешь, а потому соблаговолите объявить, что Вы отказываетесь от Ваших предположений." Не мог он тоже немедленно проситься в отставку, "заваривши кашу", которую приходилось расхлебывать почти одному, за дружным отказом помочь ему в этом опасном деле. Он решился идти напролом и испросил амнистию. И в этом последовательном акте увидали не принципиальную меру, а только признак слабости, вынужденную уступку, признак грядущей победы революции, и ответили попыткою к всеобщей забастовке, а затем и вооруженными восстаниями... Взявши на себя инициативу нового курса внутренней политики, будучи ответственным перед Государем лицом за последствия выработанного плана, он обязан был прежде всего, хотя бы и пожертвовав собою и своею репутациею, подавить анархию, исправить то, что могло быть приписано его ошибкам, ложной оценке им данных русской жизни. Ноябрь и декабрь и были им посвящены борьбе с гидрою забастовок и восстаний; когда к концу декабря удалось справиться окончательно с московским восстанием, Витте тотчас попросил

об отставке, которая, однако, Государем принята не была. К этому времени сложилось уже довольно общее убеждение, хотя и основанное на совершенно противоположных у отдельных партий и лиц мотивах, что он неспособен вывести Россию из беды и что политика его неумелая, фальшивая. Сам Витте почти ничего не предпринимал, чтобы опровергнуть это мнение, и, напротив, сам подтверждал его, не давая себе труда скрывать совершенно естественные сомнения свои и колебания. Доверие Государя к нему тоже было сильно, если не окончательно, поколеблено, и я почти уверен, что он в январе получил бы отставку, если б не одно обстоятельство: ко всем бедам, обрушившимся на Россию, прибавилась еще одна, при данных обстоятельствах почти роковая, — приближающееся финансовое банкротство[7]. Нужно было во что бы то ни стало достать денег, а достать их можно было только путем грандиозного внешнего займа. Психологический момент был исключительно серьезен: правительство осознавало, что финансовое банкротство страшно осложнило бы его борьбу с революциею и даже, может быть, сделало бы ее почти невозможною, но противная сторона держалась почти того же мнения. Поэтому, проигравши ставки на всеобщей забастовке и на вооруженном восстании, крайние революционные элементы все свои силы направили на финансовое разорение страны, и к ним присоединились в этом случае более умеренные круги (видевшие в революции не цель, а только крайнее средство борьбы с правительством) в лице сорганизовавшейся окончательно к этому времени партии конституционалистов-демократов (так наз. кадетов). В этой новой борьбе, которую пришлось выдержать Витте со своими противниками, были пущены в ход самые неразборчивые средства, и надо только удивляться, как многие честные люди, составлявшие, несомненно, большинство кадетской партии, не брезговали в борьбе с правительством самыми подлыми приемами, как ложь, обман, клевета, извиняя себя тем, что борются с правительством его же излюбленными средствами[8]...

Как я сказал раньше, думаю, что Государь уже в декабре или январе уволил бы Витте, к которому потерял доверие, если бы не необходимость заключения внешнего займа; в финансовых вопросах Витте продолжал считаться авторитетом, и, совершенно в данном случае основательно, существовало убеждение, что он один пользуется достаточными связями и достаточным доверием в заграничном финансовом мире для того, чтобы организовать заем в потребных размерах. Государь, очевидно, разделял это убеждение и был вполне в курсе дела, а потому потребовал от Витте, чтобы он остался на своем посту до заключения внешнего займа. Ему оставалось только повиноваться этому приказанию, в сознании принятой на себя тяжкой ответственности перед Государем и страною, и он с лихорадочным рвением взялся за осуществление нелегкой задачи. На его беду начало его хлопот о грандиозном займе совпало с политическими осложнениями в Европе: Марокксский вопрос чуть-чуть не повел к разрыву между

Франциею и Германиею, весь Запад предвидел возможность возникновения колоссальной европейской войны. До успокоения никто в Европе о займе и говорить не хотел. Как известно, инцидент был улажен не без участия России, но вопрос о займе затянулся на месяцы, и деньги удалось получить в апреле, накануне самого открытия Государственной думы[9]. Тотчас после заключения займа Витте возобновил просьбу об увольнении и вместе со всеми нами получил отставку. Этой отставке я намерен посвятить особую главу, а потому не буду о ней здесь распространяться, а пока позволю себе вернуться к характеристике политической деятельности Витте, как я ее понимаю, и наметить в общих чертах направление ее.

Мы видели, как с первых шагов Витте, в качестве доверенного со стороны Государя руководителя внутренней политики, встретился с недоверием к нему общества. Это недоверие сопровождало, в качестве лейтмотива, всю его шестимесячную деятельность вплоть до его отставки. Характерно при этом то обстоятельство, что, тогда как русские сограждане отказывались верить ему в чем бы то ни было, он был единственным русским государственным человеком, с которым находила нужным считаться вся Европа и даже Америка, человеком, которому цивилизованный мир доверял и которого он признавал отчасти даже героем, принимая во внимание трудности, с которыми ему приходилось бороться. Как это ни странно при данных обстоятельствах, он, однако, верил в русский народ, особенно в его серую массу, а потому довел два почитавшихся им главными дела, ему порученных, несмотря ни на какие трудности, до конца: а именно, осуществление созыва Государственной думы, свободно без давления центральной администрации избранной, и спасение России от финансового банкротства[10]. Ни то ни другое не было поставлено ему современным обществом в заслугу: напротив, публика чуть ли не до марта отказывалась верить, что Дума будет созвана, а когда открытие ее состоялось, готова была скорее признать, что она сама заставила правительство созвать ее, чем отдать хотя бы долю справедливости почину правительства и усилиям Витте; что касается займа, спасшего сотни тысяч граждан от разорения, то он был поставлен ему даже в вину, как средство, помешавшее свободному и победоносному шествию русской революции.

Я воздержусь пока от оценки причин и последствий этого отношения к правительству и к главному руководителю его внутренней политики со стороны большинства образованной и полуобразованной публики; на графа Витте оно имело вполне определенное, на мой взгляд, влияние. В ноябре и отчасти еще в декабре, несмотря на Московское восстание, он или противился всяким жестоким репрессиям, или старался их смягчить, громко выражая мнение не только в нашей среде, но и в присутствии министров самому Государю Императору, что жестокость и излишняя строгость являются показателями только трусости и слабости, а что мужественное и сильное правитель-

ство может проявлять только одну справедливость, окрашенную жалостью к увлекающимся и к увлеченным лицам, помня, насколько оно само виновато в нерадении и непредусмотрительности. Однако все его попытки уговорами и личным влиянием прекратить действие всеобщей забастовки, в частности особо поразившей его забастовки почтово-телеграфных служащих, оказались абсолютно безуспешными, а успех, увенчавший меры строгости Дурново по отношению к почтарям, успех кровавого и немилостивого подавления Московского восстания сильно поколебали в нем веру в кротость и целесообразность уступчивости по отношению к требованиям общества. Поэтому, не видя ни с какой стороны поддержки своим добрым намерениям, он с декабря возложил свои надежды на выработку ряда мер, имевших целью воспрепятствовать грубому злоупотреблению свободою, но при этом всеми силами старался облечь эти меры в законную форму, справляясь с иностранными законодательствами и обыкновенно склоняясь к наиболее либеральному разрешению юридических вопросов. Но когда он увидал, что никто не желает понимать его усилий и что всякая уступка духу времени толкуется исключительно как показатель слабости, что каждая либеральная статья новых законов трактуется как лазейка, через которую можно нанести посильный вред ненавистному правительству, Витте стал заметно склоняться к старым испытанным средствам административного, т. е. всегда более или менее произвольного, воздействия, хотя до самого апреля считал нужным извинять его применение горькою необходимостью и утешать и себя и других уверениями, что меры эти временны и сами собою прекратятся с наступлением нормальных условий. Я лично был несогласен со многим из того, что делал председатель Совета министров, критиковал откровенно и ему в глаза те меры, которые он проектировал, особенно в последний период его государственной деятельности, был убежденным противником многого того, что было решено большинством голосов и им опробовано, но счел долгом представить здесь объяснение его политики, как я ее понял за шесть месяцев личного участия в трудах Совета под председательством графа С. Ю. Витте[11].

Несмотря на ошибки (не ошибается тот, кто ничего не делает), на нервность и на колебания, наш председатель остался в моих глазах, несмотря на многочисленные отрицательные черты его характера, крупной личностью, отличительною чертою которого была человечность, соединенная с большим умом и колоссальною рабочею энергиею. Странно и обидно было слушать обычное в то время обвинение, что он ничего не делает, а позже, что он ничего не сделал, будучи свидетелем его поистине нечеловеческой энергии в труде. Многие из обвинителей попали в первую Государственную думу; заседала она почти 2 1/2 месяца, не обсудивши толком и не проведя ни одного закона, ибо едва ли можно серьезно называть законом какое-то намеренно куцее, из-за партийных соображений, постановление об ассигновании 15 миллионов на голодающих, причем Дума знала, что в

действительности требуется до ста миллионов. Обычное извинение членов Думы заключалось в том, что ей приходилось бороться с правительством, которое во всем ей мешало[12]. А разве Витте ни с кем не приходилось бороться и никто ему не мешал? Следует принять еще во внимание, что те 500 человек, которые составляли первую Думу, были облечены доверием страны, имели почву под ногами, что единственное порученное им дело было законодательствовать, а тут должен был действовать человек, лишенный доверия, принужденный пользоваться сотрудничеством немногих случайных людей, прямое дело которых было управлять своими расшатанными ведомствами и заваленных и без того почти непосильною работою. И при таких-то обстоятельствах, худо ли хорошо ли, Совет в шесть месяцев обсудил и разработал ряд капитальнейших законопроектов, осуществив одновременно переход страны из положения абсолютной монархии в состояние конституционного государства с широким, кто бы что ни говорил, представительством интересов населения. Смею выразить уверенность, что будущий историк нашего времени, как бы строго он ни отнесся к характеру деятельности Витте и председательствуемого им Совета министров, разобравшись в документах, не откажет в признании действительно огромной суммы добросовестной, если и не всегда удачной, работы[13].

Получив от общественных деятелей отказ участвовать в работе по реформе государственного управления, Витте оставалось подобрать сотрудников из чиновного мира. Вот как составился “Виттевский кабинет” или “министерство”: министры 1) иностранных дел, 2) Императорского двора, 3) военный, 4) морской, 5) юстиции остались прежние, т. е. те, которых застал Витте на местах (гр. Ламздорф, бар. Фредерикс, ген.-лейт. Редигер, вице-адм. Бирилев и сен. Манухин); остался также управляющий Министерством внутренних дел бывший товарищ министра П. Н. Дурново. Должность обер-прокурора Св. Синода занял близкий друг Витте кн. Оболенский, место Государственного контролера — бывший товарищ контролера Философов, я получил место Министра народного просвещения, а затем остальные портфели были распределены между бывшими подчиненными Витте по Министерству финансов: Министром путей сообщения стал инженер Немешаев, финансов — И. П. Шипов, торговли и мануфактур — В. И. Тимирязев, земледелия и Государственных имуществ — Н. Н. Кутлер. Делопроизводством Совета заведовал Н. И. Вуич, исполнявший в заседаниях секретарские обязанности. В течение зимы вышли из состава “кабинета” С. С. Манухин, замененный сен. Акимовым (свояком П. Н. Дурново), В. И. Тимирязев, замененный М. М. Федоровым, и Н. Н. Кутлер, замененный Никольским; оба последние — тоже бывшие чиновники Министерства финансов, лично знакомые Витте (в качестве Министра народного просвещения я мог бы сказать, что Федоров и Никольский, так же, как Шипов, Кутлер и Тимирязев — все получили общее чиновное образование в Министерстве финансов при ректорстве Витте).

Перечисляя состав Совета министров, следует сделать несколько оговорок. Министры: иностранных дел, императорского двора, военный и морской, хотя и принимали участие в заседаниях, но назначение и выбор их от председателя Совета не зависел; из них только последний, т. е. Бирилев, пропустил не более пяти-шести заседаний, а остальные трое пропустили их значительно больше и, хотя и голосовали по вопросам, но в общих прениях почти никакого участия не принимали[14]. П. Н. Дурново был утвержден министром в январе, первых же два с лишком месяца был только управляющим министерством, что подчеркивало возможность замены его другим лицом во всякую минуту. Особое положение в Совете занимали также обер-прокурор Синода и Государственный контролер: принимая деятельное участие в прениях и в решении вопросов, возбуждаемых министрами по своим ведомствам, сами они своих дел в Совет почти совсем не вносили. Не имея звания министров, но заседая на равных с нами правах в Совете, они оба отрицали наше право вмешиваться в их дело: обер-прокурор указывал, что было бы странно подчинять деятельность господствующей церкви, представителем интересов которой он являлся в нашей среде, воззрениям светских сановников, Государственный же контролер был начальником и главным представителем ведомства, учрежденного для наблюдения с фискальной и формальной точки зрения за деятельностью остальных ведомств, представители которых и составляли Совет министров. Таким образом, без всяких оговорок и в прямом смысле можно было считать членами Совета министров: внутренних дел, финансов, народного просвещения, юстиции, торговли и мануфактур и путей сообщения и главноуправляющего земледелием и государственными имуществами, хотя и не имевшего звания собственно министра, но вполне приравненного к ним.

Когда я в первый раз явился в заседание Совета министров, я, не зная, в какой одежде следовало быть, надел мундирный фрак; Витте сейчас же, как только увидал меня, спросил: “Чего это Вы так разрядились? Откуда Вы приехали?” Оказалось, что все в заседаниях Совета носили черные сюртуки, а иногда даже черные и серые пиджаки, иначе говоря, одевались совсем по-домашнему. Происходили заседания, как общее правило, в зале или, вернее, столовой при казенной квартире Витте, в доме придворного ведомства, рядом со зданием Эрмитажа, на Дворцовой набережной, во втором этаже[15]. Комната была большая, но темная, с одним только окном на двор, в конце длинной стороны зала; поэтому, даже когда заседания происходили днем, зажигалось электричество. Посередине комнаты стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном, за которым свободно помещалось человек двадцать-двадцать пять. Кроме нас, членов Совета, очень часто, можно сказать, даже на большинстве заседаний присутствовали лица, не входящие в наш состав, для дачи заключений, для доклада и для объяснений по представляемым министрами запискам: тот или другой товарищ министра, директора департаментов, петербургский градоначальник,

6 — 1793

начальники штабов, наконец разные сведущие люди, как-то общественные деятели, составители записок и т. д. Несколько раз, в виде исключения, Совет собирался в Мариинском дворце, в зале Комитета министров. Это происходило в дни заседания Комитета министров, чтобы не собираться вторично: кончался Комитет, делался краткий перерыв, а затем граф Витте объявлял о начале заседания Совета министров. Собирался также несколько вначале Совет в Царском, под личным председательством Государя императора. О последних заседаниях я надеюсь сказать несколько слов позже, в своем месте.

Чуть ли не первым коллегою, встретившим меня в Совете, был П. Н. Дурново: мы были с ним давно знакомы, хотя и не близко. Он встретил меня восклицанием: "Как я рад, граф Иван Иванович, что вижу Вас здесь! Уверен, что я найду в Вас поддержку, а то тут собрались фантазеры, Вы увидите, какие тут проповедуются теории". Через несколько недель тот же Дурново говорил, что я хороший человек, но часто расхожусь с ним во взглядах, а через несколько месяцев заявил всем, кто слушать хотел, что в моем лице заседает в Совете министров представитель "кадетской" партии и притом самых крайних воззрений. Этот анекдот, мне кажется, отлично характеризует отношения между собою сотрудников Витте, которые друг друга, можно сказать, или совсем не знали, или знали только весьма поверхностно. С первых же заседаний Совета я застал самую откровенную борьбу между Дурново и министром юстиции Манухиным: Дурново, служивший в былое время прокурором, считал себя поэтому компетентным в вопросах юридических и в делах, касающихся судебной администрации; он упрекал Манухина в теоретичности, в неумении и даже нежелании внушить не только судьям, но и прокуратуре нужную строгость и быстроту в преследовании и наказании лиц, замешанных в политические и аграрные преступления и проступки. Манухин, человек безупречной порядочности и высокой справедливости, обладавший недюжинными юридическими познаниями и твердо стоявший на почве лучших принципов судейских традиций, не оставался в долгу у управляющего Министерством внутренних дел: своих судейских он в обиду не давал, парируя каждое обвинение и доказывая его неосновательность; сторонник строгой законности, он не пропускал ни одного случая для протеста против произвольных мер Дурново и против предлагаемых им способов борьбы с революциею, не соответствовавших его высоким понятиям о справедливости; и при всем этом, собственно либералом, а тем паче радикалом назвать Манухина нельзя было: он был ученый юрист, скорее даже охранительного образа мыслей, но обладавший щепетильным уважением к справедливости и общепризнанным юридическим гарантиям ее существования. Борьба этих лиц окончилась победою Дурново, уверившего вместе с приближенными к Государю лицами Его Величество в том, что Манухин слишком мягок, недостаточно энергичен, а потому не соответствует потребностям времени. К крайнему сожалению Витте,

очень ценившего Манухина и, я думаю, всех нас, Манухин получил почетную отставку, будучи назначен членом Государственного совета[16].

Как известно, после колоссальной всеобщей политической забастовки в октябре 1905 г. новые попытки организовать такую же в ноябре потерпели неудачу, но ко времени вступления моего в состав Совета министров впечатления от октябрьской забастовки не изгладились, и страх перед возможностью ее повторения еще поддерживался в правительстве. За две первые недели ноября, по мере того как выяснилась тщетность попыток революционных организаций инсценировать вторую забастовку, граф Витте успокоился и решился энергично приняться за организационную работу, как вдруг в середине месяца разразилась новая беда — всероссийская почтово-телеграфная забастовка.

Правительству было уже известно до забастовки, что по примеру профессиональных союзов, выросших за последнее время, как грибы после дождя, образовался "Всероссийский почтово-телеграфный союз". Известно было, что этот союз поставил себе целью "коренным образом улучшить материальное и служебно-правовое положение служащих и защиту их корпоративных интересов". Для этого союз должен был стремиться к установлению такого порядка, при котором разработка правительственных законоположений, касающихся служащих в почтово-телеграфном ведомстве, находилась бы в руках самих служащих.

"Так как такой порядок при существующем строе невозможен, то союз выставляет требование полной гражданской свободы и народного представительства на основе всеобщего прямого равного и тайного голосования, без различия пола и национальности"[17].

Циркуляр Дурново, в ведомстве которого находились почта и телеграф, о воспрещении служащим принимать участие в политико-социальном союзе и увольнение нескольких коноводов движения послужили поводом к забастовке. Забастовка хоть и была очень интенсивна и сопровождалась насилиями всякого рода, не была особенно продолжительна. Тем не менее сумма принесенного ею вреда и вызванные ею замешательства были действительно огромны. Разумные элементы общества скоро поняли всю несуразность этой борьбы с правительством его собственных присяжных агентов, поняли неисчислимый вред подобного образа действий служащих почтово-телеграфного ведомства, но "сознательная" часть интеллигенции, не обращая внимания на собственные серьезные неудобства, так же как и все революционные организации нашли забастовку остроумною и вполне оправдываемою обстоятельствами. На графа Витте она произвела положительно подавляющее впечатление, энервировала его окончательно: невозможность получать своевременно необходимые сведения по телеграфу в такое время, когда он считал первейшею необходимостью быть всегда осведомленным о всем существенном, происходящем в стране, затруднительность получения даже и письменных

донесений ввиду невозможности сорганизовать курьерскую службу выводили его из себя и заставляли опускать руки, так как именно в своей осведомленности обо всем происходящем в стране он полагал свою главную силу. Благосклонное отношение значительной части интеллигенции к почтово-телеграфной забастовке окончательно возмущало его, доказывая крайнюю озлобленность против правительства, доходящую до полного забвения собственных интересов и интересов страны. Каждое заседание Совета министров, а таковые происходили в это время через день, он начинал с допроса управляющего Министерством внутренних дел о положении забастовки и о принятых против нее мерах.

Мое личное впечатление таково, что П. Н. Дурново в то время сам был крайне смущен забастовкою своих подчиненных и во всяком случае не проявлял никакой самоуверенности, говоря в Совете об ее исходе. Напротив, в нем были заметны постоянные колебания между решимостью проявить крайнюю строгость и желанием попытаться вступить на путь некоторых уступок; на одном он стоял твердо, и в этом мы все единодушно с ним соглашались, что такая забастовка нетерпима, представляет собою ужасное безобразие и должна быть прекращена. Граф Витте решился предоставить Дурново полную свободу действий в этом деле, полагаясь на его административную опытность. Хотя “сознательная” публика и распространяла слухи о возмутительной строгости в этом деле управляющего Министерством внутренних дел и об увольнении чуть ли не половины почтарей и телеграфистов, в действительности жертв начальнической строгости оказалось сравнительно немного в процентном отношении к массе служащих (по уверению Дурново, сколько помнится, не более 1/2 %), и забастовка прекратилась, отчасти вследствие нелепости самой затеи, сравнительно скоро и, можно сказать, довольно радикально. Этот результат был приписан главным образом умению Дурново и много содействовал укреплению его престижа в глазах консервативных элементов. Сам он довольно ловко воспользовался этим настроением для усиления своего влияния. Еще большее для него значение в этом смысле имел исход декабрьского восстания в Москве, хотя роль его как раз в этом деле была минимальна, а может быть, и отрицательная.

Так как я предполагаю, что читатели моих воспоминаний знакомы в общих чертах с историею описываемого года, то напомню только здесь, что Манифест 17 октября застал в должности московского генерал-губернатора П. П. Дурново. Воздерживаюсь высказать здесь мое личное мнение о достоинствах управления этого администратора, но считаю нужным сказать, что чуть ли не с первых дней моего присутствия в Совете я был свидетелем самых решительных нападок на него председателя, который постоянно обращался к управляющему Министерством внутренних дел с жалобами на действия или, вернее, бездействие его московского однофамильца и с принуждениями присо-

единиться к его, Витте, представлениям Государю Императору о необходимости немедленно сменить генерал-губернатора. П. Н. Дурново, хотя и не особенно энергично защищал последнего, но от совместного воздействия на решение Государя отказывался, так что на меня, например, роль его в этом вопросе производила такое впечатление, что он не был согласен с резкостью нападок графа Витте, дипломатично ссылаясь на то, что выбор генерал-губернаторов всецело зависит лично от Государя и что пока Его Величество не выражает неудовольствия их действиями — неудобно подымать вопроса о их замене другими лицами. Между тем, для правительства не было уже секретом, что в Москве настроение крайне революционное и что туда отовсюду съезжаются лица, принадлежащие к составу самых крайних революционных партий.

Таким образом, смена П. П. Дурново и назначение на его место Дубасова, последовавшее к тому только времени, когда вооруженное восстание уже разразилось, совершились по настоянию графа Витте, а не П. Н. Дурново, который только поспешил согласиться с предложением председателя Совета, увидев, что дело зашло уже очень далеко[18]. Читатель знает, что организованное восстание приняло серьезные размеры, что подавление его потребовало значительных усилий со стороны правительства и что оно закончилось весьма кровавым и разрушительным эпилогом уличных расстрелов людей и обстрела домов из орудий. Хотя П. Н. Дурново во всем этом был почти что не при чем, но на словах он стал проявлять огромную энергию, и именно с этого времени нам, его коллегам, неоднократно приходилось слышать ставшее его любимым выражение, что с революционерами нечего церемониться: “к стене их и расстрелять”. Вследствие ли постоянно и всюду громко повторяемого им с этих пор убеждения, что с революциею шутить нечего и что необходимо принимать по отношению к ней самые крайние меры строгости, или вследствие того, что в качестве администратора московский генерал-губернатор находился в ближайшей связи с Министерством внутренних дел и отчасти даже в подчинении к нему, но имя П. Н. Дурново стало все чаще упоминаться рядом с именем Дубасова как победителя московского восстания, причем роль Витте в этом эпизоде совершенно стушевалась; даже, напротив того, брошенные Витте кстати несколько фраз о том, что хотя строгость в соответственное время и по обстоятельствам необходима, но что на ней одной выезжать нельзя, побудили придворные и реакционные круги утверждать, что Витте либерал, опасный в данную минуту, а что настоящий спаситель отечества — “молодец” Дурново, понимающий, что шутить теперь нельзя, а надо действовать, “не жалея патронов”.

Отношения между Витте и Дурново в ноябре и декабре 1905 г. были, на мой взгляд странные. Дурново возражал почти против каждого предложения Витте, как бы принципиально не одобряя всю консти-

туционную затею, находя ее преждевременною, не соответствующею характеру русского народа. Возражения делались, однако, редко прямо, а как-то обинякми, предупреждениями о могущих быть печальных последствиях. Это страшно, видимо, бесило Витте, и он, по обыкновению, не стеснялся в выражениях, бывал очень груб, доходя иногда фактически до крика. Тогда Дурново обыкновенно съеживался и говорил: "Да я, Ваше сиятельство, выражаю только свое мнение, дело Ваше — принять его или не принять, как Вы решите, так и будет..." и т. п. Особенно часты были столкновения между ними по поводу назначения того или иного губернатора, а также по поводу введения в отдельных местностях усиленной или чрезвычайной охраны: в этих случаях Дурново говорил обыкновенно по часу подряд, что особенно выводило из себя нашего председателя; он кричал тогда, что это со стороны Дурново обструкция, что так мы ничего не успеем сделать и что совместная их служба, по его убеждению, становится невозможною. Доведши Витте до такого состояния, Дурново умолкал, прося извинить его, иногда уступая, иногда обещаясь представить новые данные к следующему заседанию. Несмотря на такие пререкания, принимавшие иногда весьма резкую форму, Витте постоянно в начале каждого почти заседания обращался за советом прежде всего именно к Дурново, как бы подчеркивая, что он необыкновенно высоко ставит его административный опыт и считает его советы особенно ценными; затем начиналась обычная история с криком и упреками, и на это уходила добрая половина заседания, а иногда и почти все заседание, так что остальные министры не имели даже возможности доложить о своих делах или принуждены были комкать свои доклады. До январи 1906 г. взаимные отношения эти имели такой вид, что Витте держит Дурново в руках и что, пользуясь его полицейскою опытностью, он направляет ее в нужную ему сторону, а Дурново, хотя и брыкается, но, подчинившись более сильной воле, не решается идти прямо против председателя и если и повертывает иногда дела по-своему, пользуясь своими частыми всеподданнейшими докладами, то делает это с оглядкою и считаясь с опасным для него политическим противником.

В январе или, вернее, уже в конце декабря стало всем, я думаю, ясно, за кем в этой внутренней борьбе осталось преимущество; к новому году Дурново был утвержден министром, а его постоянный противник в Совете Манухин, которого Витте очень ценил, был отстранен от министерских обязанностей. На новогоднем приеме в Царском Селе можно было констатировать, что оба факта считались непреложным доказательством поражения "премьера" и торжества Дурново, вокруг которого толпа поклонников из придворных сфер заметно увеличилась. Дурново не в пример всем нам, скромным его коллегам, был удостоен ряда милостей и отличий, сыпавшихся на него как из рога изобилия: на расстоянии времени менее чем в пять месяцев он был из управляющего министерством утвержден министром, пожалован

статс-секретарем, произведен в действительные тайные советники, назначен членом Государственного совета, его дочь была пожалована во фрейлины; наконец, при отставке он получил денежную награду в 200 000 рублей наличными (которые он, по слухам, поспешил перевести в Париж) помимо того, что за ним было сохранено, не в пример прочим, огромное жалованье. Одним словом, личные дела Дурново процветали так, как ни у кого другого, и этот факт едва ли допускает какое-либо сомнение относительно личного его влияния на Государя, считавшего его, очевидно, наиболее полезным и деятельным членом нашей коллегии, самым верным слугою монархии.

Как я упомянул уже выше, Витте реагировал на торжество Дурново просьбою об отставке, которая, однако, принята не была ввиду главным образом финансового положения России.

С этих пор, т. е. с января, взаимные отношения между Витте и Дурново, если и не резко, но по существу весьма заметно изменились. Хотя Витте и продолжал иногда кричать на Дурново, но последний перестал "ежиться", а отвечал иногда довольно резко, энергично настаивая на своей точке зрения; иногда, чего он раньше никогда не посмел бы сделать, он после сцены с председателем прекращал на неделю и больше свое хождение в заседание Совета, причем не считал нужным извиняться за свое отсутствие. Провозглашаемая им панацея против революции, выражавшаяся в девизе: "к стене — и расстрелять", в той или иной форме преподносилась им довольно часто и смело, хотя и бездоказательно, в заседаниях, причем на все возражения он пожимал плечами и иронически улыбался[19].

Рассказанное мною здесь дает, мне кажется, довольно ясное представление о тех трудностях и даже опасностях, которыми был окружен Витте в то время, когда он приступил к своей реформаторской деятельности: после только что окончившейся всеобщей забастовки — забастовка почт и телеграфов, серьезная попытка ко второй всеобщей забастовке, вооруженное восстание в Москве, с величайшим трудом подавленное, открытая и бурная анархия в Прибалтийском крае, восстание в Финляндии, серия террористических явлений в Польше, вынудившая введение военного положения, отмену которого требовали все либеральные круги, полное финансовое расстройство государства, грозившее ежеминутным крахом, и, ко всему этому, внутренняя борьба в самом правительстве, окончившаяся для него несомненным поражением.

И вот при таких обстоятельствах, при наличии которых у 99 человек из 100 опустились бы руки, Витте находит силу и возможность последовательно провести ряд законодательных и иных правительственных мер капитальнейшей важности: уже в ноябре разработан ряд мероприятий по аграрному вопросу с изменением всего направления деятельности крестьянского банка, разработан и издан манифест о прекращении выплаты выкупных платежей, выработан сложный, хотя и непопулярный, но фактически весьма по времени

либеральный закон о повременной печати, разработаны вызванные железнодорожной забастовкой правила о регулировании забастовок вообще и о наказуемости некоторых видов их, представляющих собою общественное бедствие, а также правила о чрезвычайной охране на железных дорогах; в ноябре разрабатывается с изумительною энергией (заседания бывали почти ежедневно) новое положение о выборах в Государственную думу, ставшее необходимым после издания Манифеста 17 октября. Эта ответственная и чреватая последствиями работа была закончена в один месяц, и уже к началу декабря новое положение о выборах было совершенно готово, причем кто бы что ни говорил о его недостатках или о неверности положенных в его основу принципов (такое положение обязательно должно критиковаться в зависимости от политической точки зрения рассуждающего о нем), оно как никак, а дало возможность произвести первые выборы в полном почти порядке и с результатами, которые оказались блестящими именно для главных противников и хулителей нового положения. Я хотел бы видеть критиканов на месте этого человека, все же имевшего только человеческие силы, подточенные еще серьезною болезнью, предыдущими трудами, от которых он не успел отдохнуть, недосыпанием от непосильной работы и от общего нервного возбуждения.

Ход работ по аграрному вопросу и отношение к нему Витте настолько характерны и сам вопрос настолько важен, что об этом стоит здесь сказать несколько слов. Выше я уже говорил, что в ноябре Государем был сделан опыт заседаний Совета министров под личным председательством Его Величества. Таких заседаний было всего три[20], и вот на первом из них возбужден был вопрос о крестьянах, об их правовом положении и о земельной их нужде. Витте произнес горячую речь о том, что всегда признавал крестьянский вопрос краеугольным камнем внутренней политики России, что, может быть, не было бы и революции, если б правительство своевременно приступило к его разрешению. Между тем правительство, освободивши в 1861 г. крестьян от крепостной зависимости, в течение более сорока лет почти ничего не сделало в этой области. Витте говорил, что сам он не специалист в этом вопросе, а потому и боится что бы то ни было предлагать, но уверен, что знатоки крестьянских нужд не откажутся помочь в разрешении задачи; сам он может предложить пока одно: избавить наконец крестьян от выкупных платежей там, где эта операция еще не закончена. При этом Витте предложил текст Манифеста о сложении платежей, который был выработан в Совете накануне. Государь Император тут же выразил согласие подписать Манифест, но заявил, что находит меру совершенно недостаточною: Его Величество высказал весьма решительное мнение, что от обещаний и прекрасных слов следует перейти к крупным и осязаемым мерам по улучшению положения крестьян, не теряя времени, так, чтобы крестьянство убедилось, что о нем правительство фактически заботится, чтобы крестьяне действительно увидели и почувствовали улучшение своего положения. Для

достижения такого результата Государь находил возможным не стесняться жертвами и не останавливаться перед самыми смелыми мерами. Витте подхватил слова Государя и сказал, что приложит все свои силы к тому, чтобы исполнить волю Его Величества[21].

Витте сдержал слово в том отношении, что тотчас после издания Манифеста и указа о выкупных платежах поручил Н. Н. Кутлеру заняться вопросом об увеличении крестьянского землевладения, а Министерству внутренних дел совместно с Министерством юстиции выработать проект изменений правового положения крестьян, в смысле уравнения прав этого сословия с остальными и установления широких либеральных норм землепользования и крестьянского самоуправления.

Вторая, действительно необыкновенно сложная работа затянулась, и проект реформы был закончен только в апреле, хотя Витте нашел возможным и необходимым принять и осуществить несколько предварительных мер, не ожидая конца работы. К таким мерам должны быть причислены расширение деятельности крестьянского банка и образование на местах землеустроительных комиссий с привлечением в них выборных от крестьян[22].

Что касается порученного Кутлеру дела, то проект дополнительного наделения крестьян землею был закончен им с помощью ученого экономиста Кауфмана весьма быстро. Содержание и судьба кутлеровского проекта в настоящее время довольно известна, а потому подробно останавливаться на них я не намерен, да это и не соответствует цели настоящих воспоминаний, а потому скажу об этом только несколько слов. Широкое использование запасов Государственных земель для дополнительного наделения ими нуждающихся крестьян было предрешено Государем, и в этом отношении оставалось сделать кой-какие оговорки относительно лесов, имеющих охранное значение, и образцовых дач; но тут встретилось роковое затруднение в виде того факта, что передача даже всех казенных земель в руки крестьян явится каплею в море земельной нужды и не в состоянии удовлетворить мало-мальски значительной доли надежд русского крестьянства. Кутлер с Кауфманом решились разрубить гордиев узел и внесли в проект свое предложение о принудительном отчуждении по справедливой оценке частновладельческих земель, на основании правил, в пользу крестьян. Проект был составлен наспех и внесен в Совет с предупреждением со стороны председателя о необходимости сохранения строжайшей тайны ввиду деликатности вопроса; внесен он был ради того, чтобы обсудить принципиальное положение, допустима ли вообще насильственная экспроприация собственности более обеспеченных граждан государства в пользу малоимущих; необходимо было обсудить и предрешить этот вопрос прежде, чем устанавливать и разрабатывать подробности проекта.

Весьма естественно, что чисто социалистический принцип, положенный в основу предложения, возбудил горячие дебаты в среде

самого Совета, но я должен констатировать, что Витте был вначале всецело на стороне Кутлера. На возражения Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, что недопустимо колебать такой основной принцип юриспруденции, как право собственности, председатель наш разгорячился и стал доказывать, что в юридических науках он хотя и не сведущ, но не признает вообще существования решительно никаких непреложных принципов: "Какие-то римляне когда-то сказали, что право собственности неприкосновенно, а мы это целых две тысячи лет повторяем, как попугаи; все, по-моему, прикосновенно, когда это нужно для пользы общей; а что касается интересов помещиков дворян, то я считаю, что они пожнут только то, что сами посеяли: кто делает революцию? Я утверждаю, что делают революцию не крестьяне, не пахари, а дворяне, и что во главе их стоят все князья да графы, ну и черт с ними — пусть гибнут. Об их интересах, об интересах всех этих революционеров-дворян, графов и князей, я нахожу, правительству нечего заботиться и нечего поддерживать их разными римскими принципами, а нужно спокойно рассудить, полезна ли мера для России, или вредна, и только единственно с этой точки зрения я согласен допустить рассуждения, а не с точки зрения римских принципов и интересов отдельных личностей..." Некоторые из нас присоединились к мнению Витте, но другие возражали по существу, и было решено продолжать обсуждение вопроса, если понадобится, в целом ряде заседаний.

Граф Витте понимал, насколько опасно в такое критическое время волновать крестьянскую массу надеждами, которые могли и не сбыться, а потому, как я говорил выше, обставил обсуждение кутлеровского проекта возможною тайной: не только он нас предупредил о необходимости соблюдения таковой, но даже те печатные экземпляры проекта, которые были нам розданы, чтобы следить за рассмотрением его, были отобраны от нас и отданы на хранение Н. И. Вуичу. Несмотря, однако, на эти предосторожности, содержание проекта стало тогда же и весьма быстро достоянием широких кругов: было ли это следствием болтливости кого-либо из нашей среды, или ярые противники проекта из среды министров нашли нужным предупредить кого следует о надвигающейся "беде", сказать этого я не в состоянии, но факт тот, что и в Государственном совете и в высшем обществе вскоре только и было речи о "революционно-социалистическом" проекте Витте-Кутлера об ограблении помещиков в пользу крестьян.

Испугался ли Витте обвинения или, обдумавши, пришел к заключению, что проект практически неосуществим без глубоких и опасных экономических потрясений, но насколько он в начале распинался за него, настолько теперь решительно от него отступился. Все те министры, которые принципиально не отвергали проекта и соглашались приступить к обсуждению подробностей (в этом числе был и я) оказались в весьма неловком положении, а положение Кутлера стало почти

невозможным: хотя рассуждения о наделении крестьян землею довольно вяло продолжались, но вопрос об экспроприации председателем тщательно обходился. Кутлер, хотя и довольно робко, но защищал первоначальные тезисы своего проекта. Дело кончилось тем, что Витте пожертвовал Кутлером. Что совесть его в этом деле относительно нашего коллеги была не совсем чиста, было довольно ясно по тому обстоятельству, что он энергично хлопотал и в конце концов выхлопотал назначение приличной пенсии Кутлеру и в добавление к этому помог получить великолепно оплачиваемое место в одном из столичных банков, так что в денежном отношении он не только ничего не проиграл при отставке, но, напротив того, значительно выиграл[23].

Второй вопрос, занимавший в конце 1905 г. Витте и председательствуемый им Совет, был вопрос о печати. Витте несомненно был при вступлении в должность горячим сторонником свободы печати и возлагал немало надежды на ее помощь в деле осуществления предположенных реформ.

Еще в октябре 1905 г. среди издателей газет образовался “Союз в защиту свободы печати”, к которому присоединилось затем значительное число книгоиздателей и книгопродавцов. Основными своими задачами, или, как привыкли выражаться, своею платформою, Союз выставил требования полной отмены цензуры и отмены какой-либо ответственности за высказываемые в печати мнения. Со своей стороны сорганизовавшийся к этому времени Союз типографских рабочих объявил бойкот всем типографиям и изданиям, не присоединившимся к Союзу в защиту свободы печати, причем весьма быстро и энергично заменил собою, конечно, в обратном смысле, Цензурный комитет Министерства внутренних дел. Результатом действий обоих союзов явилась самая необузданная развязность печати, причем новые издания почти исключительно революционного, а иногда и чисто анархистического направления стали вырастать, как грибы после дождя. Основываясь на лживых, а часто и просто выдуманных ad hoc* слухах и фактах, газеты открыто проповедовали вооруженное восстание, раздел России, поход против имущих классов и т. п., типографские рабочие отказывались печатать опровержения, а также статьи, имевшие целью успокоить публику. Не отмененная и законно существовавшая цензура сбилась с ног, приостанавливая издания, взамен которых тотчас появлялись новые, закрывая типографии и возбуждая уголовные преследования.

Витте ясно сознавал, что так продолжаться не может: в стране малокультурной, где привыкли относиться со слепым доверием ко всему, что напечатано, где злоупотребление печатным словом, постоянно бывшим в железных тисках администрации, могло толковаться только как ясный признак бессилия правительства, разнузданность печати, ничем не сдерживаемая, явилась самым сильным и действительным оружием в руках революции и страшною и весьма реальною опасностью для правительства в данную историческую мину-

ту. Попытка Витте урезонить петербургских издателей не удалась и повела только к укреплению убеждения в бессилии властей[24].

Поэтому Витте счел необходимым, несмотря на неотложность рассмотрения других очередных и наиважнейших дел, немедленно заняться вопросом и повременной печати; он при этом исходил из следующих трех основных предпосылок: 1) существующие законы о печати никуда негодны и могут поддерживаться только в чисто полицейском государстве, 2) новые законы о печати должны возможно ближе подойти к современному европейскому законодательству, даруя изданиям необходимую свободу, но предупреждая явные злоупотребления ею, и 3) новый закон, по возможности, не должен по существу противоречить принципам Манифеста 17 октября, в котором, между прочими даруемыми свободами, была упомянута свобода слова.

Задача, поставленная Витте себе и своим сотрудникам, принимая к тому же во внимание условия времени, была похожа на решение квадратуры круга, но, тем не менее, уже в ноябре удалось провести через Государственный совет новый закон о печати. Вышел он, несомненно, куцым и никого не удовлетворил. В Совете министров я лично оспаривал целый ряд статей и доказывал их несостоятельность, но все же должен признать, что новый закон, по сравнению со старым, представлял собою значительный шаг вперед в смысле раскрепощения печати[25]. Не вдаваясь в ненужный для целей этих записок разбор содержания нового закона, я предлагаю всякому, желающему убедиться в сказанном, сравнить номера любой газеты за январь или февраль 1906 г. при действии нового закона с номерами за те же месяцы хотя бы 1905 или 1904 гг., и каждый убедится, что, несмотря на возбуждение многочисленных преследований за преступления против закона о печати, новый закон все же дал широкую возможность писать о многом таком, о чем раньше немыслимо было заикнуться, и это безнаказанно в таком тоне, который раньше считался бы, несомненно, караемым с беспощадною строгостью. Поэтому, несмотря на всю его неудовлетворительность, которая сказалась весьма скоро, можно сказать, прежде чем чернила, которыми закон был подписан, успели подсохнуть, все же новый закон должен почитаться либеральным, а принимая во внимание революционное время и настроение его составителей, более либеральным, чем можно было ожидать.

Время было, однако, такое, что никто не был в состоянии спокойно разобраться в фактах, и тот рев негодования, которым были встречены заинтересованными новые правила о печати, обострил всех, поставивших себе целью бороться во что бы то ни стало и любыми средствами с правительством и его намерениями. 2 декабря появился знаменитый Манифест совета рабочих депутатов, направленный к финансовому разорению страны, как средству уничтожения правительства, которому объявлялась открытая война. Связанные между

собою круговою порукою и находясь под террором собственных рабочих, повременные издания, в большинстве не сочувствующие Манифесту рабочих и понимавшие всю его нелепость, все-таки отпечатали его. Пришлось, таким образом, уже в декабре применить en masse* новый закон и сделать его сразу, конечно, еще более ненавистным[26]. Во время обсуждения проекта закона о печати Витте страшно нервничал: область для него была малоизвестная, и он видел одно — тот страшный вред, который наносила печать всем его планам. Он все добивался от Дурново и от начальника Управления по делам печати Бельгарда, поведут ли проектируемые меры к обузданию повременных изданий в области клеветы и распространения ложных, волнующих всю страну известий. Ему оба отвечали указаниями на желательность усиления административного воздействия и расширения прав Министерства внутренних дел по отношению к печати; такие ответы его раздражали: он чувствовал, что это путь торный, но скользкий, и, тем не менее, сдавался. Иногда он фактически начинал в Совете кричать, как бы желая заглушить собственные сомнения и возражения, что главное в настоящую минуту — помешать печати вредить, помешать ей фабриковать общественное мнение на гибель всей стране, что для этого он согласен на какие угодно практические меры, не обращая внимания на то, соответствуют ли они юридическим нормам и теориям или нет. С. С. Манухин спокойно и с достоинством возражал и, несомненно, главным образом благодаря ему закон вышел, как я и говорил, хотя и несколько куцым, но все же приличным, явившись, как это ни странно, несомненным шагом вперед, а отнюдь не назад, как хотели уверить газеты. Характерно для настроения Витте, что, несмотря на все его негодование по отношению к тогдашней деятельности печати, он явно был рад этому результату, громко заявляя нам, что он не враг, а убежденный друг печати, решительный сторонник широкой свободы слова и враг только опасному злоупотреблению этой свободой и неограниченной разнузданности[27].

Не менее систематической травли правительства со стороны печати беспокоила Витте агитация, направленная на разрушение главных нервов, если так можно выразиться, экономической жизни государства, проявлявшаяся в забастовках на железных дорогах, водопроводах, почте и телеграфе, освещении городов. Он говорил нам, что если не выработать соответствующих законов, то он предвидит возможность такой катастрофы, которая сделает невозможными никакие реформы и даже угрожает самому существованию страны; поэтому он настоял на немедленной выработке правил о чрезвычайной охране на железных дорогах и о наказуемости стачек в предприятиях, имеющих общественное значение[28].

Так как все перечисленные выше законопроекты и правила рассматривались подробно, параграф за параграфом в Совете министров, то легко себе представить, сколько это одно занимало времени, отнимая его от исполнения министрами их прямых обязанностей по

управлению ведомствами, по каждому из которых возникал в исключительно беспокойной обстановке один вопрос за другим. Но всего этого было мало, и наш председатель ни минуты не терял из виду главной цели — организации будущей Государственной думы и ее созыва. Поэтому мы за последние два месяца 1905 г. собирались в течение двух-трех недель не только почти ежедневно, но иногда даже и два раза в день — утром и еще вечером, лишь бы подвинуть этот вопрос, сложный во всякое время, вдвойне сложный при существовавших обстоятельствах, лишавших всех необходимого спокойствия и, скажу прямо, даже объективности. И вот при общих обвинениях, что Витте намеренно затягивает дело, что он хочет обмануть страну, что никакой Государственной думы не будет, приходилось с лихорадочной быстротой пересматривать проект выборов в Государственную думу, составленнный комиссией Булыгина, изучать иностранные законодательства, вызывать сведущих людей и решать капитальнейшие вопросы в коллегии, на две, по крайней мере, трети, состоявшей из людей, которым впервые приходилось заниматься подобными вопросами вообще.

Формула революционеров, подхваченная почти всею прессою и таким образом ставшая, как многие были убеждены искренно, формулою русского общественного мнения, заключалась, как известно, в требовании выборов: тайных, равных, всеобщих и прямых. Всякому, мало-мальски занимавшемуся практическим делом ясно, что одно — выработать общую формулу и настаивать на ее непреложности, и другое — провести ее в жизнь, обсудив ее исполнимость, и применить к существующим условиям. В принципе, сам Витте и некоторые из членов Совета были не прочь принять всю формулу целиком, но колебались, с одной стороны, ввиду технических затруднений и необходимости ломать с основания всю недавно принятую и возведенную правительством систему, а с другой — ввиду опасения, что принятая целиком формула поведет к фальсификации мнения страны благодаря проискам и агитации партий. Колебания, поддерживаемые сведущими людьми, были настолько велики, что большинство Совета постоянно перемещалось с одной стороны на другую, и то, что казалось окончательно решенным в одном заседании, перерешалось в противоположном смысле в следующем. Это приводило Витте, тоже страшно колебавшегося и старавшегося отыскать хотя бы в Совете министров стойкое большинство, в полное отчаяние, если можно так выразиться, в нервный раж: он жаловался, что так мы никогда не кончим, что нужно на что-нибудь решиться и, раз решившись, держаться постановленного, но увы, сам менее всех исполнял то, чего он от нас требовал, менял мнения, горячо в заседании доказывал одно, объявляя на следующий день, что он ошибся, и столь же убедительно доказывая противоположное. Понятно, что это очень нервировало всех нас, и работа получила какой-то лихорадочный, искусственный характер.

Председатель наш утешал и себя и нас тем, что ошибка в фальшь не ставится, что главное, дурно ли хорошо ли, выработать что-нибудь определенное, что будущая Дума сама поправит нашу работу, и что он лично, если хоть один голос раздастся в ней за всеобщие и прямые выборы, будет стоять на стороне этого голоса и поддержит его.

Не вдаваясь ни в какие подробности, напомню, что, несмотря на все описанные мною невыгодные условия, уже в начале декабря появилось новое положение о выборах в Государственную думу, конечно, как все, исходившее от правительства, поднявшее бурю негодования в радикальном лагере и, кажется, никого не удовлетворившее[29]. Как я неоднократно оговаривался, в мою задачу отнюдь не входит писать здесь историю эпохи или даже хотя бы историю министерства Витте; я только хотел описать свои личные впечатления и, по возможности, дать весьма общую характеристику лиц и явлений, с которыми мне пришлось прийти в соприкосновение за шесть зимних месяцев 1905/06 года, а потому я воздерживаюсь от мало-мальских подробного или последовательного изложения событий или деятельности правительственного учреждения, членом которого я состоял почти вплоть до открытия Думы. Думаю, однако, что некоторые черты и факты, которых я позволю себе коснуться, не лишены интереса для будущих историков нашей эпохи. Как я уже говорил раньше, Совет министров заседал в казенной квартире председателя. Разместились мы вокруг стола случайно, за исключением двух министров, которым Витте сам предложил занять места по правую от него руку, а именно, рядом с ним министр Двора барон Фредерикс, а затем Министр иностранных дел граф Ламздорф. За Ламздорфом сидел обер-прокурор князь Оболенский, затем Государственный контролер Философов, Кутлер, Тимирязев, Дурново, Вуич, Манухин, я, Редигер, Немешаев, Бирилев последним по левую руку от председателя; Вуич сидел как раз напротив него.

Когда из состава нашего вышли Кутлер, Тимирязев и Манухин, то места первых двух заняли за столом их преемники, Никольский и М. М. Федоров; преемник Манухина передвинулся и занял место между Бирилевым и Шиповым, так что моим соседом слева оказался Н. И. Вуич, а справа остался Редигер.

Нормальные вечерние заседания назначались обыкновенно в 8 1/2 часов. К этому времени всегда очень аккуратно съезжались: я обыкновенно первым, причем я не пропустил ни одного заседания, затем Шипов, Немешаев, Манухин, Кутлер и Философов, позже Федоров и Никольский; Дурново иногда приезжал очень аккуратно, иногда опаздывал, а в январе и феврале очень часто и совсем не являлся; остальные являлись иногда аккуратно, иногда опаздывали, иногда же и совсем не приезжали. Акимов являлся обыкновенно тогда, когда заседание уже началось, но запаздывал не более четверти часа или двадцати минут; всегда запаздывал, притом нередко на целый час и более, князь Оболенский.

Витте выходил к нам из своего кабинета всегда очень аккуратно в назначенное время, здоровался с присутствующими, обходя их, затем садился за стол и тотчас открывал заседание. Начиналось оно постоянно с изложения председателем главного предмета, подлежащего обсуждению, причем Витте обыкновенно говорил усталым и тихим голосом. Манера его резко изменялась с дальнейшим ходом заседания, и его тихий голос нередко переходил на настоящий крик, когда он вступал с кем-нибудь в спор; при этом он не задумывался над своими выражениями и слова вроде: “так могут думать только идиоты” или “это черт знает, на что похоже”, “я в таком случае все брошу к черту”, “я попрошу Вас молчать и слушать, когда я говорю” и т. п. были не редкостью. Особенно часто он сердился на Дурново и на князя Оболенского, но по совершенно разным причинам: с первым он вел совершенно очевидную борьбу чуть ли не с первого нашего совместного заседания до последнего; второй сердил его тем, что всегда запаздывал, как я уже говорил, на час, а то и больше, причем, поверхностно узнавши о чем говорят, сразу вмешивался в прения и возражал против мнений, которых иногда никто не высказывал. Витте ценил его мнение и особенно знания его в земских вопросах, но почти каждый раз выходил из себя, сердясь на задержку, на то, что Оболенский, опоздав, не был в курсе вопроса, и ему приходилось объяснять то, что говорилось до его прихода, и таким образом терялось действительно драгоценное время. При этом у Оболенского, человека замечательно доброго и с широкими на многое взглядами, была манера говорить очень расплывчато и начиная всегда ab ovo*, подробно объясняя иногда такие вещи, которые всем были известны. Иногда Витте приходил от этого в такое бешенство, что сильно повышенным голосом обращался к Оболенскому: “Если Вам угодно говорить, то приходите вовремя, а теперь пришли поздно, не знаете, о чем говорили, и болтаете теперь без умолку, и совсем не к делу. Коли опоздали, так сидите и молчите, а не мешайте нам дело делать”. Оболенский иногда пожимал на это плечами и на время умолкал, но иногда, несмотря на все свое добродушие, обижался и говорил, что готов уйти, причем действительно бывало уходил до конца заседания, но обыкновенно принимал эти окрики весьма спокойно, вполголоса объясняя свою точку зрения своему соседу Философову, что в свою очередь вызывало резкое замечание Витте, просившего не вести между собою частных разговоров. Витте не обладал красноречием и выражался иногда даже грамматически неправильно, перевирая выражения, ища их и не находя, путая иногда слова, но речь его была всегда энергичная, убежденная и действовала поэтому замечательно сильно на слушателей.

Из бывших его подчиненных, приглашенных им в число министров, наиболее скептически относился к Витте Тимирязев; на него слова Витте, до какого бы пафоса он ни доходил, не производили, по-видимому, никакого впечатления, и когда Тимирязев решался прервать свое обычное молчание, он спокойным, ровным голосом всегда

возражал принципалу. Витте, по-видимому, не особенно любил его, но уважал его опытность и его ум; поэтому уход Тимирязева из нашего состава произвел на Витте, по-видимому, смешанное впечатление. Если причины ухода Манухина и Кутлера были вполне ясны и произошли единственно потому, что Государь был ими недоволен (лично ли или по подговору других лиц — безразлично), уход Тимирязева был неожиданным и объяснялся самым различным образом. Сам он говорил, что находит политику Витте неправильною и фальшивою, что он абсолютно разочаровался в возможности достигнуть каких-либо разумных результатов при отсутствии твердых убеждений и установленного плана действий; подавая прошение об отставке, он по-товарищески советовал мне сделать то же самое, говоря, что мы идем на явный скандал. Он, однако, не оспаривал моего указания на то, что каждый из нас несет на себе ответственность по своему ведомству, а за общее направление ответственным лицом, и по закону и фактически, является председатель Совета; на это только отвечал, что ему тошно смотреть на все происходящее и что, при данных обстоятельствах, он чувствует себя бессильным сделать что-либо полезное. Витте говорил нам, что он неоднократно отговаривал Тимирязева от исполнения его намерения и просил его взять прошение обратно, утверждал, что и Государь неохотно его отпускает и желал бы, чтобы он остался. При этом Витте рассказывал нам, что министр торговли и мануфактур[30] не выставил никаких требований, не обуславливал ничем согласие остаться в нашей среде, а просто настаивал на своей отставке. Какая же была истинная причина этой отставки? Говорили, что несколько десятков тысяч рублей, выданных Тимирязевым из сумм, бывших в его распоряжении, на пресловутые гапоновские организации, и бегство лица, которому он выдал деньги, с полученной суммой, затем поимка этого лица поставили Тимирязева в крайне неловкое положение, заставившее его решиться на отставку; Витте, действительно, сваливал часть вины, если не всю вину, на Тимирязева, но последний уверял, что он действовал исключительно по указаниям председателя Совета. Во всяком случае, дело это было темное, но едва ли значительная сравнительно сумма, выданная, скажем, неосмотрительно, могла послужить серьезною причиною для ухода[31]. Вернее всего то, что этот инцидент явился только последнею каплею в сознании необходимости покинуть ставшее уже крайне непопулярным министерство Витте. Этим актом Тимирязев спасал свою репутацию сознательно либерального человека, причем он фактически не только ничего не терял, но выигрывал: помимо, правда, значительной пенсии (кажется, 8 или 9 тысяч), которая была ему обеспечена, он успел приготовить себе великолепно оплачиваемую должность в частном предприятии, так что в материальном положении для него получался значительный плюс: в смысле общественного положения, т. е. в смысле того, что называется карьерою, он, по-видимому, уже тогда имел основания рассчитывать на свое избрание в члены Государственного

совета; но и помимо этого он уже достаточно был изукрашен и чинами, и орденами, и в этом отношении не имел никакого повода, если предположить даже такую слабость в умном человеке, завидовать кому бы то ни было. Таким образом, выход Тимирязева из нашего состава имел в моих глазах симптоматическое значение: он увидал, что непопулярность Витте и всей его политики окончательно установилась, и не признавал никакой ни этической, ни практической причины жертвовать собою ради безнадежно осужденного дела. Вопрос о замещении вакантного с уходом Тимирязева портфеля был предложен председателем на наше общее обсуждение; предложенные кандидаты или сами отказывались занять место, или не были апробованы Государем, а потому его занял товарищ министра, М. М. Федоров, человек выдающихся душевных качеств, высокой честности и вполне либерального, но без всяких крайностей, направления. Странно, что Витте, знавший его лично, заставил нас ломать голову над вопросом о преемнике Тимирязева на те немногие месяцы, которые оставалось нам дотянуть до Думы.

Не стану я здесь давать характеристику всех наших коллег, что завело бы меня слишком далеко, но решаюсь сказать несколько слов о трех из них, а именно, о П. Н. Дурново, об Акимове и об А. А. Бирилеве.

П. Н. Дурново, как известно, большую часть своей служебной карьеры провел в Министерстве внутренних дел, в качестве сперва директора департамента полиции, а затем товарища министра при целом ряде последовательно сменявшихся министров; как известно также, двое из его принципалов окончили свою жизнь трагически, будучи убиты революционерами; я говорю о Сипягине и о Плеве. При этих министрах Дурново имел репутацию либерала и находился более или менее в оппозиции к их политике, что, однако, не помешало провести ему свою служебную ладью благополучно промеж подводных камней и мелей бюрократических подвохов и интриг; его начальники ценили в нем действительную трудоспособность и административный опыт. Те же качества ценил в нем и Витте, причем был убежден, по-моему совершенно ошибочно и напрасно, что он знаком со всеми нитями заговора против правительства и со всем ходом революции. Возникновение этого убеждения объясняется, мне кажется, тем, что сам Витте был совершенным новичком в полицейском деле, как вообще в области ведения Министерства внутренних дел, а потому осведомленность Дурново, какова бы она ни была, прямо импонировала ему. Заметив это, опытный чиновник, каковым был Дурново, использовал всю выгоду своего положения: то пугая, то успокаивая Витте, он мало-помалу прибрал его к рукам в таких вопросах, которые казались вначале второстепенными, но по мере накопления испортили Витте всю его обедню. Пресловутый либерализм Дурново оказался, конечно, весьма легковесного качества, и то, что при Плеве легко могло показаться либерализмом, при Витте после

издания Манифеста 17 октября превратилось в консерватизм, граничащий с обскурантизмом и ретроградством.

До Булыгинской совещательной Думы, до осторожной реформы местного самоуправления и крестьянского управления Дурново находил возможным идти; может быть, он согласился бы с уничтожением должностей земских начальников, но дальнейшие шаги, а тем паче действительное исполнение обещаний Манифеста 17 октября он искренне считал опасной авантюрою, могущей привести только к общей катаклизме. Наблюдая грозные явления, последовавшие за обнародованием Манифеста, события, следовавшие одно за другим с головокружительной быстротой и ясно доказавшие ему, человеку в таких делах опытному, развитие революции, серьезно угрожающей уже всему тому, чего даже Витте не думал касаться, как-то монархической власти, целости России и всего ее социального строя сверху донизу, он должен был, по складу ума и по выработанным убеждениям, признать, что зашли слишком далеко и что наступило время тормозить машину, если уж нельзя повернуть ее обратно.

Как известно, Витте не избрал его себе в сотрудники, а только застал его после смерти Плеве управляющим министерством[32]; как известно также, все попытки Витте привлечь к сотрудничеству общественных деятелей закончились неудачею: он и оставил Министерство внутренних дел in statu quo ante* в надежде, что дело как-нибудь устроится. Мне доподлинно известно, что друг и ближайший вначале сотрудник Витте, князь Оболенский, бывший раньше коллегою Дурново по министерству, советовал Витте самому взять портфель этого министерства, но он отверг это предположение, ссылаясь на то, что ему необходимо сохранить за собой общее руководство политикою, и на предчувствуемое им отсутствие времени для добросовестного исполнения обязательств по столь сложному ведомству. Я думаю, что он предвидел и другое, о чем не говорил: он знал, что реформы гладко не пройдут, что так или иначе, а придется прибегать к репрессиям, а поэтому принимать весь odium** их непосредственно на себя.

Естественные колебания Витте, не скрываемое им смущение перед разросшимся движением, направленным против правительства и лично против него, наконец доверие, оказываемое им опытности и знанию Дурново, дали последнему известные козыри в руки. Рядом с этим Дурново видел, что придворная партия, большинство сановников и высшее общество относились с явным недоверием и даже отвращением к новому курсу. Сложивши все вместе, нетрудно понять, на какую политику он должен был решиться. Не прибегая к открытому разрыву с председателем Совета, он смело повел "собственную линию", тормозя, где можно, всюду критикуя легкомысленность Витте и намекая, где можно, что ему приходится смотреть в оба, чтоб не стряслось беды. Утвердившись в таком образе действий, ему легко было во время частых своих всеподданнейших докладов передать свое личное впечатление Государю, противопоставляя испытанные и традиционные

способы борьбы с крамолою, звучавшие чем-то давно знакомым, опасным опытам Витте, дававшим пока только одни отрицательные результаты.

К концу декабря игра в сущности была сыграна: если вначале Государь не без больших колебаний верил в возможность для Витте достигнуть хороших результатов, то с этих пор доверие пропало почти окончательно; Дурново же, будучи назначен не по инициативе председателя Совета, а лишь с его неискреннего согласия, министром с 1 января почувствовал себя неоспоримо победителем в своем скрытом состязании с Витте, который, в свою очередь принужденный терпеть его в Совете рядом с собою, не мог в душе не возненавидеть его[33].

Акимов, заменивший собою С. С. Манухина, о выходе которого из нашего состава я говорил, был братом жены П. Н. Дурново. Довольно странно, что, хотя ко времени его назначения отношения между Витте и Дурново были уже очень натянутые, председатель Совета не совещался с нами о преемнике Министра юстиции, что он счел необходимым сделать по уходе Кутлера и Тимирязева. Сенатор Акимов был человеком пожилым; в отличие от своего предшественника, бывшего, как я говорил уже раньше, прекрасным юристом с очень солидными научными познаниями, Акимов теоретик был неважный, но, проведши всю свою жизнь в судах в качестве прокурора, члена и председателя, он недурно знал судебную практику. Человек он был, несомненно, безупречной честности, ставивший высоко звание судьи, но убеждений был, по времени, весьма отсталых, ультраконсервативных, а потому явился скорее политическим противником, чем сторонником Витте. Впрочем, нужно сказать, что он далеко не всегда был согласен и с Дурново и убежденно возражал ему часто, когда тот стремился заменить правильный суд административным произволом; зато он всегда был с ним согласен, когда поднимался вопрос об усилении репрессий, о большей строгости по отношению к революционерам, когда это не противоречило формальному закону. Витте его ценил и прислушивался к его мнениям, хотя далеко не всегда поступал согласно его советам. Для меня лично назначение Акимова так и осталось до конца загадкою, тем более, что он не скрывал своего скептического отношения не только к действиям, но даже и к самой личности Витте. Может быть, объяснения следует искать в том, что оба были одесситами, и на этой почве существовали какие-либо связи. Во всяком случае, Витте в лице Акимова не приобрел сторонника своих политических планов, и помощником ему он не был.

Наконец, третий министр, о котором я хотел сказать несколько слов, вице-адмирал Бирилев был, что называется, душа общества с видимой стороны, а в сущности человек себе на уме. Он не мешал Витте и не вмешивался в его дела, но при голосовании был почти всегда на стороне Дурново, товарищем которого он был по первоначальной его морской службе (Дурново воспитывался в Морском корпусе и служил в молодости морским офицером). Скептиком

Бирилев был ужасным и надо всеми посмеивался, а после заседаний любил рассказывать неправдоподобные анекдоты. Своих морских дел он нам не докладывал вовсе, и Витте в них не вмешивался, а когда кто-нибудь из нас интересовался ими — он отделывался рассказами, истина которых была явно весьма сомнительна и приспособлена к тому, что он хотел доказать в данном случае. С Государем Бирилев вел себя, очевидно, очень умело и мог похвастать тем, что один он из всего Совета министров удостаивался приглашения запросто к Царскому столу и на Царские охоты. Витте, по-видимому, побаивался его, но обращался с ним всегда очень деликатно и предупредительно, смеясь его шуткам, и давал ему высказываться по вопросам так пространно и в таком тоне, в каком он едва ли позволил бы кому-либо из нас распространяться, не оборвавши на второй фразе. При этом Витте уверял, что он очень ценит простой здравый ум адмирала, и даже иногда настаивал на том, чтобы он высказался по тому или другому вопросу. Бирилев никогда не отказывался исполнить такую просьбу, но никогда также не попадал своим советом впросак, начиная обыкновенно свою речь сакраментальною фразою: "Я рассуждаю очень просто...", а затем уже соображая, что можно сказать и что лучше попридержать про себя; говорил он, слегка заикаясь, часто указывал на свою глухоту, что тоже помогало ему обдумать свою речь и сказать то, что ему самому нужно было.

Приведенные мною три кратких характеристики наших сочленов по Совету дадут понятие читателю о Совете министров и положении его председателя; если вспомнить, что барон Фредерикс и граф Ламздорф в сущности почти не принимали активного участия в его занятиях, что военный министр Редигер тоже скорее сохранял "благожелательный нейтралитет", то картина станет еще определеннее.

Целый ряд дел был совершенно изъят из ведения Совета: таковы дела по Министерствам двора, иностранных дел, военному и морскому. Не затрагивали мы почти совсем и дел Святейшего Синода и Государственного контроля. Что касается Министерства финансов, то хотя И. П. Шипов и докладывал Совету целый ряд частных вопросов, и не проходило почти заседания, чтобы он не вносил то или иное дело в Совет, но все существенное по этому ведомству поступало в особое учреждение, называвшееся Финансовым комитетом, и составляло для всех нас абсолютную тайну. Так, вопрос о займе даже не подымался в Совете министров, составляя для нас такой же секрет, как и для всей публики, и всякий вопрос о нем считался неуместным любопытством. Из всего состава Совета министров в этот комитет входили, кроме председателя, только Министр финансов и Государственный контролер. Тайна занятий этого комитета была действительно сохраняема самым добросовестным и абсолютным образом, чего нельзя сказать о занятиях Совета министров, сведения о коих разглашались весьма быстро, причем, к удивлению большинства из нас, мы в утренних газетах читали о таких решениях, принятых накануне

вечером, и о таких прениях, происходивших в Совете, оглашение которых представлялось во всех отношениях неудобным, а иногда даже и опасным. Очевидно, некоторые из членов Совета были не в меру экспансивными и не понимали, о чем можно и о чем нельзя сообщать посторонним лицам. Витте это выводило из себя, и нам, всем составом, приходилось не раз выслушивать от него энергичные упреки по этому поводу, причем он приводил как примеры, достойные подражания, заседания западноевропейских кабинетов, решения которых оглашаются только тогда, когда это признается желательным, и наш Финансовый комитет, о занятиях которого ничего никуда не проникало. Один раз Витте удалось даже с достоверностью установить, кто из нашей среды оказался виновным в нескромности, и он уличил нашего бедного коллегу при всех нас в заседании, без всякой пощады. Сцена была не из приятных.

С января 1906 г. заседания Совета перестали быть ежедневными, а под конец его существования в первом своем составе, т. е. в марте и апреле, он созывался только два раза в неделю. Из характерных дел за этот период могу упомянуть о предложении усилить наказание за покушение на жизнь агентов правительства вплоть до смертной казни. Витте был сторонником этого проекта, указывая на то, что правительство не имеет права предоставлять своей судьбе городовых, жандармов и чиновников, которых революционеры расстреливают, как какую-нибудь дичь. Он указывал также на то, что частые расстрелы революционеров в Остзейских провинциях возмущают общественное мнение, потому что нет такого закона, который за их деяния карал бы смертною казнью; наконец, в качестве главного аргумента в пользу обнародования такого закона он приводил то соображение, что руководители и инициаторы политических убийств обнадеживают исполнителей тем, что они рискуют только заключением в крепости или каторгою, и что с созывом Думы будет объявлена немедленно всеобщая политическая амнистия, а следовательно, им не придется понести даже того наказания, к которому они будут присуждены. Против закона и против смертной казни вообще говорили князь Оболенский, Федоров и я, но большинство оказалось за проект. При составлении "мемории" было оговорено, что в Совете произошло разногласие, хотя не были упомянуты имена голосовавших за и против. Государь, однако, не утвердил мемории, согласившись с меньшинством[34].

Последним важным делом, рассматривавшимся в Совете, был проект основных законов, изданию которых до созыва Государственной думы Витте придавал особое значение. Не могу в точности и с достоверностью сказать, кто был первоначальным составителем проекта (говорят, какой-то киевский профессор)[35], но в Совете он рассматривался и обсуждался пункт за пунктом в целом ряде экстренных заседаний[36]. Разногласие было очень значительное, но Витте просил не затягивать прений, указывая на то, что каждому

члену Совета будет предоставлена возможность высказаться перед Государем, так как Его Величество имеет намерение созвать особое совещание в Царском, куда-де будут приглашены все министры и некоторые сановники по указанию Государя. Заседания этого совещания действительно состоялись, но на них не удостоились приглашения четверо из членов Совета министров, а именно, Шипов, Федоров, Никольский и я. Витте уверял меня, что он ни при чем в вопросе нашего устранения и что “триажем” занялись в Царском. Весьма возможно, что это так и было; впрочем, хотя я и имел намерение возражать против текста основных законов, и Витте знал об этом, но, конечно, мой голос в совещании едва ли изменил бы решение.

В заключение этой главы, в которой я не задавался целью изложить историю деятельности Совета или описать мою личную роль в нем, я хотел только представить читателю моих воспоминаний некоторые более интимные черты, могущие характеризовать его. Упомяну, что формальных журналов Совета министров совсем не велось, а потому никаких протоколов мы не подписывали, подписывались только мемории, т. е. акты, в которых излагались окончательные решения Совета по отдельным вопросам с мотивировкою этих решений, составленною на основании прений. Эти мемории представлялись Государю на утверждение. Нашему “разгону” я думаю посвятить особую главу.

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, КОМИТЕТ МИНИСТРОВ И ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Кроме непосредственно своего дела по управлению соответствующим ведомством и кроме обязательного присутствования в Совете министров, на министрах лежало немало и других забот по разработке вопросов, поступавших в Государственный совет, в Комитет министров и в разные временные комиссии. В Государственном совете все министры и главнокомандующие числились членами и имели все права таковых, пока они занимали свою должность; даже в печатных списках членов этого высшего учреждения они были занесены не под особою рубрикою, а вперемежку с членами Совета, в порядке старшинства состояния в своем чине[i]. При голосованиях министры опрашивались наравне с прочими членами Государственного совета, и в общих собраниях их голоса считались наравне с остальными, так что в журнал вносилось, что за такое-то решение высказалось столько-то "особ", а против — столько-то, без упоминания о том, сколько в числе "особ" было министров. Особая привилегия министров заключалась в их праве посылать за себя в Государственный совет товарища министра, который пользовался на этот раз всеми правами своего принципала, но в списках членов Совета товарищи не значились; собственно члены Совета правом замены себя другим лицом или правом передачи голоса не пользовались.

Как известно, вероятно, читателям, члены Государственного совета делились на присутствующих в общих собраниях и присутствующих в департаментах. В общих собраниях заседали все, в департаментах — только некоторые; некоторые члены Государственного совета назначались ежегодно 1 января на год к присутствованию в том или ином департаменте особым именным указом. И тут министры пользовались особой привилегиею: присутствовать во всех заседаниях департаментов, на которые они получали приглашение, с правом голоса наравне с членами; и здесь они имели право посылать за себя товарищей.

Нормальный ход всякого дела, вносимого в Государственный совет, был таков: законопроекты или вопросы, требовавшие законодательной санкции, возбуждались соответствующим министром и разрабатывались в его министерстве; затем они препровождались в Государствен-

[i] Для ясности сказанного предположим, что в числе Министров нет ни одного действительного тайного советника, а только тайные и д.ст. советники, а членов Государственного Совета в чине д.т.сов. — 40 человек. Тогда все эти сорок человек будут значиться под номерами от 1 до 40; затем под № 41 будет значиться член Гос. Совета, произведенный в т.сов., скажем, в 1898 г., под № 42 Министр, произведенный в чин в том же году, затем два члена Гос. Совета, произведенных в т.с. в 1899 г. под №№ 43 и 44, Министр, произведенный в тот же чин в 1900 г. — под № 45 и т.д.

ную канцелярию, которая, ничего не изменяя в проекте, снабжала его справками из действующего законодательства и направляла в соответствующий департамент Государственного совета. Департамент, обязательно в присутствии министра, внесшего проект, или его товарища, рассматривал проект. Если проект принимался по его обсуждении единогласно, то он обыкновенно вносился в общее собрание только pro forma* и мог считаться заранее одобренным; тогда обыкновенно читался заголовок дела статс-секретарем с указанием, что департамент полагал утвердить вопрос, и он шел на Высочайшее утверждение от Государственного совета без оговорок. Если же в департаментах происходило разногласие, то вопрос обязательно докладывался общему собранию in extenso** и обсуждался там. Так как члены департаментов и министры входили в состав общего собрания, то ясно, что и тут происходило разногласие, и Государю докладывались мнения и большинства и меньшинства, причем в журнале обозначалось поименно, кто за какое мнение подал свой голос. Так как для того, чтобы признать существование разногласия, достаточно было хотя бы одному из членов заседания отказаться присоединиться к мнению остальных, то в департаментах, для ускорения хода дела, председательствующим всегда прилагались все усилия уговорить "инакомыслящих", когда их было немного, присоединиться к мнению большинства, пожертвовав, например, второстепенными пунктами. Весьма часто в числе лиц, производивших разногласие, находились министры, весьма естественно, защищавшие каждую мелочь внесенного и обдуманного ими проекта; но они же, заметив отрицательное отношение членов департамента, нередко уступали в мелочах, хотя и очень для дела важных, дорожа судьбою всего проекта, боясь за результат обсуждения его в общем собрании, если он поступил туда с разногласием. Эта почти общая в департаментах Государственного совета боязнь разногласий, страшно затягивавших дела, объясняет весьма частые искажения первоначальных проектов министров, для непосвященных иногда мало понятные.

Общие собрания Государственного совета происходили в круглом зале Мариинского дворца с верхним светом; зал был окружен колоннами и имел купол со световым фонарем в середине. Когда становилось темно, он освещался многочисленными электрическими лампочками накаливания. Члены Гос. совета сидели по старшинству чинов, за исключением министров, сидевших по правую руку от председательствующего тоже по старшинству чинов между собою. Хотя некоторые из министров были сами по себе, помимо занимаемой должности, членами Государственного совета, но сидели с коллегами, а не на своем месте среди других членов Гос. совета. Кстати, таковыми были наш председатель граф Витте, барон Фредерикс, граф Ламздорф, Редигер, Бирилев и князь Оболенский; позже к ним присоединен был Дурново[i]. Тот факт, что эти министры

---

[i] Акимов и Философов попали в Гос. совет после отставки кабинета Витте, а Манухин раньше, но тоже при выходе из министерства *(Прим. автора)*.

были членами Гос. Совета, независимо от занимаемой ими должности, не давал им никаких лишних прав; разница между нами и ими была только та, что, лишившись министерского поста, мы ipso facto* переставали быть членами Государственного совета, они же оставались таковыми. В нормальное время общие собрания происходили один раз в неделю и открывались всегда весьма аккуратно в час дня; в описываемый мною случайный год таких заседаний бывало иногда по два и даже по три на неделе. Члены большею частью являлись очень аккуратно, все обязательно в "малых" мундирах, т. е. без шитья на груди и на фалдах, и в темных штанах без лампасов; ордена и звезды надевались, но без лент; военные — в мундирах с погонами и тоже в орденах. Вся обстановка придавала общим собраниям очень торжественный вид.

Председательствовал в общих собраниях председатель Государственного совета, каковым в 1905/06 гг. был старик граф Сольский; в случае его отсутствия по болезни председательствовал старший по службе председатель одного из департаментов Гос. совета, в данном случае статс-секретарь Фриш, тоже древний старик, а когда он не мог быть — следующий по старшинству председатель департамента, адмирал Чихачев. Председатель руководил всеми прениями, и от его дискреционной власти зависело установление очереди говоривших, дозволение тому или другому высказаться и прекращение прений. Как граф Сольский, так и Фриш, оба замечательно умные люди, были прекрасными председателями, только первый из них по старости говорил очень тихо и иногда невнятно. Во время прений каждый из членов, желавший говорить, вставал, не сходя со своего места, и произносил свою речь обязательно стоя и обращаясь к председателю, которого всегда "титуловали": Ваше сиятельство или Ваше высокопревосходительство. Упоминая в речи о сочленах, ораторы всегда употребляли такую формулу: его сиятельство граф Иван Иванович, его высокопревосходительство Дмитрий Фомич и т. д.; говоря о министрах, допускали вариант такого рода: его сиятельство господин председатель Совета министров или просто: господин председатель Совета министров, господин Министр юстиции и т. д. Когда назначался новый член Государственного совета, то он являлся в первое по назначении его заседание в ленте и в темных штанах с лампасами; председатель по открытии заседания читал указ о его назначении, после чего все присутствующие вставали и кланялись со своих мест новому сочлену, который, тоже со своего места, молча кланялся на все стороны; затем все усаживались, и заседание продолжалось; при этом речей никаких никогда не произносилось.

Рассказываю я об этих мелочах потому, что они произвели на меня впечатление чего-то весьма архаического, но торжественного, почти иератического. Думаю, что самое существование традиционной торжественной обстановки, переносившей за сто лет назад, и привычка к установленным и строго соблюдаемым формам должны были наложить свою печать на самый образ мышления высших сановников Империи, и я представляю себе, как новшества, предлагаемые к введению в государственный механизм, должны были казаться многим из

них дерзким святотатством, нарушением стародавних, освященных традициею и практикою приемов управления. Как часто во время перерывов заседаний мне пришлось подслушать вздох того или иного сановника и его замечание: "Да, недолго нам придется заседать так торжественно и так спокойно: в новом Государственном совете будут, вероятно, сидеть в пиджаках и в поддевках и говорить друг с другом на ты или ругаться скверными словами"... Кстати, в "особых совещаниях", собиравшихся в здании Гос. совета главным образом по вопросам, связанным с Государственною думою и реформированным Гос. советом, но также и по другим вопросам (нового уложения, веротерпимости и т. п.), члены приходили просто в сюртуках, и на это старики указывали, как на зловещий и невиданный признак крушения привычных и достойных уважения форм. Чтобы не возвращаться более к описанию этих форм, добавлю, что в заседаниях департаментов Гос. совета присутствующие были не в мундирах, а в мундирных фраках (вицмундирах), т. е. в так называемой служебной форме, что соответствовало более деловому, а иногда даже интимному характеру заседаний департаментов сравнительно с общим собранием, где преобладала торжественность и отчасти ораторское искусство или потуги на него.

Хотя по точному смыслу закона Гос. совет имел только совещательное значение при Государе, являвшемся, как неограниченный монарх, единственным источником законодательной власти, и хотя Император мог всегда согласиться с меньшинством Совета или отвергнуть мнения как большинства, так и меньшинства, постановить свое собственное решение, которое имело такое же значение непреложного закона, как если бы оно было согласно с мнением Гос. совета, но так как фактически не только подобного рода самостоятельные решения, но даже утверждение Государем мнения меньшинства были крайне редки и за сто лет существования Гос. совета могут быть легко сосчитаны в виде совершенно исключительных случаев, то в действительности Гос. совет, по справедливости, мог быть почитаем настоящим и единственным в России законодательным учреждением. Его совещательное значение обнаружилось только, в сущности, в формуле наименования его решений, которые назывались мнениями: "Государственный совет мнением положил", "Высочайше утвержденное мнение Государственного совета"; в действительности это были решения, требовавшие только санкции Монарха.

Из кого же состояло это высшее Государственное учреждение, устанавливающее все законные формы жизни страны? Назначение членом Государственного совета, конечно, зависело de jure* исключительно от благоусмотрения Императора. Иногда Государь и назначал лиц просто почему-либо нравившихся ему, по большей же части кандидаты указывались или председателем Государственного совета, или государственным секретарем. Лица, занимавшие особенно высокие и ответственные посты, как-то министров, генерал-губернаторов,

особенно долго прослужившие товарищами министров, являлись обычными кандидатами; иногда, в последнее время чаще, чем раньше, назначались членами Гос. совета и простые губернаторы, почему-либо особо угодившие правительству или пользовавшиеся особою протекциею; наконец, в довольно значительном количестве призывались в Гос. совет заслуженные генералы. Нередки были случаи, когда назначение членом Государственного совета являлось почетною отставкою: когда какое-либо лицо занимало высокий пост, было в известном возрасте и хотели от него избавиться, его "сплавляли" (почти terminus technicus*) в Гос. совет вместо того, чтобы дать чистую отставку. Раз попавши в Совет, лицо оставалось членом его до самой своей смерти, числясь на действительной службе, получая жалованье и награды.

Из сказанного ясно, что состав Гос. совета был довольно пестрый по качествам членов, хотя всех их объединял один признак — более или менее долговременная административная, судебная или военная служба. Большинство членов было возраста весьма почтенного: я думаю, не менее одной трети перевалило за седьмой десяток и, конечно, не менее половины имело более 60 лет от роду; моложе 45 лет, конечно, никого не было, а средний возраст членов был выше 60 лет. В среде их было довольно заметное число юристов, превосходно знавших Свод и часто свободно цитировавших на память статьи законов, но было много и таких, для которых юриспруденция была чистейшая тарабарщина. Никогда не забуду одного почтенного генерала, члена Гос. совета, который после одного голосования подошел ко мне и говорит: "А я с Вами голосовал; я спросил, за что подал голос граф Иван Иванович, и когда мне сказали, то присоединился к мнению, за которое Вы голосовали. Ведь я — человек военный и в ваших штатских делах ничего не понимаю; Вы очень симпатично говорили, я и решил, что Вы, должно быть, правы. Я всегда так делаю: если кто-нибудь мне симпатичен (с любезной улыбкою), то я присоединяюсь к его мнению: ведь во всех этих вопросах сам черт ногу сломит, не знаешь иной раз, что лучше..." Этот генерал был откровенен, но сколько было членов Гос. совета, которые, делая глубокомысленное лицо, голосовали за то или другое только потому, что таково было мнение Ивана Ивановича или Сидора Петровича, "а они должны знать".

Граф Витте очень высоко ценил государственный опыт и знания некоторых из членов Государственного совета, но отлично знал цену этого учреждения в полном составе; поэтому насколько он охотно обращался, например, к графу Сольскому, Фришу, Сабурову, Таганцеву и некоторым другим, когда нужно было обсудить и выработать текст какого-либо законопроекта, настолько его выводила из себя необходимость вносить эти законопроекты в Государственный совет. Зная, что при обычном ходе дел всякий вопрос, внесенный в это учреждение, должен был ждать своей очереди и фактически рассматривался только через несколько месяцев после того, как он бывал возбужден, Витте не мог этого допустить для тех правительственных мер, которые

ему необходимы были сейчас, без всякого промедления. Совершенно игнорировать Гос. совет при издании ряда важнейших правительственных актов не было ни законной, ни фактической возможности: с одной стороны, до созыва Гос. думы порядок управления оставался прежним, и Витте не получил диктаторских полномочий, с другой — и Государь желал иметь по многим вопросам мнение Государственного совета, что с юридической точки зрения, несомненно, было правильно и против чего даже и возражать было трудно при существующем государственном устройстве.

При существовании этой дилеммы, оставалось придумывать разные способы, могущие уменьшить зло неизбежной и в данном случае страшно опасной волокиты. Вот на чем Витте остановился: он выхлопотал у Государя учреждение особой комиссии под председательством графа Сольского[1], в состав которой входили несколько членов Гос. совета и все министры. Этой комиссии было поручено разработать положение о Думе, о реформированном Государственном совете и о выборах в обе эти "палаты". Результаты трудов комиссии рассматривались в Царском Селе под личным председательством Государя Императора, причем Его Величество дополнил состав совещания несколькими лицами, не входившими в состав комиссии (между прочим, присутствовал Д. Ф. Трепов). Относительно остальных вопросов (законы о печати, о собраниях и союзах, о стачках и т. д.) Витте выхлопатывал у Государя высочайшие повеления председателю Гос. совета о немедленном их вне всякой очереди рассмотрении, причем предписывалось обсудить их в одно или несколько заседаний, в последнем случае назначаемых ежедневно. Это было поистине героическое средство, заставившее бедных стариков заседать иногда по нескольку дней подряд с часу до семи. При такой системе поневоле пришлось любителям поговорить сдерживаться, председательствующему зорко следить за возможным сокращением прений. Несмотря, однако, на все старания вопрос иногда затягивался, так как старики ни за что не хотели пожертвовать самыми глубокими убеждениями своими, не могли согласиться с необходимостью жить и смотреть на вещи по-новому. Витте выходил иногда из себя, и сколько раз, бывало, произнесши нескладную по форме, но резкую и убедительную речь, он, чтоб успокоиться, выходил из залы заседания покурить и, в возбуждении ходя взад и вперед по советскому буфету, как зверь в клетке ворчал: "Ну что тут поделаешь? Работаешь, не спишь по целым суткам, спешишь дело делать, а тут приходится еще время терять. Им легко рассуждать и сидеть каждый день по шесть часов; им нечего другого и делать, а мы теряем время; и ведь не с них, а с меня все взыщут, если я что-нибудь вовремя не сделаю. Господи, вот каторга..." и, бросивши папиросу, опять большими шагами шел в зал, опускался на свое место, чтобы через некоторое время опять вскочить с возражением кому-либо из говоривших с новою энергиею.

Действительно, сидение в Гос. совете было для всех нас, министров, тяжелою обязанностью в том смысле, что отрывало нас от прямого нашего дела и притом часто весьма непроизводительно. Но не быть самому или не посылать за себя товарища, у которого дела тоже было по горло, было невозможно, так как, помимо неприличия, если б представитель ведомства постоянно отсутствовал, легко могло всегда случиться, что какое-нибудь бесповоротное решение в виде сюрприза свалилось бы на наши головы. Должен, впрочем, оговориться, что между 3 и 4 часами делался всегда перерыв на полчаса, во время которого все почти переходили в небольшую залу, служившую буфетом; здесь членам Гос. совета предлагались казенные чай и кофе с булками и калачами (другого ничего не полагалось и ничего, кроме еще содовой воды, достать нельзя было). Во время или после перерыва, когда видно было, что нас дело не коснется, мы могли приличным образом ретироваться, не возвращаясь в зал. Председателю Совета министров такое бегство было гораздо затруднительнее, так как, естественно, он был заинтересован почти во всех делах, разбиравшихся в общих собраниях Государственного совета.

В заключение моих впечатлений о Государственном совете упомяну, что особенно много всегда говорили: И. А. Сабуров, граф К. И. Пален и И. И. Шамшин; эти три члена не пропускали почти ни одного дела, чтобы не произнести речи, первый из них всегда более или менее в либеральном духе, двое последних — в крайне консервативном. Кроме них очень часто и всегда очень долго и пространно говорил Таганцев, прочитывая Совету целые лекции. Был еще приблизительно десяток членов, говоривших, но реже и короче упомянутых, остальные молчали и только голосовали.

Гораздо по существу важнее и интереснее заседаний Государственного совета были особые совещания, и из них, конечно, те, в которых председательствовал Государь Император. Таких заседаний под председательством Его Величества в Царском Селе было всего за время министерства Витте три серии: по новому положению о Государственной думе, по положению о Государственном совете (новом) и по вопросу об основных законах[2]. Я принимал участие, как все министры, в первых двух сериях. К третьей, т. е. той, в которой разбирались основные законы, я приглашен не был, так же как и мои коллеги Шипов, Федоров и Никольский; причины этого остракизма я не доискивался и до сих пор, признаться, ее не знаю, хотя очевидно, что присутствие нас четверых из всего состава Совета министров признано было или ненужным или опасным, а вообще нежелательным. Поэтому я могу говорить только о двух первых сериях.

Заседания происходили днем, в большом Царскосельском дворце, в обширном зале в два света, причем зал этот занимает всю ширину дворца и, следовательно, освещается с двух сторон двойным рядом окон: две поперечные стены снизу доверху вместо обоев сплошь забраны картинами, большею частью голландской и фламандской школ;

как раз в центре этих стен у каждой из них — по монументальной кафельной печи из белого с синим “дольфта”. Из окон с одной стороны виден был парк с вековыми дубами и липами, а с другой — великолепный открытый двор или, вернее, площадь, окаймленная дворцовыми белыми постройками в стиле Людовика XV. В этом зале были составлены большие столы широким покоем, покрытые зеленым сукном. Приглашены были на заседание не одни министры, но и другие лица: во-первых, конечно, те, которые участвовали в Совете министров в выработке положения о Думе, а именно, гр. Сольский, Фриш и Таганцев, а кроме того ряд других сановников: председатели департаментов Государственного совета Чихачев, Тернер и Голубев и члены Государственного Совета гр. Пален, Половцов, ген.-адъют. Рихтер, гр. А. П. Игнатьев, Воеводский, И. А. Сабуров, Стишинский, кн. Смоленский (брат обер-прокурора), главноуправл. собств. Его Величества Канцеляриею Танеев, гос. секр. бар. Икскуль, главноупр. Канцеляриею по принятию прошений бар. Будберг. Кроме того, принимали участие Д. Ф. Трепов и почему-то артиллерийский генерал, ничего общего со всеми присутствующими не имевший. На всех заседаниях, по правую руку от Государя, присутствовал Великий Князь Михаил Александрович. Поездок в Царское была целая серия, и каждый раз они происходили совершенно одинаковым образом: все мы, к назначенному времени съехавшись, собирались в Императорских комнатах Царской ветки Царскосельской ж. д. Форма одежды был мундирный фрак (вицмундир) при белом галстуке и лентах, военные — в сюртуках. Так как все съезжались заблаговременно, то приходилось несколько ждать, а затем усаживались в экстренный поезд, управляемый и обслуживаемый 1-м железнодорожным батальоном. В поезде было несколько салонов, и время проходило в оживленных разговорах — воспоминаниях стариков о прошлом и горячих комментариях по текущим событиям. На Царскосельской станции нас ожидали придворные экипажи, в которые нас усаживали по двое; моими обычными компаньонами по карете были или Оболенский или Немешаев. Приехав во дворец, мы шли прямо в вышеописанный зал по анфиладе комнат, мимо часовых; гр. Сольского, еле передвигавшего ноги, везли до места в креслах на колесах; иногда по болезни он в заседаниях не присутствовал. Минут через десять после того, как мы все были собраны в зале, приходил Государь в сопровождении великого князя, причем в некотором расстоянии сзади шли дежурный флигель-адъютант, офицер охраны, гофкурьер и скороход; эти лица в зал не входили, и тотчас после входа в него Государя все двери закрывались. Государь входил, здоровался со всеми присутствующими за руку, причем с некоторыми перекидывался вполголоса двумя-тремя словами, а затем садился на свое место в середине длинной стороны стола; по правую руку Его Величества садился великий князь Михаил Александрович. Тотчас все садились на свои места, наперед назначенные, и Государь, окинув предварительно взглядом всех присутствующих,

открывал заседание. Приблизительно через четверть часа после начала заседания Государь вынимал свой портсигар и закуривал папиросу, причем предлагал всем желающим курить; многие спешили воспользоваться этим дозволением и дымили одною папироскою за другою (от них же первый есмь азъ). Часа через два после начала заседания делался небольшой перерыв для чая, причем его вносила на небольших подносах, так же как и булки и сухари, целая процессия придворных лакеев. Во время чая Государь и, по его примеру, конечно, и все присутствующие, за исключением гр. Сольского, вставали со своих мест и, разбившись на группы, разговаривали. Государь тоже в это время стоя говорил, обыкновенно с Витте, Паленом или Фришем. Через четверть часа заседание возобновлялось. После окончания заседания, которое затягивалось обыкновенно до семи часов, двери, через которые приходил Государь, раскрывались на обе половинки, и Его Величество, подавши руку ближайшим соседям по столу, остальным делал общий поклон и уезжал в Александровский дворец, в котором жил. Мы все, прежним порядком, садились в экипажи и возвращались в Петербург на том же поезде, который нас привез. Разговоры были в поезде обыкновенно еще оживленнее, причем обсуждались главным образом, конечно, впечатления от заседания, и шли споры и упреки друг другу, отчего не поддержал, почему не сказал, не разъяснил и т. п.

Государь председательствовал великолепно: спокойно, беспристрастно, давая каждому высказаться, переспрашивая, когда что-нибудь было неясно, и наблюдая за тем, чтобы желавшие говорить соблюдали очередь. Открывал он заседание всегда коротенькою речью, в которой излагал предмет предстоящего обсуждения, и обыкновенно обращался к присутствующим с просьбою не затягивать прений и, по возможности, ограничивать свои речи изложением сути своей мысли. К сожалению, это условие менее всего соблюдалось, и не надо было удивляться терпению Государя, с одной стороны, и неделикатности ораторов, с другой, при виде того, когда тот или иной из присутствующих без всякого милосердия размазывал в течение получаса и более мысль или объяснение, которые легко можно было бы изложить в пять, много десять минут.

Открывая первое заседание, Государь в весьма ясных и простых словах, и безупречно правильным языком, указал на важность предмета заседания, на свои надежды, что коренное изменение строя России послужит на пользу народа, что при предстоящей ломке неизбежны ошибки и промахи, почему нужно действовать с необходимою предосторожностью и обдуманностью, что поэтому присутствующие должны высказываться возможно яснее, ничего не утаивая, совершенно откровенно и не скрывая своих мыслей из боязни не понравиться или не быть понятыми. Речь была краткая, прекрасная по содержанию и по форме и произнесена была замечательно кратко.

Первым после Государя говорил Витте. Речь его меня поразила: та определенность и ясность преследуемой цели, к которым я уже

привык, когда наш председатель излагал мысли, признававшиеся им важными, как бы не существовали вовсе, оставалась только обычная, хотя и смягченная, резкость выражений. Речь была длинная, можно сказать, бесконечная, наверно тянувшаяся более часа. В ней Витте главным образом подчеркивал, что Государь решил перейти от абсолютной формы правления к конституционной, что это следует считать исходным пунктом всех рассуждений, но что полезные пределы ограничения самим Императором своей власти еще не установлены Его Величеством и что предстоящие суждения будут иметь своим предметом выяснение этого вопроса. Витте заявил, что считает своим долгом предупредить слишком решительные шаги в эту сторону, так как, с одной стороны, масса русского народа находится еще на весьма низкой степени развития, а с другой — такая огромная страна, как Россия, требует сильной и самостоятельной власти, но что, тем не менее, существующий способ управления страною доказал всю свою несостоятельность, а потому необходимо, не теряя времени, решиться перейти к совершенно новому режиму, обратив Россию в правовое государство. Он особенно долго и настойчиво остановился на вопросе о современном состоянии, указывая, что Россия находится в состоянии революции, и что положение с каждым днем ухудшается благодаря энергии и умелости руководителей движения, поэтому необходимо установить такой способ выборов в Государственную думу, который, по возможности, гарантировал правительство от того, чтоб в нее вошли исключительно или главным образом крайние элементы, а не люди, действительно представляющие мнение населения, искренно преданного своему Царю... Перейдя к предварительному разбору проекта, Витте, несмотря на то, что он весь был разработан под его руководством, стал указывать на слабые его стороны, на все то, что его смущало во время его обсуждения и выработки, докладывая, что по тому или другому вопросу были высказаны такие-то мнения, но что все они его не удовлетворяют, что так скверно и эдак нехорошо. Выходило почти так, что, по его мнению, куда ни кинь — все клин.

Вспомнить содержание всей вступительной речи Витте я, конечно, не в состоянии, так как никаких заметок я не делал, а передаю только общее впечатление, какое она на меня произвела: она не меня одного поразила и своею расплывчатостью и старанием припомнить все возражения, которые высказывались в наших заседаниях против проекта в целом и в частностях. Витте как будто думал перед Государем и всеми нами вслух и, как часто человек при обдумывании важного для себя жизненного вопроса, стоя на перепутье, мучает себя, приводя в уме аргументы за и против каждого своего решения, так и здесь он мучил Государя своими сомнениями и нерешительностью — как будто преодолевши целый ряд препятствий, он остановился в раздумье перед последним барьером, говоря хозяину: “Предупреждаю, что здесь я могу погубить твоего коня, а потому решай сам, брать ли барьер, или

нет; конь ведь твой, и я на себя ответственность за последствия брать опасаюсь".

Длинная речь Витте, являвшаяся попыткою предварительного критического разбора проекта, побудила многих из присутствующих возразить таким же разбором — кого в защиту проекта, кого с нападками на него. Государь, терпеливо выслушавший всех, решил, наконец, положить предел этому потоку речей и предложил перейти к рассмотрению проекта по статьям. К сожалению, и тут у говоривших не достало деликатности, несмотря на предупреждение Государя о желательности быть по возможности кратким, умерить свои ораторские упражнения. Выходило почти так, что перед Государем возобновлялись заседания Совета министров с приглашенными лицами, и не будь в нашей среде все-таки достаточного количества членов Совета, воздержавшихся от возражений и повторений своих доводов, которые приводились ими при разработке проекта, заседания под председательством Его Величества заняли бы не только менее времени, сколько потребовалось для выработки проекта, но даже еще более, так как здесь присутствовали и новые лица, которым нужно было предоставить высказаться.

Признаюсь, я не в состоянии припомнить теперь всего хода рассуждений, да если бы и смог это сделать, то это завело бы меня слишком далеко; упомяну только, что П. Н. Дурново, усевшийся рядом с Треповым, все время перешептывался с ним и усердно возражал Витте. Эти возражения не имели, однако, особого влияния на решения Государя. Надо заметить, что вопросы не голосовались: Государь Император выслушивал всех, желавших высказаться по предмету, затем перечитывал про себя текст обсуждаемой статьи, а затем решал, сохранить ли ее, изменить или выбросить. Должен добавить, что Его Величество в подавляющем большинстве случаев, выслушав мнения и за и против, решал сохранить первоначальный текст проекта.

Я заметил, что многие говорившие начинали свою речь словами: "Позвольте, Ваше Величество, по долгу присяги и совести высказаться"... а затем следовали рассуждения, перемешанные с уверениями в чистоте верноподданнических чувств. Конечно, Государь настолько привык к этим заявлениям, что едва ли они производили то впечатление, на которое рассчитывали ораторы. Я не сомневаюсь в искренности говоривших и уверен, что им самим произносимые слова казались трогательными и исходили часто от сердца, но Государь явно не признавал их аргументами в пользу того или другого решения, и они сохраняли за собою значение именно только одной формулы.

В одно из заседаний были приглашены "общественные деятели" в лице бар. Корфа (Петерб. губ.), Шипова, Гучкова (Моск. губ.) и гр. Бобринского (Тульск. губ.). Вопрос, по которому главным образом желательно было их заключение, касался того, нужны ли прямые (всеобщие) выборы в Гос. думу или двухстепенные. Все приглашенные единогласно высказались за прямые всеобщие выборы. Больше

всех и обстоятельнее говорил Шипов, Гучков сказал краткую, но замечательно толковую и убедительную речь, всем понравившуюся и произведшую впечатление, кажется, и на Государя. Гр. Бобринский горячился и волновался, поэтому речь его не столько была логично построенною, сколько трогательною и воодушевленною. Ее значение заключалось в том, что он и сам был до этого сторонником ограничения избирательного права и был представителем дворянства, тоже стоявшего за такое ограничение: в своей речи он это подчеркнул, заявивши, что он, тем не менее, как честный человек и как верноподданный, считает долгом заявить, что он лично изменяет свое мнение и высказывается всецело за прямые выборы.

В этот день заседание было назначено с 11 часов утра, и до часу дня оно было посвящено выслушанию речей названных четырех лиц. В час был сделан перерыв для завтрака, сервированного в небольшом зале за круглыми столами, за которыми помещалось человек по семь-восемь. Я сидел, между прочим, за одним столом и рядом с Гучковым. Государь перед тем, как отпустить нас к завтраку (Его Величество уехал завтракать, кажется, с Императрицею), очень милостиво беседовал с земцами, особенно долго с Гучковым, который, видимо, понравился. За завтраком впечатление было такое, что мнение земцев восторжествует, и об этом с уверенностью говорили мне и Гучков и гр. Бобринский, который очень волновался вопросом, имел ли он, как представитель группы с определенными взглядами, право поступить так, как он поступил. Я ему говорил, что он поступил правильно, по совести, так как предупредил в своей речи, что высказывает свое личное убеждение, которое противоречит воззрениям избравших его дворян и его собственным, которых он раньше придерживался. Надежды земцев были тем более обоснованны, что большинство министров тоже перешло на сторону их воззрений. Последствия, однако, не оправдали этих надежд.

После завтрака земцы были отпущены, и заседание возобновилось в обычном составе. После нескольких речей в пользу мнения земцев (кн. Оболенский, Философов, Тимирязев и др.) посыпались возражения, прежде всего со стороны Дурново, Стишинского, гр. Игнатьева и гр. Палена; но наиболее энергичную речь против предложения земцев произнес Таганцев, критикуя его и с практической и с теоретической точек зрения; мне кажется, что именно он оказал наибольшее влияние на окончательное решение. Витте говорил неопределенно, взвешивая аргументы и за и против, напирая только на то, что нельзя приостанавливать выборы от крестьян и менять систему их, когда часть уполномоченных уже избрана и когда им обещано отдельное представительство. Вся его работа сводилась к тому, чтобы в Думу попало как можно меньше революционеров, но он признавал возможность этого явления как при одной, так и при другой системе выборов. Единственный положительный его аргумент в пользу системы выборов, предположенной по проекту, был тот, что если сразу дать всеобщие и

прямые выборы, то нечего будет уступать, так как, каковы бы ни были правила и права, данные Монархом, нужно приготовиться к тому, что народное представительство, по примеру всех парламентов мира, будет требовать и в конце концов добьется их расширения. Заседание затянулось до позднего часа. Когда аргументы были исчерпаны, Государь не сразу решил вопрос и объявил, что обдумает решение. В конце концов Государь отдал предпочтение проекту против мнения земцев.

Когда кончилась серия заседаний по вопросу о Государственной думе, Государь произнес краткую, но очень прочувствованную речь, в которой выразил надежду, что новое учреждение послужит на пользу Родине и выведет ее из того грустного положения, в котором она находится. Каждый из нас чувствовал, что Государь говорил от души и был более взволнован, чем хотел это показать. Вообще Его Величество во время заседаний был замечательно спокоен, и трудно было в нем подметить хотя бы тень волнения. Один только раз он выразил в очень определенных выражениях неудовольствие по поводу того, что происходящее в заседаниях на следующий же день становилось достоянием газет, тогда как заседания должны были считаться строго закрытыми и обсуждаемое в них — не подлежащим оглашению. Кто был виновником или виновниками нескромностей — так, кажется, и не удалось узнать, а Государь и не велел доискиваться, но факт этот мне кажется любопытным и достойным упоминания.

Серия заседаний по вопросу о реформе Государственного совета происходила тем же порядком и мало чем отличалась от первой, а потому я останавливаться на ее описании не буду.

Может быть, как раз здесь будет уместно сказать несколько слов о попытке Государя устроить заседания Совета министров под своим личным председательством. Таких заседаний, помнится, было всего три, все в Царском Селе, в Александровском дворце[3]. В первом из этих заседаний, собранном, если я теперь не ошибаюсь, уже в ноябре 1905 г., принимали участие, кроме министров, еще гр. Пален, Фриш, Половцов и Голубев, а также Великий Князь Михаил Александрович. Трактовались вопросы об общем положении дел и специально мерах воспособления крестьянству. Витте нарисовал перед Государем ужасающую картину общей разрухи, называя ее революциею и настаивая на том, что мы присутствуем именно при настоящей и несомненной революции. Будучи сам страшно расстроен и подавлен происходящим вокруг нас, он явно даже сгущал краски, желая передать свои впечатления Государю. Коснувшись вопроса о настроении в школе, Витте сослался на полученные от меня недавно сведения о скверном Союзе гимназистов и Союзе учителей; говоря о мерах против революционного движения вообще, он указал на Манухина, который может сообщить, насколько судебному ведомству трудно справляться со своею задачею. Это дало ему повод при всех нас высказать Государю несколько основных положений, которых он тогда держался. Указы-

вая на то, что первопричиною расстройства государственной машины является дурная система управления, основанная исключительно на полицейских репрессиях, он сказал приблизительно следующее: “На полицейских и вообще административных мероприятиях, Ваше Величество, далеко не уедешь; я не отрицаю их необходимости, но, во-первых, они не должны преобладать, а во-вторых, кроме них и на первом плане должны стоять меры совершенно иного свойства. Я убежден, что излишняя строгость и жестокость являются признаком слабости, а не силы, и что жесток только тот, кто не чувствует в себе силы быть справедливым. Итак, я думаю, что правительство, испробовав всю тщету применения строгости и жестокости, должно перейти к другой системе, и в этом отношении мне представляются две цели, к которым следует неуклонно и настойчиво стремиться: первая из них — устроить народное представительство, которое уничтожило бы произвол и насилие власти, а вторая и, может быть, в настоящую минуту еще более важная — позаботиться об устроении крестьянства”.

“Ваше Величество, не откажитесь припомнить и подтвердить, что я имел счастье всеподданнейше докладывать об этом и два и три года назад, когда я был еще министром финансов. Я еще тогда говорил Вашему Величеству, и Вы, Государь, изволили соглашаться со мною, что крестьянский вопрос для нас вопрос — краеугольный, что без удовлетворительного его решения мы полетим в пропасть. Мое пророчество сбылось быстрее, чем я тогда думал. Я лично не знаток деревни и крестьянского быта, а потому мер предложить не могу; но такие знатоки есть, их надо привлечь сейчас же к работе и приступить к крестьянской реформе немедленно: может быть, но только может быть (мне самому трудно судить), еще не поздно предупредить страшное несчастие, сравнительно с которым остальные беды — только детская игра...”

Государь отнесся вполне сочувственно к речи председателя Совета министров и просил его, если можно, сейчас же приступить к осуществлению тех мер, которые могли бы действительно помочь крестьянам. Витте, однако, мог заявить только об одной мере — прекращении взимания выкупных платежей.

В этом же первом заседании Совета в Царском я имел случай высказаться по поводу школьного дела. По вызову Витте указал, как на существенную, если не самую главную причину разрухи, на грехи толстовской системы, преследовавшей не столько педагогические, сколько государственно-полицейские цели. Я говорил более или менее известные вещи, но, кажется, довольно убедительно и гладко, так как после заседания ко мне подошли и, подхватив мою речь, сказали, что гр. Дмитрий Андреевич, наверное, перевернулся в гробу после того, как разделал его под орех новый Министр народного просвещения, и тоже Толстой. Государь внимательно меня выслушал и сказал, что намерен посвятить следующее или одно из следующих заседаний вопросу о русской школе всех разрядов. Однако до такого

заседания дело не дошло, в двух последующих речь была о совершенно иных делах.

Почему так скоро прекратились заседания Совета под личным председательством Его Величества — не знаю, но думаю, что не последнею причиною были разногласия, обнаружившиеся между министрами; такие разногласия проявлялись, и в довольно резкой форме, между Витте и Дурново и между Манухиным и последним. Государь и на этих заседаниях председательствовал превосходно и руководил дебатами прямо мастерски, но, видимо, ему было неприятно, что управляющий Министерством внутренних дел, на которого придворные круги и кой-какие аристократические кружки все более указывали, как на некоего "спасителя отечества" или по крайней мере как на "молодца", подвергался нападкам двух членов кабинета за такие мнения и действия, которые порицались революционными партиями. Надо, впрочем, сказать и то, что если, с одной стороны, Государь, продолжив эти заседания, через некоторое время лучше узнал бы своих министров и был бы более в курсе всех дел, то с другой — на это потребовалась бы масса времени, так как говорившие, несомненно, несколько "козыряли" перед Монархом и тратили на это много усилий, не говоря уже о том, что каждое такое заседание отрывало министров часов на шесть-семь от их прямых обязанностей и не избавляло их от необходимости собираться на очередные заседания Совета для обсуждения текущих дел и для подготовки к заседаниям в Высочайшем присутствии.

Как бы то ни было, заседания эти, не успевши развиться, вскоре прекратились и более не возобновлялись.

Я не нахожу нужным останавливаться на описании заседаний всех временных комиссий, в которых мне пришлось принимать участие, так как заседаний было столько, что мне просто трудно было бы теперь, на память, передать с точностью то, что на них происходило, да я думаю, что это, затянувши мой рассказ, ничего не прибавило бы существенного к характеристике пережитого времени. Упомяну только, в двух словах, о заседаниях Комитета министров.

Это учреждение, предназначенное к упразднению[4], состояло из всех министров и главноуправляющих ведомствами, имевших право посылать за себя в его заседания своих товарищей, и из председателей департаментов Гос. совета; кроме них, Государем назначались в Комитет члены и другие сановники по Высочайшему усмотрению. Председательствовал в Комитете граф Витте. Сфера компетенции его была ограничена и сводилась главным образом к трем категориям дел: 1) назначение усиленных пенсий чиновникам, по представлению министров, 2) рассмотрение вопросов, соединенных с интересами казны, т. е. назначение субсидий частным лицам и предприятиям, концессии, сложение недоимков, взыскания и т. п. и 3) рассмотрение Высочайших отметок и резолюции на всеподданнейших ежегодных отчетах губернаторов и начальников областей и исполнение по ним. Первая

категория дел была чуть ли не самая значительная, так как известно, насколько именно пенсионные правила у нас несовершенны и построены на самых нелепых и несправедливых началах. Рассмотрение таких дел сводилось обыкновенно к спору министра того ведомства, для служащего (или семьи его) которого испрашивалась усиленная пенсия, с министром финансов и Государств. контролером, которые, защищая интересы казны, старались урезать испрашиваемую сумму, если не состоялось предварительного соглашения между тремя ведомствами, путем переписки до внесения вопроса в Комитет что обыкновенно практиковалось. Заседания Комитета были деловые, и вопросов в них разрешалось обыкновенно в каких-нибудь два-три часа несколько сотен (считая, конечно, каждое ходатайство за отдельный вопрос).

Как я говорил уже в главе 7, иногда, пользуясь присутствием министров, Витте после заседания Комитета объявлял о начале заседания Совета министров, на котором затем рассматривались советские дела. Одно из таких заседаний мне особенно памятно по предмету, который был предложен на наше обсуждение. Вопрос шел о еврейском погроме в Гомеле, Полтавской губернии. Погром этот выдавался своими размерами и числом жертв; евреи и вся пресса, по обыкновению, обвиняли администрацию в искусственном возбуждении погрома и даже в руководительстве им; ввиду исключительных размеров погрома и особой на этот раз настойчивости обвинений Витте решил обследовать дело, и в Гомель был командирован член Совета Министра внутренних дел г. Савич. Последний отнесся к своей задаче очень добросовестно и раскрыл действительно злоупотребление со стороны местного жандармского офицера, который если фактически не организовал погрома, как утверждали евреи, то не только от души ему сочувствовал, но даже способствовал ему раздачею погромщикам казенных револьверов. К великому неудовольствию его непосредственного начальника П. Н. Дурново, Савич, которого Витте пригласил в заседание Совета, прочел доклад, в котором он обвинял доклад местного жандармского ротмистра в явном попустительстве и даже содействии погрому. Дурново, видя, что защитить своего жандарма не удастся, объявил, что он его уволит с места, но, когда мы (главным образом Оболенский и я) стали настаивать на предании его суду, Министр внутренних дел стал говорить о том, что это от него непосредственно не зависит, а что предать суду жандармского офицера может только его военное начальство[5]. Меня это тогда страшно возмутило, и я произнес горячую диатрибу в том смысле, что нельзя предоставлять власть над гражданами лицам, которые потом являются безответственными даже перед министром и подчинены в дисциплинарном отношении военным властям, которые о праве вообще и специально о нормальных отношениях, которые должны существовать между носителями военного мундира и гражданским населением, имеют самые превратные представления, питаемые кастовыми предрассудками.

Я счел нужным упомянуть об этом случае потому, что, как известно, вопрос о погромах играл огромную роль в смутное время реформаторской деятельности правительства: как в России, так и за границей на каждый еврейский погром или даже слух о нем обращалось несравненно больше внимания, чем на все аграрное движение и даже на кровавые бунты солдат и матросов. Объяснение этому легко найти в том, что, помимо заполнения всей нашей и европейской прессы еврейскими руководителями и сотрудниками и крайней чувствительности международного еврейства ко всему, касающемуся сородичей, положение Израиля в России действительно возмутительно. Я убежден искренно, что не в отрицательных качествах евреев следует искать ненормального отношения к ним христианского населения, а исключительно в его бесправном положении, приучившем неразвитую массу смотреть на них с презрением и считать всякое преступление, совершенное в отношении еврея, за полупреступление, так как на еврея смотрят, как на получеловека. Евреи чрезвычайно по природе нервные люди, легко возбудимые, не могли не реагировать на освободительное движение, перешедшее в чисто революционное, и их молодежь, а также почти вся их интеллигенция бросилась в объятия самых крайних партий, составив, кроме того, и самостоятельные организации с террористически-анархическим оттенком вроде “Бунда”, “Социалистов-сионистов” и т. п. Где тут было разобраться в причинах и следствиях жандармским ротмистрам, подготовка к административной карьере которых сводилась к более или менее продолжительной службе строевым офицером, а переход в жандармерию нередко имел причиною какую-нибудь полковую историю? Такой офицер видел или воображал, что вся еврейская молодежь занята революциею, значительная часть ее вооружена браунингами, приобретенными нелегальным путем, что занимается она главным образом, если не исключительно, политическою пропагандою или покушениями на административных лиц и конспирациями. Все это он видит, но ничего сделать не может, так как при умении евреев хоронить концы, выработанном веками бесправия и преследований, бороться законными средствами с “Бундом” нет возможности, а между тем начальство упрекает его в бездействии, в неумении бороться и сладить с крамолою. И вот какой-нибудь незначительный сам по себе случай дает повод к ссоре между христианами и евреями; на чьей стороне, естественно, должен быть наш ротмистр? Конечно, не на еврейской. Погром? Ну что ж — хоть погром, а только не продолжение канители, и не мешать этому погрому нужно, а под сурдинку помочь ему, чтобы отвести душу... Для центрального правительства погромы были абсолютно невыгодны, а потому обвинять его в поощрении их — абсурд, но отрицать сочувствие к ним местных и специальных жандармских властей, а в единичных случаях, как в Гомеле, и соучастие их — нельзя. Мне лично всегда казалось, что капитальною ошибкою правительства, и притом не только по отношению к безобразному явлению еврейских погромов, было

и есть вручение слишком большой, дискреционной власти жандармским офицерам, которые заведуют всею политическою полициею, не получивши никакой подготовки и будучи набираемы далеко не из лучших элементов армии[6].

Я позволил себе коснуться вскользь вопроса о погромах в конце этой главы, хотя они и не имеют прямого отношения к ее содержанию, только потому, что был наведен на них воспоминанием о заседании Совета министров, в котором присутствовал г. Савич, а сказать несколько слов об этом выдающемся явлении Российской революции, которое заняло значительную часть времени даже у столь быстро распущенной первой Государственной думы, мне казалось необходимым, так как постоянные опасения возникновения то там, то здесь еврейских погромов беспрерывно почти озабочивало Совет министров все то время, когда я состоял членом его.

9. ВСЕПОДДАННЕЙШИЕ ДОКЛАДЫ

До сих пор я говорил о тех сторонах деятельности русского министра, которые подчинены известным ограничениям и правилами происходят на глазах у подчиненных, у коллег или даже у публики. Мне остается коснуться одной из причин наиболее важных и чреватых последствиями сторон этой деятельности, окруженной известной таинственностью. Я говорю о всеподданнейших докладах. На этих докладах, происходивших с глазу на глаз с Монархом, источником всякой власти в Государстве, имевшим до сих пор признанное право одним росчерком пера или даже простым словесным приказанием отменять всякий закон или установлять новый, каждый министр имел возможность вволю инсинуировать и по крайней мере стараться проводить свою личную политику, сообразуясь с обстоятельствами. Но кроме этого, существование этих отдельных докладов, имевших место по расписанию, в определенные часы и дни недели, давало возможность проводить отдельные вопросы быстрее и вернее, чем обычным установленным для них путем, не нарушая законности их решения, так как Царская воля покрывала собою всякие могущие возникнуть возражения. Как часто П. Н. Дурново на указания в Совете министров о нежелательности назначения того или другого лица губернатором или сенатором заявлял, что такова воля Его Величества, объявленная ему на всеподданнейшем докладе, как часто та или иная мера объяснялась им выраженным Государем ему лично желанием. Как проверить такие утверждения? Не просить же у Государя Императора очной ставки с министром или проверки его утверждений. Бывали случаи, когда Витте отправлялся просить Государя отменить то или другое распоряжение, отданное по докладу Министра внутренних дел, бывали случаи и отмены их, но нельзя же было подымать целую историю по поводу всякого "пустяка", а пустяки эти, складываясь, давали иногда далеко не пустяковые результаты. Надо сознаться, что при существовании этих отдельных докладов каждого министра пресловутое единство министерства, его солидарность оказывались чистым мифом по многим вопросам: министры почти никогда не предупреждали ни председателя Совета, ни своих коллег о предмете своих всеподданнейших докладов, но если б они это и делали, то результат оказался почти тот же, так как каждый неизбежно вносил в свои предложения свои интимные убеждения, свое собственное направление или оттенок. Конечно, Государь управлял, а потому и мог давать желательное ему направление внутренней политике, но какая возможность смертному человеку, кто бы он ни был, войти во все мелочи, понять суть, иногда

тщательно прикрытую, всякого дела по самым разнородным ведомствам, когда докладчиками были как ни как а люди опытные в своем деле, а если нет, то тщательно подготовившиеся по каждому вопросу, который они несли на Высочайшее разрешение. Я уже не говорю о прямых злоупотреблениях своим положением и неосведомленностью Монарха, но уже стремления подладиться и понравиться у одних и настойчивого желания провести то или другое дело у других достаточно для того, чтобы отдельные министры вели каждый свою политику в своем ведомстве или по крайней мере придавали этой политике своеобразный оттенок, все действуя от имени Государя и ссылаясь на его волю, которая в конце концов оказывалась весьма разнообразною в зависимости от воззрения его ближайших слуг и исполнителей его указаний, подсказанных обыкновенно ими же.

Конечно, может казаться, что при существовании всеподданнейших докладов всех министров Монарх имеет возможность ближе узнать каждого из них и при разнообразии характеров и воззрений не столь легко подпадает под влияние одного из них, а потому сохранит в руках общее направление политики. Мне думается, что все эти предположения в основе ошибочны. Даже предполагая в Государе исключительную способность распознавания людей, я отрицаю серьезную возможность изучить человека на основании хотя бы сотни докладов, всегда обдуманно составленных, и в такой обстановке, где докладчик, дорожащий своею карьерою и старающийся угодить, будет всегда настороже, стараясь притом всеми силами выставить такие свои качества и воззрения, которые имеют шансы понравиться. Конечно, всегда будут случаи, когда в министры попадет человек простой и не старающийся во что бы то ни стало угодить; его Государь узнает, хотя едва ли успеет изучить, но можно ручаться, что в 99 случаях из 100 такой человек обнаружит слабые свои стороны и, не выставивши вовремя на вид сильных, положительных, будет оценен ниже человека тонкого и себе на уме. Напротив того, я думаю, что при стремлении двух лиц изучить один другого в данном случае все шансы на стороне министра, а не Государя, так как министр имеет всегда возможность скрыть то или другое и выпукло представить вопрос, которые непременно обнаружит даже скрытые желания Монарха и Его интимное миросозерцание. Государь же может только случайно подметить, с постоянным риском ошибиться, ту или другую полезную для понимания министра черту. Конечно, если б министры оставались на своих местах годами, шансы узнать их увеличились бы, но все же и их шансы казаться не тем, что они есть на самом деле, остались бы весьма значительными.

Надежда на возможность, имея дело с несколькими лицами и невольно или намеренно сравнивая их между собою, избегнуть преобладающего влияния одного тоже мне кажется тщетною: будет всегда влиять тот, кто больше нравится, кто ловчее ухитрился втереться в

доверие и тонко подвести опасных конкурентов. Конечно, каждый судит по-своему, но откровенно скажу, что я не представляю себе человека, будь он даже Самодержавным Императором, который не подпал бы хотя бы временно в поле влияния умного интригана, каковой, я думаю, всегда найдется между дюжиною министров, недаром же "вышедших в люди". Я искренно уверен, что, выслушивая доклады каждого министра в отдельности, находясь все время под впечатлением калейдоскопа меняющихся периодически лиц и мнений, Государь не получает возможности руководить внутреннею политикою государства, но, напротив, теряет ее, несмотря на все честное желание удержать "бразды правления" в своих руках. В моих глазах право отдельного всеподданнейшего доклада, которым пользуются министры, является началом и краеугольным камнем самодержавия чиновничества, заменившего собою у нас неограниченную власть Монарха, несравненно больше связанного в своих действиях этим чиновничеством, чем связала бы его любая конституция.

Единственным, на мой взгляд, средством, могущим устранить это невыгодное во всех отношениях положение главы государства является делегация своей власти в известных пределах одному лицу: в восточных неограниченных монархиях таким лицом всегда является визирь, а в конституционных — председатель Кабинета или первый министр. Монарх должен за собою сохранить и действительно сохраняет за собою всегда и всюду право на всякое время уволить это первое после него в стране лицо, если он не сходится с ним во взглядах или если действия его неудачны, но тут следить приходится за одним лицом, а не за дюжиною, лицо это действительно ответственно и перед Монархом и перед общественным мнением страны, каково бы это мнение ни было, т. е. хорошо или плохо развитое; наконец, лицо это не имеет возможности, будучи облечено полнотою власти, спихивать ответственность с себя на других, ссылаясь на предоставленные этим другим полномочия и непосредственные их сношения с главою государства.

У нас попытка к объединению исполнительной власти сделана с учреждением Совета министров под председательством особого лица, причем первым таким лицом был Витте. К сожалению, право отдельного доклада было сохранено за всеми министрами, и в этом я вижу первооснову крушения всей системы[1]. Я думаю, что следовало: 1) сократить до минимума число дел и вопросов, требующих для своего решения всеподданнейшего доклада (я скажу в своем месте, какие дела не должны быть вовсе докладываемы Государю); 2) сообразно с этим сократить число докладных дней, которое легко могло бы быть доведено для всех ведомств вместе взятых до трех или четырех в неделю; 3) всеподданнейшие доклады всех министров должны происходить обязательно в присутствии председателя Совета министров; в этом отношении исключение должно быть сделано для Министра Имп. двора, который мог бы и не входить в состав Совета, и может быть

сделано для Министра иностранных дел. Все остальные министры, не исключая военного и морского, докладывали бы в присутствии первого министра.

При такой системе Государь был бы не менее, а напротив, вероятно, даже более осведомлен о всех делах и имел бы возможность достаточно изучить отдельных министров, а следовательно, даже наметить из их среды заместителя первого министра, если б он утратил доверие Монарха.

Рядом с этим было бы, конечно, весьма полезно продолжение хотя бы изредка заседаний Совета министров под личным председательством Государя Императора, введенных в виде опыта Его Величеством, но затем прекращенных.

Я искренно убежден, что при такой системе Государь гораздо более самостоятельно и сознательно направлял бы всю внутреннюю политику, был бы гораздо менее под влиянием, хотя бы временным, отдельных лиц, и наконец, устранено бы было в известной степени наушничание негласных советчиков всех рангов. Думаю, что если б Витте предложил, а Государь принял описанную мною реформу сношений с министрами и главнокомандующими, мы избегли бы многих недоразумений, а в конце концов и неприятностей, и бед.

Количество докладных Государю дней у отдельных министров было весьма различно: некоторые имели всеподданнейшие доклады по нескольку раз в неделю, другие — по разу, а были и такие, которые имели всеподданнейшие доклады через две недели раз. Наибольшее число докладов имел Министр внутренних дел, а затем военный. Министру народного просвещения полагался один день в неделю, а именно, суббота.

Не знаю, как дело велось у моих коллег, а потому ограничусь описанием своих всеподданнейших докладов и техники этой стороны моей деятельности. В течение недели мне подробно докладывались дела, наряду с другими, требовавшими непосредственной санкции Государя. Обыкновенно к пятнице вечером дела эти в подлинных документах (переписке), относящихся к ним, доставлялись ко мне на дом. Все документы или переписка по каждому отдельному вопросу были в соответствующем департаменте подобраны в хронологическом порядке и вложены, как бы в оболочку, в изготовленный весьма тщательно, на отличной Царской бумаге при помощи пишущей машины собственно всеподданнейший доклад. На первой странице сверху всегда оставлялось достаточное количество чистого места для помещения резолюции Государя Императора. Текст заключал в себе всегда довольно полное изложение дела, затем следовала справка из действующего законодательства, относящаяся к вопросу, наконец, указания на результат сношений с другими ведомствами, если таковые требовались и были произведены; доклад кончался сакраментальною фразою: “О вышеизложенном имею счастье всеподданнейше доложить, испрашивая Высочайшего Вашего Величества утверждения”... или

"Имею счастье представить на благоусмотрение Вашего И. Величества" и т. п. Обыкновенно весь доклад умещался на двух страницах, в более редких случаях даже на одной первой, но иногда, когда дело было сложное, исписывалось по восемь, девять и более страниц; такие случаи были совершенно исключительными.

Ознакомившись в пятницу вечером с содержанием дел и возобновив в памяти все, относящееся к ним, когда, в виде редкого исключения, они были более сложны, я подписывал доклад и выставлял число следующего дня (т. е. субботы) под ним рядом с подписью. Подписывал я, согласно указанному мне в министерстве доками обычаю, так: "Гофмейстер Граф Иван Толстой", причем не писалось "Министр народного просвещения", а также не делалось росчерком в фамилии. Прошу читателей не смеяться над тем, что я упоминаю о всех этих довольно детских, сознаюсь, мелочах: мне, как археологу по профессии, они кажутся любопытными и могущими когда-нибудь заинтересовать будущих любителей археологии и бытовой истории; прошу тоже иметь в виду эту оговорку при дальнейшем чтении этой главы, которую люди с более живым темпераментом могут и совсем не читать. После a parte* продолжаю свое повествование. Итак, подписавши всеподданнейший доклад, я обыкновенно вынимал из него начинку, делавшую его слишком громоздким, и вкладывал его в портфель; со следующим проделывалась та же процедура и т. д. В субботу утром я спозаранку иногда получал еще два-три всеподданнейших доклада, не поспевших к пятнице. С ними я продолжал то же, что и с пятничною порциею. Обыкновенно число моих докладов, накопленных за неделю, равнялось от 15 до 25, иногда побольше; последний случай был, однако, редок.

Так как Государь Император за все время, пока я был министром, за исключением лишь первых, кажется, двух недель, проживал в Царском Селе, то в пятницу днем давалась телеграмма из министерства в придворно-конюшенную часть о высылке на станцию железной дороги экипажа для Министра народного просвещения. Это было необходимо потому, что станция Царской ветки жел. дороги, по которой обыкновенно министры ездили, была довольно отдалена от дворца, а извозчиков у этой станции никогда не стояло; но если б их и можно было бы тут найти, это делу помогло бы весьма мало, так как ввиду тщательной охраны дворца к нему едва ли пропустили бы штатского, едущего не в придворном экипаже.

Я обыкновенно в субботу нанимал извозчичью карету для отвозки меня на вокзал, которую заказывал к 9 1/2 часам утра. Поезд отходил из Петербурга в 10 1/2 часов и приходил в Царское в 11. На всеподданнейших докладах штатским полагалось быть в мундирном фраке при белом галстуке и ленте. Военные докладывали в сюртуке.

Облекшись в вышеописанное одеяние и захвативши свой портфель, я, чтобы не опоздать, обыкновенно садился в карету в 9 часов 45 минут. Поезд, который возил нас в Царское, состоял, кажется, из пяти или шести вагонов, из которых последний задний был предназ-

начен для министров. В этом вагоне был салон с угловым диваном, мягкими стульями и столом, окна с трех сторон, затем кабинет в два окна со всеми письменными принадлежностями и три небольших купе, а также уборная. В остальных вагонах ездили случайные пассажиры, всегда весьма немногочисленные, получившие специальное или общее дозволение ездить в этих поездах; составлялся поезд из нескольких вагонов, главным образом для того, чтобы дать ему нужную устойчивость, так как, если б к паровозу прицепить только один вагон, его при ходе безбожно трясло бы и кидало. Поезд управлялся и обслуживался солдатами железнодорожного батальона и начальниками обеих станций, Петербургской и Царскосельской, были офицеры этого батальона. К министерскому вагону был, однако, приставлен особый служитель не из солдат.

По субботам, кроме меня, имели доклад еще Военный министр и Министр Императорского двора. Барон Фредерикс приезжал всегда позже с другим поездом, и в министерском вагоне я ездил всегда с ген.-лейт. А. Ф. Редигером. Приезжал он всегда на станцию на автомобиле обыкновенно несколько позже меня, причем его приезду предшествовал фельдъегерь с его портфелем. Редигер был человеком замечательно уравновешенным, спокойным и рассудительным. Переезд в его компании совершался всегда очень приятно: мы разговаривали о наших делах, он рассказывал о своих заботах, я — о своих, и получасовой переезд совершался совершенно для меня незаметно.

В Царском нас ожидали придворные двухместные кареты, с ливрейными кучерами и лакеями. Сперва подавалась карета Редигеру, затем мне, и везли нас прямо в Александровский дворец. Дворец и парк вокруг него сохранялись весьма тщательно: у каждых довольно многочисленных ворот стояло по часовому с ружьем от свободного батальона и по одному или по два околодочных дворцовой охраны; вокруг парковой ограды разъезжали непрерывно патрули от казачьего конвоя Его Величества таким образом, что один всадник всегда видел переднего товарища, а потому абсолютно весь круг ограды был без перерыва под наблюдением всадников. Все ворота, хотя и охраняемые, были заперты, за исключением главных, открытых для подъезжающих к дворцу. У этих ворот стояла целая группа чинов дворцовой полиции, и при проезде через них даже у сидевшего на козлах моей кареты придворного лакея отбирался пропуск. У подъезда дворца, к которому меня подвозили, стояла также охрана из дворцовых околоточных. По лестнице ко мне навстречу сбегал младший швейцар и принимал портфель, в сенях встречали старший швейцар и скороход, который брал портфель и нес в приемную; у дверей этой приемной стояли двое казаков-конвоиров.

В приемной, большой продолговатой комнате о двух окнах с длинным большим столом посередине и расставленными вдоль стен и вокруг стола стульями, я всегда заставал только что приехавшего Редигера; мы ненадолго оставались одни, и в комнату входили

дежурный флигель-адъютант, командир сводного батальона охраны, затем гофмаршал граф Бенкендорф, Д. Ф. Трепов, но кроме них был "переменный состав" посетителей приемной: заведующий хозяйством гофмаршальской части ген. Аничков, флигель-адъютант граф Гейден, подполковник князь Путятин, а также представляющиеся военные высшие чины. Ждать приходилось всегда очень долго. По субботам утром происходили постоянно смотры гвардейских частей, и Государь возвращался с них несколько позже 11 часов. По Его прибытии входил обыкновенно с кратким, минут на 3-5, докладом Трепов, затем шел с докладом Редигер, который оставался в кабинете у Государя не менее 3/4 часа; только после этого наступала моя очередь, т. е. часов в 12 или даже несколько позже. Таким образом, "антишамбрировать" приходилось каждый раз не менее часа, а иногда и несколько больше. В это время в приемной без перерыва шел всегда оживленный разговор между присутствующими. Если ко мне прямо не обращались, то я присаживался к столу и рассматривал лежавшие на нем довольно многочисленные альбомы и английские юмористические издания. Но это случалось редко: обыкновенно меня втягивали в разговор, главным образом Бенкендорф или Трепов. Последний почти всегда, поздоровавшись, спрашивал: "Ну-с, что поделывает ваш премьер? Как его драгоценное здравие?" Затем начинались рассуждения о том, что следовало бы делать и чего не делать, похвалы энергичным администраторам, "молодцам", и порицания "тряпкам", которые не умеют поддержать престиж власти. У Трепова была манера говорить очень определенно, тоном, не допускающим возражения; при этом им была усвоена довольно распространенная в обществе, и особенно при Дворе, привычка иронизирования надо всем тем, о чем или о ком бы ни зашла речь; ирония была довольно легкого свойства, и я уверен, что сам Трепов не придавал ей преувеличенного значения: это была просто манера несравненно более удобная, чем серьезное обсуждение вопросов. Я помню, как-то раз, говоря о каком-то революционном акте, Трепов воскликнул: "Это все жиды делают: теперь нужно говорить не cherchez la femme*, а cherchez le juif**; Я подхватил это замечание и говорю ему: "Вы вот говорите cherchez le juif; действительно, евреи играют огромную роль во всем революционном движении, но ведь нужно же обратить внимание на причину этого явления, нельзя констатировать факт и на этом успокоиться. Я того мнения, что пока не будет разрешен у нас еврейский вопрос — нам не добиться спокойствия, и мы все время будем сидеть под дамокловым мечом повторяющихся взрывов революции"... — Совершенно с Вами согласен. — "Но если Вы со мною согласны, то Вы же, наверное, думали, как следует решить этот вопрос?" — Как решить? Очень просто (Трепов и большинство подобных ему людей любят это выражение и всегда на словах решают вопросы очень просто): следует всех жидов выгнать из России, а кто не выедет, тех истребить. — "Я, Дмитрий Федорович, не в шутку поставил Вам вопрос, а вполне серьезно. Свое мнение я

Вам скажу откровенно: единственное разрешение вопроса — это немедленное дарование евреям полного равноправия со всеми остальными жителями России; другого серьезного решения вопроса я не вижу, и все равно, рано или поздно, но к этому решению придется прийти; для чего же ждать? Не для того ли, чтобы продолжить все прелести переживаемого нами времени, для того, чтобы вконец обозлить и тех евреев, которые еще спокойны?" Трепов перестал иронически улыбаться и, сделав серьезное лицо, сказал: — Дать им немедленно равноправие немыслимо: вся Россия возмутилась бы, но так оставлять дело, действительно, невозможно. Для меня это вопрос неразрешимый и лучше оставимте его... — Другой раз он стал расспрашивать о беспорядках в средней школе. Когда я ему рассказал о разных союзах, о требованиях педагогов и детей, он изрек: "На Вашем месте я поступил бы очень просто: выгнал бы без пенсий несколько сотен учителей, исключил бы побольше школяров, а если нужно – закрыл бы и самые гимназии. Когда все увидят, что шутить не намерены, — живо успокоились бы. Нигде в мире таких безобразий не позволили бы." Действительно, все это было слишком "просто", и для читателя, я думаю, ясно, насколько опасно было бы пользоваться мнениями и советами Д. Ф. Трепова.

В публике обыкновенно придают большое значение роли Трепова при Государе. Я лично склонен видеть в этом сильное преувеличение и уверен, что "простые" решения вопросов, предлагавшиеся, может быть, иногда при Государе, не должны были казаться Его Величеству столь же простыми, как Трепову; поэтому позволяю себе сомневаться, чтобы мнения Трепова пользовались в глазах Государя какой-либо особою авторитетностью; но, конечно, нельзя отрицать, что человек, постоянно находившийся при Государе, видевшийся с ним ежедневно, и по несколько раз, человек, любящий обо всем рассуждать, хотя бы и сплеча, должен был в конце концов иметь влияние на отношение Монарха к событиям, а главным образом к лицам. Что влияние это, в каком бы размере оно ни проявлялось, было тлетворным — в этом я не сомневаюсь: Трепов мог быть честным человеком, преданным несомненно лично Государю, энергичным и т. д., но качеств государственного деятеля, конечно, в нем никогда никаких не было; может быть, он был прекрасным эскадронным командиром, был бы даже, может быть, хорошим полковым командиром, но разбираться в государственных людях и в политических событиях он, я в этом уверен, не был в состоянии: слишком у него все это выходило "просто" и по-своему логично и прямолинейно, а с таким багажом в политике далеко не уедешь, а напротив можно, совершенно даже невольно и с лучшим намерениями, много. Хотя Трепов и не упускал случая показать, что он в наши дела не вмешивается и что он ограничил свою деятельность личною охраною Государя, но один факт присутствия его в Царскосельских заседаниях совещания о Думе и Гос. Совете достаточно красноречиво свидетельствовал о том, что Его Величество

придавал известную цену его мнениям и советам по вопросам общей политики, и притом капитальнейшей важности.

В этом отношении с ним не имел ничего общего его старший коллега по придворной службе гофмаршал граф Бенкендорф. В разговорах со мною он только интересовался подробностями происшествий, фактическою стороною дела и обсуждал их без всякой претензии на глубокомысленные выводы, никого не критикуя или критикуя очень осторожно; было очевидно, что он крайне смущен происходящим и что одно его желание, чтоб разруха так или иначе кончилась. Орлов иногда пускался в рассуждения, но всегда очень осторожно и тактично, никого не задевая, но и сам не проговариваясь. Здесь кстати будет отметить один мелкий сам по себе, но небезынтересный факт: в непосредственной близости к Государю находилось целое общество однополчан, так как бар. Фредерикс, гр. Бенкендорф, Трепов, кн. Орлов — все были конногвардейцами; конногвардейцем был и Оболенский — управляющий Кабинетом Его Величества, заменявший барона Фредерикса в его отсутствие из Петербурга, так же как начальник канцелярии Министерства двора генерал Мосолов (женатый на сестре Трепова).

Но кроме этих лиц, находившихся более на виду, в той же придворной атмосфере витали и другие лица помельче, но все же игравшие некоторую роль. К таким можно причислить князя Путятина, подполковника, служившего по гофмаршальской части. Он всегда живо интересовался политикою, и я помню, как он раз обратился ко мне с вопросом: "Неужели правда, что тут рассказывают, что Вы взяли к себе в товарищи человека, бывшего во главе забастовщиков в Москве (Герасимов), убежденного радикала? Я говорил, что граф Иван Иванович никогда такой вещи не сделает, но подумайте, какие есть люди и что они говорят." Меня поразило, что недели через две после этого разговора Витте конфиденциально меня спросил, какого мнения я о Герасимове. "А что?" — Да говорят, что он радикал, чуть ли не Равашоль какой-то. — "Это неправда; а откуда Вы это слышали? не из треповских сфер?" — Признаться, да. — "Так я Вам скажу вот что, Сергей Юльевич: не верьте ничему, что оттуда исходит; ведь это сплетня..." — Я и не верю, но счел долгом предупредить Вас о разговорах; раз Вы уверены — мне ничего больше не нужно. — Sapienti sat*.

Так как мне всегда приходилось ожидать приема с докладом около часа, то я себе позволил сделать длинное отступление от последовательности моего повествования о моих всеподданнейших докладах, а теперь продолжаю.

Еще до выхода Редигера из Царского Кабинета, приезжал барон Фредерикс, за которым скороход[1] тащил всегда огромный портфель,

[1] Для непосвященных должен пояснить, что скороходами называется особый разряд придворных лакеев высшего оклада, дежурящих при Особе Императора; отличительною чертою их обмундирования служит круглая шапочка без козырька с двумя спущенными набок страусовыми перьями; шапочки этой они не снимают и в комнатах, даже в присутствии Государя *(Прим. автора)*.

набитый документами для доклада. Так как он входил в Кабинет с докладом после меня, то он всегда интересовался узнать: "En avez-vous pour longtemps?"* Я его каждый раз успокаивал, и, действительно, я редко оставался в Кабинете у Государя долее четверти часа или 20 минут. Кстати будет тут вспомнить, что один раз, когда бар. Фредерикс особенно просил меня не затягивать своего доклада, я постарался через меру и закончил его в 10 минут. Государь посмотрел на меня с некоторым удивлением и спросил: "Это все?" — Да, Ваше Величество, особенно важных вопросов нет, а кстати, барон Фредерикс имеет, кажется, очень обширный доклад и просил меня не задерживать его. — Государь улыбнулся и ничего мне на это не сказал, но не отпустил меня, а напротив, продолжал затем более получаса разговаривать о разных предметах. Когда я вышел, Фредерикс был в большой претензии, но когда я ему объяснил, что доложил о нем Государю, то сказал, что я кругом виноват в задержке.

Когда, наконец, Редигер выходил из Кабинета, я обыкновенно восклицал: "Как Вы, однако, долго, Александр Федорович!" — Я? неужели? А мне кажется, что я замечательно быстро окончил свой доклад... Через минуту после выхода Военного министра из Кабинета Государя, много через две, из тех же дверей выходил камердинер Государя и, оставляя дверь притворенною, с легким поклоном негромко говорил, обращаясь ко мне: "Пожалуйте, Ваше Сиятельство, Его Величество просит". Тотчас по выходе Редигера я вынимал из портфеля свои доклады и, когда камердинер меня вызывал, тотчас входил в Кабинет, держа их в левой руке. Государь встречал меня всегда стоя, выйдя из-за письменного стола почти на середину комнаты. Его Величество подавал мне руку и садился за письменный стол, предлагая мне занять небольшое кресло сбоку, по правую Его руку, где к письменному столу была прилажена доска, на которую можно было положить бумаги. Кабинет по расположению окон и по размерам представлял собою почти точное повторение приемной: у левой от окон стены стояла широкая оттоманка, а у правой — письменный стол, за которым Государь сидел спиною к стене и имея свет с левой стороны; сидевший с правой от Него стороны докладчик имел свет от окна перед собою и от Государя был освещен вполне. Первые месяцы Государь был всегда одет а белом офицерском кителе, несмотря на зимнее время и морозы; мне, может быть, казалось только, что руки у Него часто бывали холодными. Последние месяцы моей службы Он принимал доклад, будучи одет в малиновую шелковую косоворотку, опоясанную ремешком, присвоенную как нижнее платье офицерам стрелкового батальона Императорской фамилии. Так как при этой рубашке Государь не имел на себе никаких признаков офицерского звания, т. е. никакого канта, ни погон, ни ордена, носил темные в складках суконные брюки и высокие сапоги, то имел общий вид русского зажиточного крестьянина у себя дома в жаркий день, когда

сидят без поддевки. Должен сказать, что костюм этот очень шел к Нему, хотя пока я к нему не привык, первое время он поражал меня.

Иногда Государь Император, усевшись, ставил мне несколько вопросов, но обыкновенно я сразу приступал к докладу. О характере этих докладов я скажу сейчас, а пока упомяну, что я прочитывал их содержание, пропуская несущественное, а если доклад по отдельному делу был длинный, то старался передать его содержание собственными словами, прочитывая только испрашиваемую резолюцию и самые важные места. После доклада каждого отдельного вопроса я на секунду останавливался, и Государь мне говорил "Да" или "Согласен", иногда "Конечно". Иногда Его Величество требовал объяснений, но случаи эти были очень редки: очевидно, давнишняя привычка и опыт делали то, что вопросы сами по себе были понятны, и требовалось только решение в ту или другую сторону. Должен добавить, что за все время, что я был министром, Государь не забраковал ни одного моего предложения и, по существу, утвердил все мои доклады. За все время произошли две, в сущности, заминки: первая по вопросу о литовском языке преподавания в Северо-западном крае, причем собственно правила об этом не испрашивались мною по всеподданнейшему моему докладу, а были представлены Его Величеству в форме мемории Совета министров. Эту меморию Государь передал мне с приказанием передать председателю Совета, что ввиду смены генерал-губернатора желательно предварительно списаться с новым начальником края. Витте предоставил мне сделать это самому. Сделавши это и получив согласие нового генерал-губернатора, я составил на этот раз всеподданнейший доклад от себя, и он был Государем утвержден. Второй случай более подходил под понятие отказа в утверждении моего доклада. Уволив попечителя Рижского учебного округа, я предварительно не в письменной форме, а устно доложил Государю о своем предложении назначить на это место барона Вольфа. Его Величество выразил на это свое согласие, но на следующий же день появилась в "Новом Времени" статья, в которой было выражено негодование, что попечителем в Ригу назначается немецкий барон. Государь прислал вырезку из газеты с этой статьею не мне, а Витте, с собственноручною надписью: "Если еще не назначен, прошу задержать". Витте переслал мне вырезку с надписью. В следующий за тем докладной день я осмелился доложить Государю, что совершенно не согласен со смыслом статьи, но что если Его Величеству назначение это неугодно, то мне остается, конечно, только повиноваться; я не скрыл, однако, от Государя, что я уже успел сказать Вольфу о Высочайшем согласии на его назначение попечителем, а потому решаюсь просить о предоставлении ему другой вакансии, а именно, в Виленском округе. На это Государь Император сейчас же согласился, и Вольф был назначен попечителем, хотя не Рижского, а Виленского учебного округа.

Как я говорил выше, я кончал свой доклад минут в 15-20. Когда я умолкал, Государь обыкновенно спрашивал: "Все?" и подымался со

своего места; затем, выйдя из-за стола на середину комнаты, подавал мне руку со словами: "До свидания"; я кланялся и уходил в приемную, после чего тотчас приглашался барон Фредерикс.

Еще во время ожидания приема, каждый раз подходил ко мне скороход с вопросом: "Не прикажете ли, Ваше сиятельство, приготовить завтрак?" До марта 1906 г. я неизменно отвечал отказом: дело в том, что мой бывший начальник великий князь Владимир Александрович проживал всю эту зиму в Царском, и я сейчас же после всеподданнейшего доклада садился в ожидавшую меня все время придворную карету и ехал завтракать к нему. Почти каждый раз к началу завтрака запаздывал, но для меня ставился прибор, и подавали мне блюда с первого. Отношения к великому князю, которого я всегда искренно любил, остались прежние, и он всегда принимал меня самым радушным образом; должен сказать, что ни он, ни его близкие никогда меня о моих всеподданнейших докладах не расспрашивали. После завтрака у великого князя я ехал опять на станцию Царской ветки, где обыкновенно заставал уже в вагоне барона Фредерикса и Редигера, а часто еще и несколько представлявшихся Государю лиц. В марте великий князь уехал за границу, и тогда я стал пользоваться придворным завтраком, полагавшимся всем министрам, являвшимся с всеподданнейшими докладами. Завтраком нас возили в Большой Дворец, причем в распоряжение каждого министра предоставлялся особый небольшой апартамент. Каждый такой апартамент состоял из передней, гостиной, в которой на небольшом столе подавался завтрак, спальни с отличною кроватью, всегда постланною и покрытою стеганым шелковым одеялом, и уборной; в некоторых апартаментах были старые штофные, в каждом из них находился большой письменный стол с принадлежностями для письма. При каждом апартаменте находилось по придворному лакею, а второй лакей подавал завтрак. Завтрак этот был довольно простой, но обильный: неизменно подавалась закуска с двумя графинчиками водки, английской горькой и очищенной, порция свежей икры и нарезанное ломтиками холодное мясо, также почти неизменно чашка бульона (всегда безвкусного) с пирожками; затем рыбное блюдо (часто гатчинская форель) и мясное (бифштекс, котлеты с зеленью и т. п.); на последнее порция неважного компота, мороженого или тестяное. Кроме того, полагалось полбутылки хереса или мадеры и полбутылки красного или белого вина, все это достоинства среднего. Я обыкновенно от вина совсем отказывался и просил давать мне графин прекрасного домашнего квасу, хорошо всегда по традиции изготовлявшегося при дворе. После завтрака подавался кофе. Сытым можно было быть вполне, но стол был далеко не изысканный, а напоминал скорее домашний; некоторые блюда, несомненно, подавались подогретыми. Завтракал каждый министр отдельно, в отведенном ему апартаменте. Сейчас же после завтрака, который съедался мною приблизительно в четверть часа времени, я

ехал на станцию, давши лакеям, прислуживавшим мне, три рубля на чай; столько же каждый раз получали придворные кучер и лакей.

Приехав в Петербург около двух часов, я отправлялся прямо в министерство, где и сдавал директору департамента Рахманову все всеподданнейшие доклады для снабжения их резолюциями. Дело в том, что Государь на докладах ничего не писал и не делал никаких пометок, а только словесно объявлял министру свою резолюцию. Так как, о чем я сказал выше, все мои доклады проходили благополучно, то мне оставалось только сообщить г. Рахманову, что все утверждено; поэтому все доклады по моем возвращении, снабжались сверху такою надписью, сделанною чиновником от руки: “Государь Император Высочайше утвердить (или разрешить или одобрить и т. п., в зависимости от смысла доклада) соизволил в Царском Селе такого-то числа и месяца 1905 или 1906 года. Министр Народного Просвещения...” Так как я, сдавши доклады директору, обыкновенно занимался по субботам текущими делами в министерстве часа полтора или два, то за это время все доклады бывали обыкновенно надписаны, и мне оставалось только снабдить Высочайшие резолюции своею подписью, проверяя соответствие их с текстом докладов, что мною тут же и исполнялось. После этого всеподданнейшие доклады считались законно утвержденными или одобренными, и оставалось только творить по ним исполнение.

Должен сознаться, что меня на первых же порах немало удивлял факт этого полного и почти безграничного доверия к министрам как раз в таком роде дел, в котором они наиболее лично были заинтересованы, при существовании возведенного в принцип всеобщего ко всем и друг к другу недоверия. Ведь, в сущности, министр имел полную возможность приставить какую только ему вздумается резолюцию и, если в более важных делах подтасовка и могла быть опасною, то в мелких Высочайшая резолюция являлась простою формою, так как Государю невозможно было бы и вспомнить, как в действительности решен тот или другой вопрос. Мне, впрочем, рассказывали, что один из министров целую серию мелких, большею частью личных, т. е. относящихся к лицам, дел совсем не докладывал, а снабжал их Высочайшею резолюцией у себя в кабинете, зная, что Государь даст наверное согласие, но не желая беспокоить несуразным количеством дел. Бывали, однако, исключения, когда Государем клались на докладах резолюции собственноручно: это те случаи, когда почему-либо Государь давал знать, что очередной доклад отменяется, а какое-нибудь дело не терпело отлагательства; тогда всеподданнейший доклад посылался с курьером в Царское. Такие доклады снабжались обыкновенно Государем надписью карандашом: “С”, что означало “Согласен”; по возвращении такого доклада, надпись эта покрывалась лаком и под нею рукою нашего чиновника писалось: “На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою написано: “Согласен” в Царском Селе такого-то числа, месяца и т. д. Министр Народного Просвещения...”, и я подписывал свою фамилию.

Какие же дела и вопросы требовали Царской санкции, иными словами, по каким делам мне приходилось входить с всеподданнейшими докладами? Самую значительную по количеству часть этих дел составляли такие, которые касались отдельных лиц: 1) разрешение отпусков с сохранением содержания служащим, когда такие разрешения превышали компетенцию министра, 2) назначение на места и увольнение всех чинов, занимающих должности 3-го и 4-го класса, а также увольнение их в продолжительный отпуск или иногда в командировки, 3) зачет по выпуску пенсий таких годов службы, которые по закону не зачитываются, 4) дарование в исключительных случаях усиленных пенсий и пособий и т. п. Такие всеподданнейшие доклады составляли всегда не менее половины еженедельной порции и являлись, несомненно, совершенно ненужным балластом, который частью мог бы решаться властью самого министра, частью Комитетом или Советом министров. Затем следовали по количеству телеграммы и письменные адресы с изъявлением верноподданических чувств или поздравлений, а также прошения о присвоении тому или другому учебному заведению или стипендии Имени Государя, Императрицы или Наследника. Точно так же без Высочайшего разрешения нельзя было помещать портретов частных лиц в помещениях учебных заведений, приходилось испрашивать соизволения Государя на наименование учебного заведения по фамилии основателя или благодетеля и т. п. Нельзя было выдавать на руки без Высочайшего разрешения, испрашиваемого каждый раз отдельным всеподданнейшим докладом: рукописей из Публичной библиотеки, Румянцевского музея и некоторых других книгохранилищ. Многими лицами и учреждениями делались Государю подношения; на них нужно было иногда испрашивать всеподданнейшими докладами разрешения.

Перечислить все дела, составлявшие предмет всеподданнейших докладов, трудно и даже не особенно интересно, но из моего обзора каждый легко себе составит понятие о пустяшности большинства того, чем занимают время Государя. Серьезные и принципиальные дела составляли всегда незначительную часть всего преподносимого Его Величеству министрами, и мне, например, приходилось докладывать редко более одного такого дела в каждую субботу, а иногда весь субботний доклад состоял из ряда вопросов, подобных тем, которые я перечислил.

Государь Император вполне сознавал ненормальность того положения, при котором приходилось выслушивать кучу чистейших пустяков, и даже говорил мне, что желал бы, чтобы этим вопросом министры занялись. Его Величество тогда же выразил намерение собирать под своим председательством Совет министров, причем в этих заседаниях, по мысли Государя, могли бы иметь место очередные всеподданнейшие доклады отдельных министров; тогда обнаружилось бы для всех, каким образом можно было бы их сократить, выбросив из них все второстепенное, отнимающее только время, без пользы для дела.

Как известно, заседаний под председательством Государя было всего три, и только на одном из них состоялся очередной доклад Министра юстиции С. С. Манухина, который остальные министры выслушали с почти нескрываемою тоскою. Мне кажется, что беде можно помочь только одним способом: предписавши Совету министров пересмотреть список дел, направляемых к всеподданнейшему докладу, и одновременно применить указанную мною выше систему докладов в обязательном присутствии председателя Совета министров; я уверен, что тогда живо отпали бы доклады о дозволении передать стипендию имени Его Величества от дурно занимающегося ученика 2-го класса Иванова прекрасному ученику 3-го класса Петрову или о разрешении экстраординарному профессору X. продолжить на месяц пребывание за границей для лечения болезни и т. п.

Будут ли довольны такою переменою министры — вопрос, и даже, я думаю, можно наверное сказать, что нет: с глазу на глаз с Монархом не только легче провести многое такое, о чем министр и не заикнулся бы перед коллегою, знающим подноготную чиновничьих ухищрений, но и гораздо удобнее выказать себя с наилучшей стороны. Я, например, чувствовал, что другой на моем месте не стал бы комкать доклады на четверть часа, а свободно растянул бы его на 3/4 часа или на час, описывая преодоленные затруднения, важные последствия оказываемых милостей и т. д.; при самой элементарной ловкости и тактичной умелости получалось бы впечатление кипучей деятельности, глубокомысленных соображений и преданности Государю и порученному делу. При моей системе быстрых докладов без всякого красноречия я сберегал Государю время и, конечно, не успевал надоедать Ему, но уверен, что могло закрасться сомнение, делаю ли я вообще что-нибудь по своему ведомству и знаю ли я, что нужно делать. Я могу поручиться, что за шесть месяцев я ни разу не подвел Государя и что если б пришлось вторично докладывать все доложенное мною теперь, то Его Величество утвердил бы все мои доклады вновь. В том, что я Государя не подвожу, я был всегда уверен, проверяя себя и до и после доклада, но я постоянно боялся другого — как бы невольно не подвести председателя Совета или кого-либо из коллег; поэтому я никогда не позволял себе говорить с Государем на общие темы и тщательно избегал всего, что могло задеть других. Хорошо ли это или дурно в человеке, занимающем министерский пост, но я себе никогда не простил был, если б по моей вине вышло недоразумение у Государя хотя бы с моим политическим противником Дурново; говоря, "по моей вине", я подразумеваю "по оговору" или "намеку", пущенному с глазу на глаз во время всеподданнейшего доклада; думаю, что я во всю свою последующую жизнь не отделался бы от тягостного воспоминания о своей "интриге", т. е. такого рода поступке, который наравне с ложью ненавидим мною более всего на свете. Поэтому я никогда но позволял себе отзывов ни о ком, кроме своих подчиненных, аттестация которых была для меня обязательна по долгу службы, когда я находил нужным

назначить, уволить или наградить кого-либо; и тут, впрочем, я всегда старался избегать всякой резкости и необоснованных обвинений.

На этом позволяю себе кончить настоящую главу, надеясь, что она, несмотря на сравнительную краткость, даст читателю известный материал для размышления.

10. ОТСТАВКА

Мне осталось рассказать, как весь состав министерства Витте получил отставку и как, следовательно, кончилась моя хотя кратковременная, но полная треволнения политическая карьера.

В начале апреля выборы в Государственную думу были уже вполне обеспечены и вполне определился будущий состав ее. Как известно, после того, как русская публика настойчиво утверждала, что правительство водит Россию за нос и Думы не соберет, когда сроки выборов уже были правительством назначены и опубликованы, та же публика стала уверять, что сама Дума не соберется, тоже, конечно, по вине правительства, которое настойчиво заподозривалось в нечистой игре. Если признать глас публики гласом народа, как это настойчиво твердили и внушали газеты, то нужно признать, что на этот раз глас народа не оказался гласом Божиим: мало того, что выборы состоялись, но состоялись они, принимая во внимание состояние страны и новизну дела, в замечательном порядке и без всякого, можно сказать, давления со стороны правительства. Результат выборов оказался, однако, не в пользу этого правительства; правда, крайние социалистические и анархические партии были в ней слабо представленными отчасти потому, что они переоценили свои силы и вообразили, что воздержанием от выборов могут сорвать самый созыв Думы, отчасти и потому, что они были, в сущности, малочисленнее, чем они казались, судя по числу террористических актов и энергии пропаганды. Нельзя также в этом отношении не принять во внимание и тот факт, что самая значительная часть революционной армии состояла из самой зеленой молодежи, в громадном числе из подростков: студентов, гимназистов, гимназисток и молодых рабочих, не достигших двадцати пяти лет, т. е. не имеющих возрастного ценза, установленного для активного избирательного права. Как бы то ни было, но бойкот Думы абсолютно не удался, и выборы повсеместно состоялись.

Однако результаты их не радовали правительство, так как хотя крайние партии в обе стороны, т. е. как крайние правые, так и крайние левые, потерпели на выборах несомненное поражение, но та партия, которая прошла на выборах в городах и в земствах, была не только оппозиционная, но даже несомненно революционная, хотя и с явно буржуазным оттенком. Партия конституционалистов-демократов, или как ее окрестили по начальным буквам (К. Д. каде, cadet) кадетов, обнародовав хотя и расплывчатую, но преисполненную заманчивыми обещаниями и посулами программу, ловко воспользовалась промахами правительства, а также настроением минуты. Руководи-

мая весьма неглупыми людьми из служащих и отставных профессоров, так или иначе пострадавших за свои либеральные убеждения, и передовых литераторов и адвокатов, партия кадетов успела привлечь на свою сторону большинство инородцев, а из русских людей с именем таких, о которых публика по крайней мере слыхала. Как известно, лозунгом всего либерального общества, повторяемым большинством, конечно, весьма мало сознательно, но настойчиво, было требование прямых выборов вместо двухстепенных и трехстепенных, установленных избирательным законом; и в этом отношении кадеты ловко вывернулись, обратив, в сущности, двухстепенные выборы в прямые и притом из тайных преобразовав их почти в открытые. Действительно, интригуя всеми доступными средствами, иногда даже еле-еле умещавшимися в пределах законности, хотя и не переходившими их, в пользу избрания выборщиков, принадлежащих к их партии, кадеты объявили открыто и, так сказать, официально имена своих кандидатов в члены Думы, которых выборщики их партии обязались избрать. Таким образом, петербургский житель, голосуя в своем участке за внесенных в кадетский список выборщиков Иванова, Васильева, Сидорова, знал, что он, в сущности, голосует не за них, а за Кареева, Щедрина, Винавера и т. д. — за тех кандидатов кадетской партии, за которых выборщики Иванов, Васильев и Сидоров обязались заранее голосовать.

Я не намерен заняться здесь разбором тактики партий и историею выборов в первую Государственную думу, но счел нужным коснуться этого вопроса постольку, поскольку он мне казался важным для выяснения отношений к нему Витте и его кабинета. История этой эпохи, конечно, будет со временем написана, и хотя, не будучи даже пророком, можно предсказать, что будет она писаться под влиянием партийных симпатий и антипатий, но, конечно, настанет время и для беспристрастной ее разработки. Поэтому я воздерживаюсь от более подробного повествования об успехах кадетов и их видимых причинах, ограничившись сказанным выше.

Витте не ожидал таких результатов выборов и был ими поражен. Кажется, я был единственным человеком в Совете министров, который предсказал заранее победу кадетов или по крайней мере громко предрекал ее. Помню, когда после победы этой партии в Петербурге я сказал, что в Москве число поданных голосов будет еще больше, на меня и Витте и Дурново посмотрели с некоторым сожалением, как на человека, не находящегося в курсе дела, и спокойно ответили, что в Москве сильна только одна партия — купеческая, а что она решила провести кандидатов "Союза 17 октября". Когда результаты подтвердили мое предсказание, — это, видимо, произвело большое впечатление на Витте, и он первый заявил, что я был прав, а он ошибся.

Отношение его к победившей на выборах партии было определенное — он считал ее вреднее и опаснее для России, чем социалистов

или даже анархистов: он говорил, что с крайними партиями может быть открытая и честная борьба, а со скрытыми революционерами, как он называл кадетов, борьба только на хитрости. Он не скрывал от некоторых из нас, что, по его убеждению, ввиду результатов выборов, первую Думу правительству придется распустить, так как работать с нею никакое правительство не будет в состоянии: кадеты не захотят помочь правительству умиротворить и устроить Россию, так как, говорил он, единственная их цель — управлять самим, а не служить Царю и стране. Он указывал на то, что самую монархию, хотя бы и строго конституционную, кадеты признавали только неизбежным временно злом, не скрывая своих симпатий к республиканскому образу правления, конечно, при том условии, если они сами будут во главе правительства. Конечно, Витте не занимался предсказаниями и не пытался предвидеть все, что случится, но я должен засвидетельствовать, что он совершенно правильно указал мне, например, что кадеты поведут с правительством парламентарную борьбу в Думе, стараясь придерживаться конституционных традиций, а именно это обстоятельство, по его мнению, затруднит правительство в приискании такого повода для неизбежного роспуска Думы, который ясно доказал бы всему миру, что вина падает не на правительство, а на самое Думу. Как устроить это — он мне не говорил, но ясно было одно: как только выяснился состав будущей Думы, т. е. в середине апреля, Витте был уверен, что о совместной работе с новым парламентом, которого он так жаждал и на который он указывал Государю, как на якорь спасения, речи быть не может.

В свое время Витте возлагал большие надежды на депутатов из крестьян, считая, что они дадут устойчивую группу консервативных, а во всяком случае преданных Царю и монархической идее членов Думы. Теперь он говорил, что эта надежда у него пропала, так как кадеты обманут и опутают их несбыточными, но хитрыми обещаниями, из-за которых крестьяне будут их поддерживать и когда-то догадаются, что их надули. Сам Витте был не прочь допустить и узаконить экспроприацию земель частных владельцев в пользу крестьян, но подчеркивал, что к этому средству следовало бы прибегнуть только убедившись, что оно принесет действительную пользу и народу и стране, а кадеты, говорил он, непременно сделают это предложение, но не ради блага России, а ради только своих партийных целей, для того, чтобы добиться преобладающего значения, чтобы увеличить свою популярность среди массы населения.

Я считаю нужным упомянуть об этих впечатлениях, так как думаю, что они не были без влияния на принятое тогда же нашим председателем решение, хотя, сообщая нам о нем, он ни полсловом не обмолвился об этих мотивах, выставивши совершенно иные; но так как, с другой стороны, он не скрывал в беседах с нами своих мнений о будущности Государственной думы, то сомневаюсь, чтобы они не играли никакой роли, когда он обратился к Государю с просьбою уволить

его накануне созыва первого Российского парламента, на осуществление которого им было потрачено столько времени и труда. Мне кажется тоже любопытным, само по себе, припомнить резкость суждений графа Витте, высказанных в такое время, когда нервы его были напряжены вне всякой меры, в известной части своей не лишенных, однако, политического предвидения, как бы ни смотреть на его личные убеждения и на те планы, которые он лелеял в душе.

Не поручусь за точность моей памяти, но думаю, что случилось это 18 апреля. Я явился в этот день, по обыкновению, одним из первых на очередное заседание Совета министров. Витте открыл дверь своего кабинета и, увидев меня, позвал меня к себе. Закрыв за собою дверь, он пригласил меня присесть у письменного стола и обратился ко мне приблизительно с такою речью: "Между нами установились, мне кажется, такие отношения, дорогой Иван Иванович, что я считаю себя нравственно обязанным сообщить Вам об одном совершившемся факте, которого еще почти никто не знает. Я прочту Вам письмо, которое я написал Государю Императору и о котором я пока никому, кроме Вас, теперь не говорил: вот оно... " — и он прочел мне черновик письма, занимавшего, по-видимому, четыре страницы. Письмо начиналось напоминанием о том, что принимая шесть месяцев тому назад пост председателя Совета министров, несмотря на усталость и болезненное состояние, он обязался подготовить почву для созыва Государственной думы. Эта часть принятой на себя обязанности ныне им исполнена. Напомнив затем Государю, что еще в январе он ходатайствовал об увольнении, Витте говорил, что Его Величество потребовал от него продолжения службы до окончательного заключения внешнего займа; так как этот заем, совершение которого затянулось вследствие причин, связанных с общееврейскою политикою, обеспечен, то Витте возобновляет свою просьбу об увольнении его по болезни в чистую отставку, так как он не чувствует себя в силах работать так, как он привык и считает нужным. Разбирая достигнутые им результаты, он выражает полное удовлетворение по отношению к займу, а что касается Думы, то он сознавался, что состав ее его не только не удовлетворяет, но представляется ему опасным для ближайшего будущего. Результат неудовлетворительных, с его точки зрения, выборов он приписывает в своем письме неверной политике неразборчивых репрессий и неудачным распоряжениям П. Н. Дурново, который, как известно Его Величеству, действовал с большою самостоятельностью и вопреки его, Витте, мнениям. Поэтому он не может принять на себя ответственность за ряд мероприятий Министра внутренних дел и находит для себя невозможным явиться перед Думою, имея рядом с собою Дурново, от солидарности с политикою и действиями которого ему, по совести, пришлось бы публично отречься. Помимо, однако, всех этих соображений, Витте заявлял о невозможности для него лично продолжать службу вследствие совершенно расстроенного здоровья, требующего

серьезного и продолжительного лечения и лишающего его необходимых сил для службы Его Величества..."[1]

Выслушавши этот документ, я был сильно поражен и самим фактом и содержанием письма: хотя слухи и разговоры об отставке носились давно, но так как они до сих пор не осуществились, то все мы были убеждены, что отставка эта последует после открытия Гос. думы, которой мы, казалось бы, должны бы были дать отчет в своих действиях и внести выработанные проекты. Витте, однако, не дал мне даже раскрыть рта, объявив, что письмо послано, что решение его непреложно, но что он считает, что его отставка не должна влечь за собою отставку министров. С этими словами он встал, и мы отправились из его кабинета вместе на заседание Совета.

Заседание это прошло, как обыкновенно, хотя и чувствовалась некоторая неловкость, а в конце его Витте довольно туманно намекнул на возможность своего ухода. Дурново был, напротив, в хорошем расположении духа и говорил о Гос. думе. Раньше, когда Витте, возражая против его действий, иронически говорил, что ему доставит удовольствие посмотреть, как он будет вывертываться, когда с него будут требовать отчета и объяснений, Дурново заявлял, что он просто отвечать не будет, так как дело Думы — заниматься будущим, а не копаться в прошлом; теперь он говорил, что берется объяснить все свои действия Думе, что там будут сидеть люди разумные и что он уверен в том, что они его поймут и, если не все, то многое одобрят.

Дурново уехал тотчас после заседания, а Витте быстро удалился в своей кабинет. Оставшиеся члены Совета собрались в кучку и стали делиться между собою впечатлениями: что означают намеки председателя? Большинство склонялись к мнению, что наш председатель "играет комедию", что о выходе в отставку не может быть и речи накануне открытия Думы; особенно настаивал на этом Немешаев, просто смеявшийся над нашею наивностью, что мы и поверили намекам. Я не считал себя вправе передавать доверенное мне нашим "патроном", но все же сказал, что уверен в том, что вопрос поставлен гораздо серьезнее, чем думают коллеги; последние, очевидно, были поколеблены серьезностью моего тона и стали говорить, что невозможно оставаться в таком глупом положении неведения и что нужно пойти к Витте и попросить его откровенно объяснить всем, что он намерен делать и не решился ли он на какой-нибудь шаг без нашего ведома. Не помню теперь в точности кто, но, кажется, Оболенский, Шипов и Философов отправились к Витте "депутациею" в кабинет. Он сейчас же попросил всех к себе и прочел свое письмо. Все сразу стали говорить о том, что он не имел нравственного права принимать такого решения, не посоветовавшись с коллегами, что он обязан взять свое прошение обратно, а что Государь не может принять этого прошения до фактического открытия Думы и до того времени, когда министерство представит ей свои объяснения и внесет свои проекты. На это Витте ответил, хотя и волнуясь, но вполне определенно: "Я готов согласиться с вами,

что я поступил относительно вас, господа, неправильно, потому оставимте это; что касается меня самого, то мое решение неизменно. Я имею основания полагать, что Государь отпустит меня теперь же, но если бы Его Величество этого не сделал, то клянусь вам, что в Думе ноги моей все-таки не будет, я просто ходить туда не буду, делами заниматься не буду, все брошу; пусть идет в Думу Петр Николаевич, и открывает ее, если хочет, пусть дает объяснения. Государь знает, что я не могу принять на себя ответственности за все меры, которые принимались за последнее время, а кроме того я серьезно нездоров, не сплю уже давно по ночам, не в состоянии сосредоточиться. Относительно меня, господа, вопрос решен окончательно, и я прошу не терять времени и усилий на изменение решения, которое принято бесповоротно: в этой Государственной думе меня никто никогда не увидит, и в ней я не намерен подвергаться неизбежным оскорблениям. Что касается вас, то если Государь не принял иного решения, о чем я ни малейших сведений не имею, я считаю, что вы должны остаться. Если Его Величество найдет нужным посоветоваться со мною, то я думаю указать на Философова, как на моего преемника, если вы ничего против этого не имеете. А теперь пока до свидания; надеюсь, что Государь будет милостив и не заставит меня ждать долго решения моей участи"...[2]

Мы ничего против Философова не возражали, но сам Философов энергичнейшим образом отнекивался от чести.

Можно себе представить, какое впечатление произвел на всех этот разговор. Уходя от Витте, все, конечно, были заняты своей судьбою. Шипов заявил, что он будет ждать, пока сам Государь объявит ему о его отставке. Оболенский энергично объявил, что готов на коленях умолять Государя не увольнять его из синодальных оберпрокуроров, так как он начал целый ряд реформ, которые нужно довести до конца, причем Синод никакого отношения к Думе не имеет. Большинство, однако, было того мнения, что отставка Витте равнозначна отставке Кабинета. Я в этом не сомневался ни минуты, и меня интересовал только вопрос, когда и в какой форме мы ее получим; самый факт отставки мне рисовался как избавление от тяжкой ответственности и от навязанного мне каторжного труда, который я взвалил на себя из чувства долга, а не по собственной охоте, а потому ожидаемая развязка меня не только не пугала, но, напротив, искренно радовала, сознаюсь в этом прямо и без всякого ложного стыда.

В следующую пятницу, 21 апреля, Витте созвал нас всех последний раз. Приехал и П. Н. Дурново, которого председатель особенно просил непременно быть. Открывая заседание, он заявил, что оно не будет деловым, а созвано лишь для беседы. Он нам объявил, что отставка его принята, и что получили тоже отставки Дурново и Акимов; что касается остальных, то ему ничего не известно, так как он Государя не видел, а извещен о своей отставке Его Величеством письменно. Он просил специально приехать сегодня П. Н. Дурново

для того, чтобы прочесть при нем письмо, которое он написал Государю, так как в этом письме говорится о нем, Дурново, и ему кажется необходимым, чтобы он знал, что о нем написано, и чтобы не вышло, что он, Витте, скрыл от него свое мнение. Дурново выслушал знакомое нам всем письмо совершенно спокойно, и на меня это спокойствие произвело такое впечатление, как будто ему, хотя бы в общем, было уже известно содержание письма. Со своей стороны, он сообщил, что он во время последнего своего всеподданнейшего доклада спросил Государя о своей дальнейшей судьбе, причем Его Величество изволил указать, что считает нужным, хотя и с сожалением расстаться с ним; тогда он подал прошение об отставке.

После этого началась непринужденная беседа, в которой выяснилось, что хотя никому из нас, кроме троих, получивших уже отставку, ничего пока не объявлено, увольнение всех дело уже решенное, причем намечены уже и известны наши преемники, хотя с некоторыми из них идут еще переговоры. Преемник Витте уже назначен, хотя назначение это еще и не опубликовано: это Горемыкин — самый решительный политический противник Витте, занимавшийся в течение всей зимы последовательною критикою всех его мероприятий и всей его деятельности. Было известно, что он не только ругал на чем свет стоит нашего председателя во всех петербургских гостиных, но писал даже записки Государю с нападками на внутреннюю политику правительства, предрекая чуть ли не гибель России.

Тут же нам стало известно (некоторые из нас, конечно, знали об этом раньше, но другие, и я в том числе, услыхали это впервые), что в придворных сферах упрекают наш Кабинет в том, что он не ухитрился руководить выборами в Думу и повлиять на исход, и что в этом видели чуть ли не измену Престолу.

О том, что Горемыкин был в хороших отношениях с Треповым, и о чем говорилось теперь, было всем более или менее известно.

Шипов рассказал, что он был с докладом у Государя, что Его Величество ни полсловом не обмолвился о его, Шипова судьбе, но что с сожалением говорил об уходе Акимова, которому он, Шипов, счел долгом передать лестное мнение о нем Государя. Тут же мы узнали, что Акимов при увольнении из министров назначен членом Государственного совета.

Следующий день, суббота 22 апреля, был днем моего очередного всеподданнейшего доклада. Я живо чувствовал комичность своего положения: мне известно было, что отставка моя была предрешена, что, может быть, преемник мой уже назначен, и, тем не менее, я должен был везти портфель с бумагами, требовавшими решения Государя, как будто ничего не произошло, и я все дела по министерству веду, как раньше, готовясь к заседаниям Государственной думы, которой я и не увижу.

Так как я отказа из Царского не получил, то в обычное время отправился на поезд. Уже с конца марта мой постоянный субботний

компаньон ген. Редигер переселился в Царское, а потому я более не пользовался его компаниею. Я только что расположился в салоне, как дверь отворилась, и в вагон вошел великий князь Петр Николаевич. Поздоровавшись со мною, он прежде всего спросил, все ли я еще министр; на это я мог ответить: “Как видите, Ваше Высочество, считаю себя таковым, так как еду на всеподданнейший доклад, но с уверенностью сказать не могу, министр ли я еще или нет”. Мы пробеседовали с ним до Царского, куда он ехал тоже с каким-то докладом.

В приемной у Государя я застал Редигера, который тоже обратился с вопросом о моей судьбе и о судьбе остальных коллег; я мог ему только сообщить об отставке Витте, Дурново и Акимова, о чем он был уже осведомлен. Пока я ожидал своей очереди, приехал граф Ламздорф, который был принят тотчас после Редигера. Свой доклад я совершил по обыкновению, и Государь утвердил все мои предположения, был очень любезен, но не проронил ни одного слова о том, что это последний мой доклад. Мне показалось как-то неудобным поставить вопрос о самом себе, так как я этим как будто вызвал бы Его Величество на объяснения, которые, может быть, нежелательно было бы возбуждать; а может быть, я просто не решился сделать того, чего ожидал от меня Государь. Как бы то ни было, я вышел, простившись с Его Величеством, как всегда, в такой же неизвестности относительно своей судьбы, с какой я вошел.

Обратный путь в Петербург я совершил с гр. Ламздорфом и бар. Фредериксом. Первый заявил, что он сегодня, мол, вручил Государю Императору свое прошение об отставке, и что Его Величество, согласившись на нее, благодарил его за службу в весьма милостивых выражениях. Тогда я обратился к бар. Фредериксу с просьбою дать мне совет, в качестве моего бывшего долговременного начальника, как мне быть, не написать ли мне письмо Государю. Сначала он объявил, что решительно не знает, что посоветовать, но затем высказался в том смысле, что на моем месте он написал бы письмо, но не подсказывая в нем Государю решения…

Вернувшись в Петербург, я всю субботу и воскресенье только и слышал о своей отставке и, посоветовавшись с Герасимовым, в понедельник утром, 24 апреля, решился послать с курьером письмо следующего содержания:

“Ваше Императорское Величество. В последнюю субботу, когда я имел счастье представить всеподданнейший доклад по Министерству, я не осмелился беспокоить Ваше Величество вопросом о том, какое Вам благоугодно будет преподать указание относительно дальнейшего ведения дел Министерства народного просвещения.

Ввиду, однако, происшедших в составе Совета министров крупных перемен, осмеливаюсь ныне всеподданнейше испрашивать всемилостивейших указаний относительно дальнейшего моего пребывания во вверенной мне Вашим Императорским Величеством должности.

8 — 1793

Считая себя готовым по долгу дать ответ перед Вашим Императорским Величеством за время управления Министерством, я не чувствую себя вправе уклониться от той тяжелой обязанности, которая вытекает из предоставленного Вашим Величеством Государственной думе права требовать объяснений на запрос Министрам Вашим".

Вечером того же дня я получил свое письмо от Государя обратно со следующею собственноручною надписью Его Величества: "Ввиду происшедших перемен, нам приходится расстаться. Благодарю Вас, граф, за Вашу преданность и за усердие."

На следующее утро я получил из собственной Его Императорского Величества Канцелярии копию с Высочайшего приказа, подписанного 24 апреля; текст приказа гласил, что "увольняются согласно прошению" от должностей: я, Оболенский, Немешаев и Никольский, причем должен сказать, что никто из нас в действительности таких прошений не подавал.

Так кончилась моя государственная карьера. Из всего нашего состава за шестимесячную службу получили награды следующие лица:

1. Граф Витте получил орден Александра Невского с бриллиантами (через награду, так как у него был орден Белого Орла, а в порядке постепенности ему следовало бы получить сперва орден Ал. Невского, и только через некоторое время бриллианты к нему).

2. Дурново, за этот срок произведенный в Действ. Тайные Советники, в Статс-секретари и в Члены Государственного совета, при отставке получил 200 000 рублей наличными.

3. Философов, произведенный в январе в шталмейстеры, назначен при увольнении от должности членом Гос. совета.

4. Акимов, получивший орден Белого Орла, назначен членом Государственного совета.

5. Никольский назначен Сенатором.

6. Немешаев получил очередную награду — орден Анны первой степени. Он вернулся к своей прежней должности начальника юго-западных железных дорог.

Остальные наши коллеги имели следующую судьбу: бар. Фредерикс, Редигер и Бирилев остались министрами; граф Ламздорф и кн. Оболенский остались членами Государственного совета; Шипов получил какое-то место по Министерству финансов с приличным окладом; Федоров уволен со службы с пенсиею (кажется, довольно скромной). Что касается меня, то хотя я и остался номинально на службе в качестве придворного чина (гофмейстера), но в сущности был совершенно устранен от каких бы то ни было дел, с лишением жалованья и без всякой пенсии. Было ли этим подчеркнуто неудовольствие моею деятельностью, или Государь вспомнил мою просьбу ничем не награждать меня — не знаю; а может быть, просто знали, что я ни в чем не нуждаюсь, что лишняя звезда на груди не доставила бы мне никакого удовольствия, а между тем я ни о чем не хлопотал. Перед окончательным "разъездом" граф Витте угостил весь состав нашего Совета у

себя на Каменноостровском проспекте великолепным обедом, роскошно сервированным, хотя все мы были приглашены в сюртуках, а не во фраках. На следующий день, 25 апреля, я сделал ему визит, и вот, поговоривши со мною о происшедших переменах, он обратился ко мне со словами: “Вы меня извините, если я затрагиваю деликатный вопрос, но скажите мне откровенно: Вы не нуждаетесь в устройстве теперь Ваших дел, т. е. не следует ли мне похлопотать о Вас? Теперь наступают тяжелые времена, а Вы, может быть, расстроили свои финансы? Будьте, пожалуйста, откровенны и извините меня, дорогой граф, за нескромность.” Я на это ответил: “Благодарю Вас, граф Сергей Юльевич, я ни в чем не нуждаюсь: денег у меня за глаза достаточно для существования, а дети мои, к счастью, обладают скромными вкусами и ограниченными потребностями. Что касается каких бы то ни было почетных наград, то я предпочел бы совсем обойтись без них: какой-нибудь лишний орден меня мало прельщает, и я вполне удовлетворен имеющеюся у меня Анною первой степени, придающею мне в нужных случаях вполне достаточно торжественный вид. Итак, я очень благодарен Вам за Вашу заботливость обо мне, но прошу Вас усердно не хлопотать о моем награждении — ни денежном, в котором не нуждаюсь, ни орденом или должностью; я рад, что завершил свою службу, не оскандалившись и не запятнав ничем своего имени, и лучшею для меня наградою будет заслуженный, мне думается, отдых.” — Витте меня обнял и сказал: “Ну, тогда дозвольте хоть поблагодарить Вас от души за Вашу службу; за все время нашей совместной службы не произошло, кажется, между нами ни одного серьезного недоразумения, и я надеюсь, что мы расстаемся друзьями”.

25 апреля я в последний раз зашел в министерство утром, чтобы проститься с моими товарищами и кое кем из сослуживцев, а уже 29 я собрался с дочерью к себе в Финляндию, где я и написал эти воспоминания о кратком, но переполненном сильными впечатлениями периоде моего “пребывания у власти”. Теперь, в начале августа, когда я пишу эти строки, мне кажется все это чем-то ужасно далеким, как будто со времени моей отставки прошло не три месяца с небольшим, а три года: ведь за это время успела собраться и наговориться всласть Государственная дума, ее успели распустить и объявить о новых выборах, заменивший нас Совет министров успел измениться в своем составе, и Горемыкина, заместившего Витте, успели уже заместить Столыпиным — надолго ли?

Отставка Витте, а с ним и всех нас, накануне открытия Думы заключает в себе для меня пока много неясного. Что придворная партия интриговала вовсю против Витте, что Государю лично он был антипатичен, что сам он был измучен и предпочитал не являться перед Думою, которая, как он знал, была ему враждебна, несомненно. Но, с другой стороны, он сам сознавал, что уход его страшно осложнял положение, роковым образом и прямо вел Россию к серьезному кризису, причем каждый должен был обвинить именно его в том, что он

бросил Государственную ладью на произвол бури как раз в минуту наиболее критическую. Весьма возможно, что я ошибаюсь, но думаю, что положение было такое: Витте знал, что против него интригуют Горемыкин, Трепов и другие, он видел, что с Думою предстоит сложная и опасная борьба, которая должна была кончиться ее роспуском, а между тем руки его были связаны, так как Государь, мало ему доверявший и относившийся к нему отрицательно как к личности, был еще постоянно смущаем окружающими; он ясно чувствовал, что Дурново, которым он даже охотно пользовался бы как орудием, принимал участие в интриге против него и все более становился хозяином положения, пользуясь большим доверием и большими симпатиями как государственный человек, чем он сам. Витте и решил: "А ну Вас всех к Богу: не хотите меня и не надо — выпутывайтесь, как знаете. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getahn — der Mohr kann gehen"*. Ссылаясь на действительную свою болезнь, которая, однако, не помешала ему шесть месяцев работать и действовать за десятерых, и на согласие Государя отпустить его тотчас по заключении займа, Витте все-таки ввернул в свое письмо указание на невозможность явиться в Думу вместе с Дурново, которого он обвинял прямо только теперь, в последнюю, так сказать, минуту, в неудачных результатах внутренней политики, отказываясь от всякой солидарности с наиболее влиятельным министром своего Кабинета. Я позволю себе утверждать, что это было сделано с целью: с одной стороны, он знал, что "общественное мнение" не только в России, но и за границею больше всего ставило ему в вину именно то, что творилось по ведомству Министерства внутренних дел, а потому документальный отказ от солидарности с действиями министра, заведовавшего этим ведомством, не мог помешать его репутации, а с другой — говоря Государю, что он не одобряет тактики Дурново, Витте как бы заявлял, что решительно расходится с Его Величеством в оценке людей и событий, так как знал, что Государь ценит энергию Дурново, обвинявшего Витте в неумении справиться с революциею и в заигрывании с нею.

Мне кажется, считая доказанным, что Витте не хотел являться в Думу, роспуск которой он признавал неизбежным уже за две недели до ее открытия, что он довольно тонко рассчитал свои ходы; напиши он Государю в своем письме только то, что он устал и что с заключением займа он считает свою роль законченною, он рисковал получить ответ такого рода: с января Вы почти четыре месяца работали и управляли — посидите еще две недели и откройте Думу, о созыве которой Вы так хлопотали, а там видно будет... Но указание на то, что он с Дурново в Думу не явится, делало невозможным такой ответ: приходилось гнать одного Дурново и, значит, развязать совершенно руки Витте, который мог еще Бог знает что натворить в несколько недель, и это тогда, когда замена его другим лицом была предрешена, хотя, может быть, и не в этот момент, но вскоре же после открытия

Думы, когда Витте успел бы уже так или иначе подвергнуться всем прелестям публичного скандала.

Мне кажется, что Витте прочел все это прекрасно в картах противников и, будучи опытным политиком, ловко отпарировал удар, заставив уволить себя не тогда, когда хотели его враги, а когда он сам захотел.

Что план замены виттевского кабинета новым существовал и что замена эта была в принципе решена до письма Витте, я имею основание считать более чем вероятным, почти даже несомненным, но что предполагалось сделать это несколько позже — доказательством тому служит неготовность состава нового Кабинета, заставившая вести спешные переговоры с целым рядом лиц, прежде чем удалось заместить все министерские посты[3].

Заканчивая эту главу и, в сущности, свои воспоминания об интересной эпохе моей жизни, так как следующая, последняя глава будет посвящена общим соображениям и умозаключениям, я должен упомянуть о встрече моей с моим преемником на посту Министра народного просвещения.

П. М. Кауфман, которого я знал давно, хотя и не близко, так как знакомство наше относится ко времени нашей юности, приехал ко мне с визитом во вторник 25-го, когда я еще не получил копию с Приказа о моей отставке. Тем не менее мы оба знали уже, что я отставлен, а он назначен.

Кауфман прежде всего поздравил меня с отставкою, говоря, что он искренно мне завидует, что он отказывался принять место, но что Государь поставил вопрос так, что ему пришлось согласиться. Между прочим он мне сообщил, что был крайне удивлен, когда услыхал от Государя, что Его Величество имел его давно в виду на должность Министра народного просвещения, и что только его отсутствие помешало его назначению; что на него всегда тоже указывала Императрица.

Затем мой преемник стал меня расспрашивать о лицах: кто такой Герасимов? Правда ли, что он радикал, весьма левых убеждений? Я отвечал, что такое определение совершенно неверно и что он, я уверен, скоро убедится, что Герасимов — неоценимый сотрудник. Следующий вопрос был, почему я нашел нужным расстаться с Лукьяновым. Я ответил, что находил его воплощением бюрократических достоинств и недостатков, с которыми считал себя призванным бороться. Кауфман выразил свое удивление такому определению, так как, по его словам, он Лукьянова знал давно и составил себе о нем совершенно противоположное представление. Таким же способом мы перебрали почти всех высших чиновников, всех бывших попечителей округов и их преемников, мною назначенных. Мой выбор, видимо, Кауфману не особенно нравился, и он этого не давал себе труда скрывать.

Наконец, зашла речь об общих вопросах, причем он поразил меня повторением весьма старой теории о том, как следует разрешить еврей-

ский вопрос, а именно, признанием их всех иностранцами и дарованием им прав таковых.

Хотя мы простились вполне дружелюбно, но я вынес впечатление, что мы расходимся решительно во всех наших воззрениях. В действительности до сих пор, т. е. в течение трех месяцев, новый министр явился моим продолжателем, приводя пока только в исполнение то, что было разработано при мне. Мои товарищи остались тоже при нем [1]. Через несколько времени после своего назначения Кауфман призвал обоих товарищей, т. е. Герасимова и Извольского, и сказал им, что Государь Император на всеподданнейшем докладе спросил его, правда ли, что по Министерству народного просвещения ничего не сделано. На это он-де ответил, что, напротив, сделано все, что можно было только сделать, и что ему остается только продолжать начатое, причем указал на них обоих как на лиц, работавших полгода без устали и разработавших целый ряд мер и законопроектов. Государь приказал благодарить двух моих бывших товарищей, что он, Кауфман, и считает своим долгом сделать.

Этим я заканчиваю свое повествование, позволяя себе только добавить, что редко когда чувствовал себя таким счастливым, как когда получил отставку и избавился от тяжелой ответственности, сопряженной со всякой должностью, а тем паче с обязанностями начальника всего учебного ведомства. От души надеюсь, что будет признано возможным оставить меня в покое до конца дней моих и что Государь и Отечество не потребуют от меня больше служебной деятельности, ибо я считаю, что по мере сил и умения, служа более двадцати пяти лет, отдал свой долг Родине и мог бы теперь быть ей полезным на более симпатичных для меня поприщах, менее связанных с бюрократическим миром, никогда мне не нравившимся, а напротив, всегда меня удручавшим...

[1] Извольский только что назначен обер-прокурором Св. Синода *(Прим. автора)*.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предшествующих главах я постарался возобновить в памяти факты, которых я был ближайшим свидетелем и даже участником в то переходное время, которое явится в истории исходным или для обновления России, или для ее распадения и гибели. Не отрицая возможности второго исхода, я твердо надеюсь и верю, что русский народ таит в себе достаточно силы и способностей, чтобы выйти из передряги обновленным, а следовательно, более сильным, чем он был ранее предпринятых широких реформ. Не вдаваясь, однако, в область предсказаний и предвидений, являющуюся очень скользкой почвою, я чувствую потребность несколько разобраться в окружающих явлениях и указать на те меры, которые могли бы, по моему мнению, ввести взбаламученное болото русской жизни в русло действительного прогресса и доступного благополучия. Весьма естественно, что я при этом придаю особое значение народному образованию в широком смысле, и именно по следующим причинам:

Во-первых, тот факт, что я почти шестнадцать лет подряд занимался в качестве действующего лица художественным образованием в России, а затем, хотя и весьма короткое время, руководил всем ведомством народного просвещения, очевидно, должен влиять на мое миросозерцание и на мое отношение к вопросу.

Во-вторых, с абсолютной точки зрения ясно, что воспитание и образование имеют несомненное влияние на направление умов и дарований в стране и являются теми факторами, которые определяют большую или меньшую пригодность нарождающихся поколений для служения Отечеству и даже всему человечеству, имея конечной целью развить и направить на благо естественные способности, заложенные в человеке.

Наконец, в-третьих, учащее и учащееся юношество, а за ними и более зрелые педагоги, как известно, фактически сыграли огромную роль в том движении, которое по справедливости может быть названо освободительным, если оно приведет, как я надеюсь, в конце концов к широкому приобщению России к общечеловеческой культурности. Если это движение и приобрело, к сожалению, малокультурную окраску и преисполнено самых диких даже явлений, то будем надеяться, что форма не заглушит сущности и что безобразные судороги помогут рождению действительной России.

Говоря о современном положении России, не нужно прежде всего забывать, что, хотя большинство народонаселения и принадлежит к русскому племени в широком смысле, наше Отечество поглотило и

массу инородческих племен, составляющих все же большой процент населения страны, а абсолютная цифра инородческого элемента, хотя и принадлежащего не только к различным племенам, но и к разнообразным расам, настолько внушительна, что роковым образом должна влиять и на народ, и на правительство, делая, мне кажется, немыслимым решение каких бы то ни было вопросов внутренней политики в пользу только одной, хотя бы и самой значительной, части населения.

Позволю себе, прежде всего для ясности, привести несколько цифр, которые, я думаю, помогут разобраться во многих вопросах.

Перепись 1897 года дала цифру населения Российской империи, включая Финляндию, в 128 миллионов приблизительно. Так как по выкладкам Центрального статистического комитета ежегодный прирост населения доходит до 1,8%, то в настоящее время общую численность народонаселения в пределах России можно принимать в 150 миллионов, из коих славян — в круглых цифрах, 97 миллионов; следовательно, неславянских народностей имеется налицо до 53 миллионов. Но и в цифре 97 миллионов славян следует разобратъся. В нее включены: 56 миллионов великороссов, 25 1/2 миллионов малороссов, 6 1/2 миллионов белорусов и 9 миллионов поляков. Если три первых народности могут считаться разветвлениями одного русского племени, то поляки, хотя и славяне, должны, конечно, быть скорее причислены к инородцам и исключены из цифры 97 миллионов, определяющей численность господствующего племени. Действительно, если прибегнуть к сравнениям, то соотношение между собою трех русских племен может быть признано подобным тому, которое существует между пруссаком и баварцем или между северным французом и провансальцем, различие же между русским и поляком уже подходит более к различию между немцем и датчанином или голландцем или между французом и испанцем. Поэтому, если придерживаться исторических и культурных примеров и прецедентов, у всех трех ветвей русского племени должен быть один культурный язык, литературный и научный, как имеется один только культурный немецкий, один французский, один английский, несмотря на существование массы народных языков и наречий настолько различных, что простолюдин, говорящий на одном из них, не понимает ближайшего соседа, говорящего на другом. Поляки, напротив того, должны иметь и имеют свой собственный культурный язык.

Если принять это положение в основание дальнейших рассуждений, то придется признать, что русских в России всего 88 миллионов против 62 миллионов инородцев, иначе говоря, русских приходится немного более 58%, а инородцев — почти 42%, или, что то же, русские составляют менее 3/5 всего населения России, а инородцы более 2/5. В отношении культурности русские стоят далеко не на первом месте: культурнее их поляки, немцы, которых в России более полутора миллионов, финны Великого Княжества. Из всей массы инородцев, населяющих Россию, наибольшее количество приходится на татар-

ские и монгольские племена, почти сплошь исповедующие Ислам; таковых в круглой цифре, вероятно, около 16 миллионов, большею частью перемешанных, однако, с другими народностями. Эти племена делятся на целый ряд народов и народцев, принадлежащих к разным расам, разбросанным почти по всей территории России, за исключением севера; они составляют более сплоченные группы и живут в небольшом количестве на юге от Уральских гор, в Центральной Азии и в восточной части Закавказья. Во всяком случае, племена эти объединены главным образом только исповедуемою религиею, а не кровным родством; поэтому можно смело утверждать, что наиболее многочисленным народом после русских следует считать поляков, а за ними евреев, которых в России, вероятно, около 6 миллионов, т. е. неизмеримо больше, чем в какой-либо иной стране всего мира; из следующих за ними по численности инородцев литовцы и латыши вместе составляют менее 4 миллионов, армян около 2 миллионов и т. д.

Из простого сопоставления этих цифр, я думаю, ясно, что из всех инородческих вопросов первое место в России должны занимать вопросы польский и еврейский; такое предположение можно было бы сделать априорно на основании, как я говорю, голых цифр, и предположение это блестяще подтверждается фактами. Мне кажется замечательным, что после польского и еврейского вопросов острее всего ставятся именно латышско-литовский и армянский. Что касается татарских и монгольских народностей, то в их среде менее заметен пока национальный вопрос, а выдвигается скорее всего культурно-религиозный, вероисповедный.

Едва ли кто-нибудь в настоящее время сомневается, хотя многие и желали бы скрыть это, что в нынешнем революционном движении национальные вопросы играют ведущую роль, и я убежден, что удачное разрешение их помогло бы делу успокоения разыгравшихся не на шутку страстей и перехода страны к мирному обновлению без той массы чисто невинных жертв, которую уже теперь поглотила борьба правительства с крайними партиями, vice versa, обратившаяся уже в “междоусобную брань”.

Русское правительство инстинктивно, отчасти чувствуя постоянную опасность со стороны инородческих элементов, испокон веков боролось с ними, но боролось самыми “дубовыми”, грубыми средствами. Борьба эта, как известно, особенно усилилась в царствование императора Александра III, поставившего целью своей политики усиленное обрусение, стараясь осуществить идеал, объявленный когда-то московскими патриотами, выразившийся в знаменитом изречении: “Православие, самодержавие, народность”, якобы воплощающем идеалы русского народа. Эта политика, приветствованная в свое время многими, при грубых и недобросовестных или глупых исполнителях дала свои плоды в виде усилившейся ненависти инородцев ко всему русскому режиму, а у отдельных националистов — и ко всему русскому вообще.

Особенно тяжело приходилось полякам и евреям; у первых правительство старалось всеми мерами уничтожить употребление самого польского языка, заставить поляков понимать и говорить по-русски; вторых, т. е. евреев, просто выживали из России, затруднив их и без того нелегкое существование целым рядом "временных" правил, отнимающих у них и те немногие права, которыми они еще обладали по закону. Поэтому, даже не принимая во внимание других причин, естественно, что русская революция нашла самых лучших пособников в среде именно поляков и особенно евреев, десятками и, может быть, сотнями тысяч так или иначе примкнувших к движению и снискавших ему в свое время, благодаря роли всесветного еврейства в области журналистики, симпатии не только русской, но и почти всей заграничной прессы.

Начальный толчок антирусскому движению или, точнее, движению против русского правительства и его режима был дан не этими народностями, а маленькою Финляндиею, считавшеюся в царствование Александра III образцом лояльности и любви к династии. Свободолюбивые финны весьма ловко использовали свое привилегированное положение среди инородцев Русского Государства и шаг за шагом, под сурдинку, усыпив могущественного русского Императора шумными манифестациями преданности и любви во время его ежегодных поездок по шхерам, устроили свои дела недурно, организовавши даже с Высочайшего одобрения, свое собственное войско, воспитанное в убеждении, что верность и послушание Монарху обязательны для них только постольку, поскольку приказания его совпадают с "конституциею" Великого Княжества, заключавшеюся в сущности только в обещании Александра I, повторявшемся его преемниками, соблюдать права и привилегии финляндцев, существовавшие во времена владычества над страною шведов. О том, какие права и привилегии, существовавшие в XVII и XVIII веках, считались конституционными, толковалось всегда ad usum delphini*. Я далек от того, чтобы бросить упрек финнам за их патриотическую политику, имевшую целью сохранить свою народную культуру и свою национальность, которым угрожал хорошо известный образ действия правительства могущественного соседнего народа, но не вижу нужды лукавить и называть черное белым.

Убаюканный выражениями преданности и отчасти, может быть, считая Финляндию за quantité negligeable**, Александр III все-таки к концу своей жизни заметил, что не все, с его точки зрения, там благополучно, но не успел принять соответствующих мер, завещав их своему Преемнику. Мне не к чему останавливаться здесь на описании роспуска финляндской "Армии" и Бобриковского режима, и скажу только, что понятно, насколько финляндские патриоты должны были возмутиться крушением всех своих планов, так настойчиво и терпеливо проводимых, накануне почти увенчания их полным успехом.

Таким образом, с одной стороны, финляндские патриоты оказались организаторами различных съездов революционеров, как русских, так и представителей инородцев, населяющих Россию, а с другой стороны, Финляндия стала убежищем для преследуемых в России и базисом для революционной армии, снабжавшим ее боевыми припасами. Дарование Финляндии всех прав, которых она добивалась, за исключением пока только собственной армии, сразу значительно уменьшило опасность с ее стороны и было, мне кажется, хотя и вынужденным обстоятельством, но мудрым актом; сказать, что выдающаяся роль Финляндии в ходе Российской революции прекратилась совсем, конечно, пока нельзя, но несомненно, что она сильно сократилась; финны слишком напуганы прелестями Бобриковского режима, который они, со всей справедливостью, приписывают существовавшим до сих пор в России порядкам и образу правления, а потому все их симпатии на стороне тех, которые стремятся к ниспровержению существующего государственного строя, веря, что конституционная Россия не станет угнетать мелких народностей, ей подвластных.

Как бы то ни было, но под шум российской передряги Финляндия получила конституцию с однопалатною системою, со всеобщим активным и пассивным избирательным правом, распространенным на оба пола, и т. д., одним словом, либеральнейшее из известных государственных устройств. Если Русское правительство на это согласилось, то, очевидно, только по двум соображениям: 1) считая Финляндию самое по себе слишком маленькою по числу народонаселения (2 1/2 — 3 миллиона) страною для того, чтобы бояться ее, и 2) надеясь, удовлетворив финские вожделения, обезопасить себя от слишком географически близких пособников своих домашних революционеров.

Совершенно иным было отношение правительства к другим инородцам: на движение в Царстве Польском оно решительно ответило введением военного положения, евреям оно ничего не дало, а отнять было нечего, ибо почти все уже отнято у этого несчастного племени; на латышское движение, принявшее действительно безобразные формы с самого начала, оно ответило казнями, на Кавказе же, где возникла междоусобная кровавая война между местными племенами, правительство оказалось совершенно бессильно восстановить хотя бы какой-нибудь человеческий порядок, который дал бы возможность хоть что-нибудь сделать.

Справиться с инородческим центробежным движением было бы правительству не очень трудно, за исключением, по моему мнению, движения поляков и евреев, если б в самой России дела мало-мальски обстояли благополучно. К несчастью, в критическую минуту для самого правительства оно со времени великих реформ императора Александра II, т. е. в течение 40 лет, не только не сделало ничего в развитие этих реформ, но, напротив, или портило по мере сил уже сделанное, или оставляло без внимания недоделанное.

Я думаю, что не ошибусь, утверждая, что из общего числа 88 миллионов русских всех трех наречий, конечно, не менее 70 или даже 75 миллионов[1] являются хлебопашцами или так или иначе связаны с землею. Поэтому ясно, что кардинальным вопросом русской жизни является и всегда являлся аграрный, в широком смысле. Но как раз в этом вопросе правительство почти ничего не сделало. Единственная, можно сказать, благая мера в этом отношении — учреждение Крестьянского банка — была тотчас парализована созданием привилегированного Дворянского банка. Переселенческое дело было поставлено вяло и неумело, а создание должности земского начальника оказалось не только неудачным, но прямо во многих отношениях зловредным. Между тем факт наделения крестьян землею при освобождении в 1861 г. от крепостной зависимости утвердил в крестьянстве навсегда убеждение, что правительство обязано и будет заботиться о достаточном снабжении их землею, а потому надежды и толки о переделе, об "уравнении" никогда не прекращались и превратились в предмет непоколебимой почти веры. Было бы странно, если б революция не воспользовалась этим, и потому естественно, что как в Великороссии, так и в Малороссии аграрный вопрос явился не только наилучшею почвою для антиправительственной агитации, но и источником наиболее серьезных и опасных беспорядков. Рядом с этим ретроградная в общем внутренняя политика правительства за последние 80 лет при крайней демократичности славянского племени вообще, и в частности великорусской ветви его, повела к накоплению целого ряда разумных требований эгалитарного характера, неудовлетворение которых, естественно, повело к уснащению их пожеланиями более крайнего свойства, вплоть до усвоения плохо переваренных утопий катедер-социализма и анархизма, причем все это перемешалось в малоразвитой и невежественной среде в кашу, расхлебать которую едва ли скоро удастся.

Давно образовавшиеся разнообразные партии и фракции работали не со вчерашнего дня как над организациею будущей революции (в заграничных отчасти кружках), так и над непосредственной пропагандою в народе.

Подпольная работа инородческих организаций русских и русско-еврейских радикальных партий велась обычным способом и порядком до начала Русско-японской войны. Глупо начатая, плохо веденная, стоившая огромных жертв людьми и деньгами, несчастная война эта представила собою для всех антиправительственных элементов замечательно благодарное и давно желанное обстоятельство, которым они и воспользовались вовсю. Если правда, что покойный Плеве был, как говорят, сторонником войны как средства для отвлечения умов от занятия внутреннею политикою и для подъема патриотического чувства, то следует признать, что он или весьма плохо был осведомлен

---

[1] Считая, конечно, жителей обоего пола и всех домочадцев до грудных детей включительно *(Прим. автора)*.

о действительном положении вещей или что рассуждал весьма легкомысленно и поверхностно. Насколько, однако, революционное движение было еще в минуту объявления войны мало фактически распропагандировано, можно заключить из той грандиозной патриотической демонстрации, которую произвели студенты Петербургского университета en masse в день объявления войны. Те же студенты, которые через несколько месяцев после этого уничтожали царские портреты, объявляли династию низложенною, а себя передовыми борцами анархии, теперь, собравшись в тысячную толпу, неся национальные флаги, произвели восторженную овацию перед Зимним дворцом и обошли пол-Петербурга с непокрытыми головами при пении гимна.

Собственно началом активной революции можно считать убийства Бобрикова и Плеве, а первым опытом действия массами — демонстрацию 9 января 1905 г. под предводительством пресловутого попа Гапона. С этих пор проявления ее не прекращались, увлекая за собою все более и более широкие круги, причем движение превратилось понемногу, хотя и весьма быстро, из партийного в народное; отчасти застрельщиками его, отчасти главарями выступила передовая интеллигенция и на первом ее плане — "учащееся" юношество и профессура с педагогами низших рангов до сельского учителя включительно. К движению активно или пассивно примкнули самые неожиданные элементы самого буржуазного и, казалось бы, даже охранительного свойства, как второстепенное чиновничество, и все и вся слилось в один общий хор требований прекращения злосчастной войны и коренных внутренних реформ, начиная с изменения самой формы правления, которая клеймилась как источник и первооснова всех бед. Несмотря на сравнительную стройность этого хора, все время легко можно было расслышать в нем голоса еврейские, польские, финские и кавказских инородцев. Замечательно при этом, что люди образованные и разумные, доказывавшие при объявлении войны ее необходимость и логичность, теперь с пеной у рта требовали ее немедленного прекращения.

Правительство, видимо, совсем растерялось. Враги, как внешние, так и внутренние, с каждым днем увеличивались в числе и как бы лезли из всех щелей, которых нечем было заткнуть: для борьбы с революциею, с внутренним врагом, нужна была уже армия, так как полиции не хватало, а армия эта фактически таяла в отдаленной Манчжурии, где маленькая Япония сосредоточила более полумиллиона отлично вооруженных бойцов, тогда как у нас полагали, что она при напряжении крайних своих сил будет в состоянии выставить не более 200 000 солдат.

Что может быть хуже и опаснее растерянности в минуту серьезной опасности? Борясь на два фронта, правительство то старалось успокоить внутренних врагов и уменьшить их число обещаниями скорых реформ, то, бросив заботы о внутреннем положении, валило людей и

деньги, деньги сотнями миллионов, на войну, надеясь на счастливый случай и больше всего, кажется, возлагая надежду на Николая Угодника и на всех святых. После ужасной катастрофы у Цусимы, завершившей нелепую и дерзкую авантюру посылки нашего несчастного флота за тридевять земель, наступил день расплаты за многие истекшие года: правительство решилось ликвидировать обе несчастных для него войны — внешнюю заключением мира и внутреннюю, междоусобную, введением давно ожидаемых реформ. Судьба захотела, чтобы обе ликвидации поручены были одному и тому же лицу, с именем которого отныне связаны результаты и Портсмутского договора и введения конституции в России, причем в глазах современников, несомненно, преобладает odium неудовлетворительных сторон того и другого, а что скажет история — об этом пророчить мы не будем. Для характеристики общественного мнения любопытно отметить, что те, которые громче всего требовали заключения мира на каких бы то ни было условиях, ругали потом Витте за условия Портсмутского договора, а какой-то "остряк" придумал для него за то, что пришлось уступить японцам нижнюю часть Сахалина, титул "Графа Полусахалинского".

Как никак, а Витте мир с Японией наладил, уступивши японцам только ту территорию, которая ими фактически была занята и которую пришлось бы отнимать у них с бою [1], и отказавши им в требуемой контрибуции.

Но если удалось заключить мир с Японией, то попытка Витте достигнуть того же с внутренними врагами правительства ему не удалась, и междоусобная война, вопреки его надеждам, не только не прекратилась, но обещает затянуться на гораздо более продолжительное время, чем японская. Хотя Витте и понимал, как всякий разумный человек, что революционное движение не может затихнуть сразу под впечатлением какой бы то ни было меры, будь она архилиберальнейшею, но он, несомненно, льстил себя надеждою, что Манифест 17 октября внесет значительное успокоение и даст возможность правительству с известною долею спокойствия предпринять и провести в жизнь ряд реформ и актов, которые в конце концов должны были повести к полному по возможности успокоению, а следовательно, и к столь желанному внутреннему миру. Напомню, что обещанные Манифестом реформы заключались в следующем: "Дарование населению основ гражданской свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов и созыв Гос. думы, без одобрения коей никакой закон впредь не мог восприять силу..." Обещанное было, несомненно, громадным шагом вперед на пути развития русской гражданственности и сознательных людей, сознательных в прямом смысле, а не в том, который этому слову приписывают

[1] Уступленная часть Сахалина была фактически в руках у японцев *(Прим. автора)*.

революционеры и газетчики радикального лагеря, должно было преисполнить надежды и радости, но для революционных партий в словах Манифеста не заключалось почти ничего из того, из-за чего ими была затеяна борьба, да и не могло заключаться, ибо им нужны были не реформы и не акты правительства, а его капитуляция, самоуничтожение. Что касается националистических партий, инородческих, то и они должны были видеть в Манифесте скорее угрозу осуществлению их вожделения, так как конституционная Россия, умиротворенная и сильная, представлялась более даже опасною, основательно или нет — другой вопрос, чем пошатнувшийся абсолютизм. Не напрасно все евреи, с которыми мне пришлось говорить в октябре и ноябре, настаивали на том, что равноправность должна быть провозглашена самодержавным Монархом до созыва Думы, ибо на Думу надежда плоха, и может легко случиться, что она этой равноправности не даст.

Таким образом, если Витте честно и приложил все свои усилия к тому, чтобы осуществить по мере возможности обещания Манифеста, то ему не только не удалось умиротворить страну, но, напротив того, собравшаяся Государственная дума, о созыве которой столько хлопотал Витте, доставила правительству новые серьезные затруднения, не только не успокоив страны, но еще более ее взбудоражив и усилив междоусобную войну, которую она, по идее правительства, должна была прекратить...

Говоря о старании Витте честно исполнить принятые на себя обязательства, я далек от того, чтобы отрицать, что он совершил ряд ошибок, из которых, на мой взгляд, главная — допущение в состав Кабинета П. Н. Дурново, которого он должен был знать достаточно хорошо. Если даже, что я предполагаю, Дурново ему был нужен и Витте выгоднее было, по политическим и тактическим соображениям, допустить даже нежелательные для самого дела приемы Министра внутренних дел, чем пригласить единомышленника, чтобы нести затем всю нравственную ответственность за его действия, то все же я нахожу, что Витте должен был приложить все усилия, чтобы избавиться от Дурново как только он увидал, что он отбился совершенно от рук и стал играть первенствующую роль в подробностях внутренней политики, хотя он и мог думать, что сохранил в своих руках общее ее руководство. Явною тактическою ошибкою было и отношение к кадетской партии, преследование которой со стороны Дурново, несомненно, создало ей успех, которого она не достигла бы в одинаковой мере собственными силами. Когда я указывал в Совете министров на политическую непредусмотрительность правительства, запрещающего кадетские митинги или мешающего им, то вначале Витте колебался, какое принять решение. Когда он наконец склонился к убеждению в неверности распоряжений Дурново, было уже поздно, и реклама преследуемой партии "порядочных" людей была осуществлена самим правительством. Когда я письменною запискою, внесенною в Совет,

протестовал против нелепых преследований, возбужденных против декана Харьковского юридического факультета проф. Гредескула, я оказался замечательным пророком, предсказав, что репрессии, примененные к этому лицу, поведут только к избранию его в члены Думы; это пророчество, закрепленное в официальной бумаге, не только сбылось, но проф. Гредескул был выбран даже товарищем председателя Думы. Когда я прочел свою записку в Совете, Витте стал на мою сторону, но не смог или не захотел заставить Дурново прекратить преследование Гредескула и других лиц, на которых я в ней указывал. Впрочем, в это время у Витте, кажется, уже вполне созрела решимость уйти, не дождавшись открытия Думы.

Но довольно критики, которою и без меня достаточно занимаются, так как у нас в России что другое, а критиковать умеют все, делая это притом самым беспардонным образом и сплеча. Критика в форме критиканства, как известно, стала даже любимым занятием наших соотечественников, а потому постараюсь доставить это удовольствие читателю моих воспоминаний, изложив собственный свой план реформ, хотя и в общих чертах, но могущий дать достаточный материал для издевательства.

Прежде всего позволю себе установить и изложить четыре принципиальных положения, которых я придерживаюсь и из которых я исхожу:

1. Я раньше всего убежденный индивидуалист и считаю, что права и интересы личности должны всегда стоять на первом плане и что ограждение их от чьих бы то ни было посягательств должно быть сохранено до тех пор, пока эти права и интересы не приходят в явную коллизию и не вредят правам и интересам другой личности или личностей. Только тогда государство как представитель интересов совокупности личностей имеет право вмешательства. И только благодаря существованию таких коллизий люди нуждаются в существовании самого государства. Следовательно, каждый гражданин может делать, говорить и писать все, что желает, пока он не вредит другим. Я должен иметь право распоряжаться собою, как хочу, заниматься, чем хочу и могу, и никто не смеет помешать мне хотя бы лишить себя жизни, уже не говоря о моем праве жить, где и как я хочу и вести компанию с теми, кого я сам избрал. Но так как для осуществления этого моего права я нуждаюсь в его ограждении от посягательств других личностей, то государство обязано защищать меня от них, когда я к нему обращусь за помощью, как оно обязано защищать и других от меня, если я заберусь в область их прав. Моим идеалом было бы иметь возможность чувствовать себя в государстве столь же свободным, как если бы государства совсем не существовало, и пользоваться его услугами только в случаях крайней необходимости, а лучше всего совсем обходиться без них.

2. Такой почти абсолютною свободою могут, однако, пользоваться без посторонней помощи люди сильные, смотря по времени и обстоя-

тельствам, благодаря развитым мускулам, или обширному уму, или, наконец, материальным средствам, богатству и т. д. Такие сильные люди имеют фактически тенденцию пользоваться другими, злоупотреблять своею властью и не обращать внимания на наносимый слабым вред. Так как, однако, государство должно существовать для всех, то интересы большинства должны быть ему ближе, чем интересы немногих, а потому роль его должна заключаться в защите слабых от сильных, в заботе о том, чтобы шансы в жизненной борьбе были по возможности уравновешены. Пределы вмешательства государства должны, однако, определяться принципом свободы личности, а потому такое вмешательство недопустимо там, где его об этом не просят и где не наносится явного вреда одними гражданами другим.

3. Деятельность государства начинается там, где сил отдельных лиц или общественных организаций не хватает для осуществления справедливых и законных желаний граждан для удовлетворения их неотложных потребностей. Поэтому все, что может быть осуществлено без явного вреда и опасности для других, при помощи частной инициативы должно быть предоставляемо ей; то, что не может быть исполненно отдельными лицами, должно быть предоставляемо общественным организациям.

4. Государственная власть, т. е. правительство, в своей деятельности не может руководствоваться только соображениями утилитарного свойства, но должно всегда класть в основание ее принципы права и справедливости, руководясь этическими соображениями наравне с практическими.

Я не настолько наивен, чтобы воображать, что выставленные мною положения были тотчас и в более или менее полной мере исполнимы, но думаю, что исходными точками отправления они могут быть для любого правительства, какова бы ни была форма государственного устройства страны, будь то монархическая или республиканская. Конституционно-парламентарный режим сам по себе мне лично решительно антипатичен по болтовне, по интригам партий и по невозможности установить действительно хорошее представительство; но он имеет огромные практические применения в том отношении, что дает возможность контролировать действия агентов правительства и в известной мере облегчает раскрытие злоупотреблений и недочетов управления. Поэтому не по личной симпатии к этому режиму, а из чисто практических соображений я склоняюсь к нему, имея в виду современное несовершенство человеческих организаций вообще.

Допуская парламентарный режим, я, однако, считал бы истинным несчастьем для страны, если б парламент забрал в свои руки обширную власть и явился, таким образом, или заместителем или пособником правительства в деле централизации государственной деятельности и всемогущества. Поэтому парламенту должна быть отмежевана определенная сфера, из которой он не должен бы выходить и которая вращалась бы в области общего законодательства и надзора за

деятельностью исполнительных властей. Вопрос о преимуществах двухпалатной или однопалатной системы мне кажется по существу не особенно важным, хотя в теории я склонялся бы к однопалатной системе ради ее простоты. Идеальным парламентом был бы тот, который отличался бы беспристрастием, а не управлялся бы партиями, который обсуждал бы вопросы спокойно, не волнуясь и не волнуя страны, который, наконец, представлял бы собою сознательно избранных всею страною "лучших" людей, воплощающих ее мнение по обсуждаемым вопросам. Я думаю, что не будет особою смелостью утверждать, что ни один парламент в мире не соответствует этому идеалу; во всех парламентах руководящую роль играет та или иная партия или союз партий, с каждым годом парламентские скандалы растут, а выборы основаны в лучшем случае, на туманных и неисполнимых посулах, в худшем — на простом подкупе. Принимая эти факты во внимание, двухпалатная система может быть полезна, так как в некоторых случаях верхняя палата окажется спасительным тормозом против проведения слишком явно партийных, а потому часто несправедливых решений. Такая палата может в некоторых случаях явиться также в монархическом государстве буфером между зарвавшимся "народным представительством" и верховной властью.

Но основу и гарантию прав граждан и залог правильного развития страны я вижу не в парламенте с любым количеством палат, а в широко поставленном и снабженном обширными правами местном самоуправлении. При существовании у нас земства, организация и дальнейшее развитие удовлетворительного самоуправления представляется сравнительно нетрудною задачею. Реформа земства намечается сама собою ясно и логично: оно должно быть всесословно с предоставлением, по моему убеждению, пассивного и активного избирательного права всем жителям территории, входящей в состав юрисдикции данного земства, без различия пола и состояния, с тем ограничением, что в выборах участвуют только плательщики земских налогов (начиная с минимальной суммы), проживающие в местности не менее определенного времени (например, трех лет) и достигшие известного возраста (23 или 24 лет). Для упрощения можно бы сохранить существующее деление на губернские и уездные земства с образованием мелкой земской единицы, соответствующей волости; города, имеющие более 30 000 или 40 000 жителей, составляют земские единицы, соответствующие уездным земствам, остальные входят в состав этих земств; города делятся на части, имеющие организацию, соответствующую мелкой земской единице, преобразованной из волости.

Мое личное мнение таково, что губернским земствам следовало бы предоставить весьма широкие полномочия, кончая правом избрания из своей среды даже, может быть, губернатора, а уездным дать право избирать исправника, волостным — старшину; земствам же предоставить избирать мировых судей, каковую должность следует

всюду восстановить. Реформированным земствам передаются в полное распоряжение местная полиция, пути сообщения (за исключением больших государственных линий ж. д.), вся строительная часть, сбор податей и налогов, как государственных, так и земских, медицинская, агрономическая часть и т. д. Точно так же земствам передается и народное образование в возможно широком масштабе, т. е. все в этой области, что они в состоянии осилить; затем местная почта, страховое дело, благотворительные учреждения и т. д. Съезды земств соседних губерний должны быть допускаемы, но соединение нескольких земств в одно целое может быть разрешено только законодательным порядком. Такое соединение могло бы быть допущено, например, для губернских земств Царства Польского, что естественным образом дало бы полякам столь желанную автономию. В подробности организации земств я не вхожу, так как это потребовало бы целого трактата, но я надеюсь, что общая схема, мною предлагаемая, понятна: за центральным правительством остается военно-морское дело, общеимперская почта, железные дороги большого протяжения, общеимперские финансы, питаемые земствами, народное просвещение там, где не хватает сил у земств (главным образом высшее образование) и высшие инстанции суда; все остальное отходит к земствам, под общим контролем правительства.

Реформированное земство может стать наилучшею политическою школою граждан и поможет осуществлению возможно лучшего представительства населения в парламенте; при сохранении двухпалатной системы нижняя палата могла бы избираться всеобщим голосованием, а верхняя составлялась бы из лиц, избранных из своей среды земствами; но главное, конечно, не в этом, а в том, что страна не управлялась бы исключительно приказами из центра и циркулярами, а местными деятелями, знакомыми с нуждами своих выборщиков и как люди выборные принужденными считаться с желаниями и воззрениями самого населения. Реформа земства тем существеннее, что нет нужды ломать что-либо, а только, определив цель, к которой желательно идти, двигаться к ней постепенно, конечно, не теряя времени, но не спеша сверх меры; цель же для меня ясна: с помощью земства децентрализовать управление и передать в руки самого населения заботу о своем благосостоянии в пределах достижимого им самим, при помощи избранных им лиц.

Рядом и одновременно или даже в известных случаях предварительно реформы управления должны быть предприняты меры общего свойства, относящиеся к правам личности как гражданина Российского государства. На первом плане в этом отношении стоит необходимость, самая, мне кажется, неотложная и существенная, признания равенства всех перед законом и установления принципа равноправия между собою всех граждан, к какому бы племени они ни принадлежали, какой бы они ни были веры или происхождения. Если нет достаточной смелости уничтожить самые “сословия”, то пусть на

первое время, до того дня, когда они непременно юридически уничтожатся, принадлежность к "привилегированным" сословиям не дает никаких реальных прав, а является только историческим пережитком, не влияющим на положение человека в государстве как полноправного гражданина. Соответственно этому должно быть прекращено всякое обязательное взимание сословных денежных повинностей и уничтожена паспортная система.

За исповедание какой-либо религии никто преследуем быть не может или ограничиваем в своих правах, если в самом вероисповедании не заключается требований противозаконного свойства, как в некоторых изуверных сектах. Поэтому, например, евреи подлежат полному уравнению в правах со всем остальным населением, так же, как и раскольники. Вообще религия человека, как область наиболее интимная и в высшей степени личная, должна быть по возможности ограждена от вмешательства не только правительства, но даже и общества; всякое вмешательство власти в эту область должно быть совершенно брошено, и наказания за "преступления против веры" должны быть отвергнуты, как бессмысленные по самому своему существу. Отношение государства ко всем вероисповеданиям должно быть одинаковое, и понятие о "господствующей" церкви подлежит забвению.

Из вопросов, требующих решения правительства, можно считать одними из самых важных аграрный и рабочий; оба они требуют скорейшего рассмотрения и разрешения в общих чертах, так как подробности должны быть предоставлены на разработку земствам согласно местным условиям.

Будучи убежден, что мечты о "национализации" земли являются, откровенно говоря, утопиею, я не стану приводить всех доводов против нее, ограничившись указанием на то, что такая мера прежде всего явилась бы серьезнейшим ограничением прав отдельной личности, которым я придаю первенствующее значение, и притом без всякой серьезной необходимости. Точно так же считаю нежелательным возводить в принцип право экспроприации частной собственности одних лиц в пользу других, за исключением тех определенных случаев, когда факт владения своею собственностью одним лицом наносит явный вред другому. Такие случаи могут быть тогда, когда одно владение преграждает доступ другим к воде или серьезно затрудняет сообщение, не давая проезда; могут быть тоже случаи необходимой экспроприации, когда этим разрешается сложный вопрос землеустроения, размежевания земли или "угодий". Отнятие земли, хотя бы и за вознаграждение, от одного только по той причине, что у него много, и передача другому, у которого ее мало, является слишком упрощенным способом решения вопроса в принципе и страшно сложным на практике, не говоря о том, что, начавши с земли, придется, очевидно, роковым образом перейти на все виды собственности и дойти до отрицания собственности вообще, что прекрасно может быть

обосновано в теории, но никогда не осуществится на практике как общая для всех мера.

С другой, однако, стороны, громадное большинство людей, и я принадлежу к их числу, признает желательность с нравственной этической точки зрения такого положения, при котором владельцем и даже собственником земли было бы лицо, обрабатывающее ее, т. е. крестьянин; с этой точки зрения следует всеми законными средствами заботиться о переходе крупных земельных участков, обрабатываемых наемным трудом, а тем более совсем не обрабатываемых, лежащих втуне, в руки землеробов-крестьян. Возражение сравнительно немногочисленных, но несомненно компетентных лиц, защищающих идею крупной земельной собственности, заключается в том, что наиболее важные культуры, приносящие доход не одному собственнику, но также соседям и даже всей стране, возможны только на сравнительно больших участках, обрабатываемых рационально наемным трудом или машинами. Я думаю, что разрешение дилеммы заключается в прогрессивном налоге на землю, по количеству десятин. Предположим, что будет взиматься в пользу государства с владения до 5 десятин в руках одного собственника по 50 копеек с десятины в год; за следующие 5 десятин могло бы взиматься по 1 р., так что владелец 5 десятин платил бы 2 р. 50 коп. в год налога, а владелец 10 десятин — 7 р. 50 коп.; за второй десяток десятин взималось бы 1 р. 50 коп., за третий десяток 2 р. и т. д.; за десятый десяток при такой прогрессии взималось бы 5р. 50 коп. за десятину; таким образом, владелец 100 десятин платил бы государственного налога 322 рубля в год, владелец 150 десятин — 672 рубля в год, а 200 десятин — 1225 рублей. Я, конечно, не предлагаю именно эти цифры налога, но выбрал их только для пояснения моей мысли.

Предположим, что десятина дает лицу, самому ее обрабатывающему, в данной местности в среднем 100 рублей чистого дохода; очевидно, что владелец 5 десятин за вычетом 50 копеек налога будет получать 9 р. 50 коп., владелец же 10 десятин — уже только 9 р. 25 коп. Собственник 100 десятин, очевидно, не может сам обрабатывать свою землю, и ему приходится обратиться к наемному труду; предположим, что улучшенные способы обработки настолько повышают доходность земли, что, несмотря на плату рабочим и расходы по удобрению и т. п., чистый доход равняется тем же 10 рублям с десятины, т. е. со 100 десятин — 1000 р.; но с этой 1000 р. придется платить 322 р. налогу, и доход с десятины будет равняться только 6 р. 78 коп., а при 200 десятинах при одинаковых условиях — 4 р. 37 коп., самый же налог будет равняться 56% дохода с имения, т. е. собственник будет работать более на пользу фиска, чем на свою собственную. Ясно, что при увеличении числа десятин наступит такое положение, когда собственник за владение землею должен будет или приплачивать или, при помощи улучшенной культуры, поднять производительность земли, а следовательно, и доходов. В моем примере

такой момент наступит, когда количество земли в одних руках окажется равным 380 десятинам, дающим дохода 3800 рублей и обложенных налогом в 3872 рубля, причем десятина обложена 10 руб. 10 коп.

Понятно, что основная цифра обложения должна быть различна, смотря по местности, а потому и максимальное количество земли, могущее безубыточно остаться во владении одного лица, тоже будет неодинаково везде; может быть, за 5 десятин виноградников в Крыму можно взимать по 8 или по 5 рублей за десятину, а за владение 100 десятинами болота и лесов в Архангельской губ. следует взимать не более 50 копеек за десятину, но самый принцип мог бы быть, я уверен, проведен последовательно везде. Система эта имела бы следующие, мне кажется, преимущества:

1. Привела бы к переходу массы земли в руки землеробов.

2. Дала бы возможность сравнительно крупным собственникам сохранить землю, но при условии значительно повысить ее культуру или же дорого платить за свое право владения.

3. Дала бы значительные средства фиску.

4. Регулировала бы ценность земли.

5. Не нарушила бы принципа собственности, введя в дело обложения земли систему прогрессивных налогов, всюду ныне признаваемую самою справедливою.

Система, конечно, не исключает желательности помощи крестьянам со стороны Крестьянского банка, премии за культурные улучшения мелким собственникам, установление мелкого кредита и т. д.

Перехожу теперь к рабочему вопросу.

Как известно, с легкой руки Маркса, Каутского и их последователей, социалистические и коллективистские верования широко распространились не только в рабочей среде, но и в обществе. Против принадлежности к этому вероисповеданию, по существу, ничего нельзя бы иметь, если б оно не распространялось и не поддерживалось его адептами насильственными и весьма грубыми средствами. Именно эта сторона дела, т. е. главным образом подкрепление аргументов угрозами, грабежом и убийствами, уже заставляет усомниться в самой жизненности теорий, подкрепляемых подобными средствами. Но помимо этого ясно, что немедленное практическое осуществление в действительности социалистического символа веры будет долго встречать препятствия в низком уровне развития рабочих и даже их руководителей, а также в отсутствии в самих деятелях социализма тех положительных качеств, выработанных соответствующим воспитанием и нравственною дисциплиною, которые необходимы для практического воплощения идеалов социализма. Пока движение будет опираться главным образом на “браунинги” и динамит, следует сомневаться в его силе и жизненности, ибо насилия и убийства, эта ultima ratio людей, у которых недостает доказательств своей правоты, говорят скорее за слабость теории, чем за ее силу. Сложность осуществления

социалистических идеалов и подкрепляемое самою простою логикою сомнение в возможности перекроить всю человеческую жизнь по теоретическому рецепту должны заставить и заставляют все государства в мире относиться или враждебно или скептически к рабочему движению, имеющему своею исходною точкою марксизм с его разновидностями. Враждебность правительств объясняется, конечно, кроме теоретических соображений, как применяемыми средствами со стороны вожаков движения, так и классовыми симпатиями и антипатиями.

Отказывая социализму в признании целиком, что я считаю правильным, государство может и должно, однако, обратить внимание на некоторые стороны рабочего вопроса, особенно рельефно выдвинутые движением и входящие, несомненно, в круг его обязанностей по отношению к гражданам.

На первом плане тут, конечно, должно стоять признание со стороны правительства права рабочих соединяться в профессиональные союзы, как могущественного средства самопомощи в несомненно и естественно существующей борьбе труда с капиталом. Стачки, как главное оружие этих союзов, должны быть признаваемы явлением, не выходящим из нормы, но с соблюдением двух условий: чтобы стачки эти не наносили непосредственного вреда третьим лицам, не входящим в состав борющихся сторон, и чтобы стачки не нарушали неотъемлемого права каждой личности на самоопределение и на свободу действий и мнений; таким образом, бойкот товарищей и насилие над “стрейкбрехерами” должны считаться хотя и практичными, но абсолютно недозволенными средствами борьбы, и государство обязано поддерживать потерпевших в случае обращения к его помощи. С другой стороны, желательно, чтобы государство деятельно не поддерживало фабрикантов в их экономической борьбе с рабочими, но, не допуская насилий, предоставило обеим сторонам прийти к соглашению или окончательно разойтись; при этом желательно, чтобы обязательства с той и другой стороны регулировались договорами, из коих вытекает гражданская ответственность; дело гражданского законодательства — установить возможность или невозможность включения тех или иных условий в договоры, а дело уголовного права — признавать такие из них наказуемыми, которые имеют характер ростовщический или мошеннический, рассчитанный на неопытность или невежество одного из договаривающихся.

Признавая основным принципом отношений людей между собою и государства к людям — уважение к свободе и к правам личности, я считаю абсолютно желательным невмешательство государства в договорные отношения между предпринимателями и рабочими до тех пор, пока явно не нарушены чьи-либо права. Но установление и поддержание этого принципа не избавляет правительство от обязанности защиты слабых от сильных и помощи там, где человек своими собственными силами не может оградить своей личности от посягательств

других. Поэтому правительство не только имеет право, но и должно установить обязательные правила о воспрещении работы в молодом возрасте, например до 16 лет вообще, а в некоторых производствах до 19-20 лет, не допускать беременных женщин к работе, представляющей для них опасность, указывать вообще на меры предосторожности на некоторого рода фабриках как в отношении ограждения рабочих от механических повреждений, так и в отношении гигиенических правил. Могут быть устранены законодательным путем правила о страховании за счет предпринимателя, о лечении и т. п.

Кардинальным является вопрос о продолжительности рабочего дня или, выражаясь реально, о пресловутом 8-часовом дне. Несомненно, было бы во многих отношениях желательным регулировать продолжительность работы и, казалось бы, наиболее простым способом было бы установление законодательным путем одного общего максимума, хотя бы в 8 часов. Между прочим, число 8 тем практично, что оно делит число часов в сутках 24 без остатка на 8, а следовательно, дает возможность в тех производствах, в которых перерыв в работе недопустим, делить рабочих ровно на три смены. К сожалению, установление однообразного максимума продолжительности работы во всех производствах встретит громадные практические затруднения без всякой нужды, кроме удобства однообразия, и будет, вероятно, сопряжено с переоценкою всех фабричных продуктов и с тяжелыми экономическими последствиями, которые всею своею тяжестью вначале лягут на неимущие массы.

В некоторых областях труда нормировка рабочего времени, конечно, очень легка. Для примера возьмем приказчиков в магазинах: тут, если бы собственники сговорились или были бы принуждаемы к этому законом, легко было бы установить, что торговля производится ежедневно от 8 утра до 12 часов, затем 2 часа перерыва на обед, когда все магазины закрываются, и возобновление продажи от 2 до 6 часов, итого 8 часов рабочего времени, в которое покупатели живо привыкли бы производить все свои покупки. Совершенно иное дело на фабрике или в мастерской: тут почти что ни производство, то свои особенности. На одной категории фабрик рабочему все время приходится действовать, причем на некоторых требуется применение физической силы, на других — ловкости и внимания; на другой категории вся обязанность заключается в наблюдении за работою машины, в случайных исправлениях ее работы и периодической чистке ее. Есть работы сравнительно неутомительные, а есть и ужасные, прямо каторжные. Как уравнять их продолжительность? Если же вопрос идет не об уравнении, а только об установлении максимума продолжительности, то ясно, что требование 8-часового дня является только партийным маневром, обманом рабочих, которые только играют служебную роль в общем политическом движении, так как всякий рабочий отлично знает, что есть производства, где легко с прохладцею поработаешь и 10 и даже 12 часов с перерывами, которых в большинстве работ всегда

накопится изрядное количество. Между тем, несомненно, есть такие производства, в которых сокращение рабочего дня до 8 часов, вызванное не реальными причинами, а только подчинением общему лозунгу, фатально поведет или к вздорожанию изготовляемого ими или к уменьшению платы рабочему. Самое повышение платы единовременно во всех или в большинстве производств, о чем, естественно, хлопочут рабочие, не поведет само по себе к улучшению их экономического положения, так как будет иметь своим последствием равномерное вздорожание самой жизни, всех производимых ценностей, являющихся предметами потребления тех же рабочих. Позволю себе привести пример, который выяснит, чего можно и чего нельзя достигнуть сразу в рабочем вопросе.

Представим себе фабрику с 5000 рабочих; предположим ради простоты, что рабочие, по среднему расчету, зарабатывают по 1 р. 50 коп. в день; это составит 7500 р. поденной выдачи на всю фабрику; предположим затем, что стоимость сырого материала, уголя и накладные расходы (жалованье администрации, перевозка, ремонт, амортизация и т. п.) составляют в общем 2500 руб. в день. В общем, следовательно, расход ежедневный на фабрику будет равняться 10 000 рублей в день. Скажем, что фабрика выпускает ежедневно 50 000 аршин какой-нибудь материи; тогда цена ее изготовления определится в 20 коп. аршин. Собственник фабрики, назначая ей в оптовой торговле 22 коп. будет иметь колоссальный сам по себе барыш в 1000 р. в день [(22-20) х 50 000)], зарабатывая на каждом аршине 10% его стоимости, т. е. 2 коп. Доход его в год, за вычетом праздничных дней, будет равняться почти 300 000 руб., если он продаст весь сфабрикованный за год материал. В розничной продаже аршин материи будет стоить не менее 25 коп., так как 1,8 коп. составит весьма скромный валовой профиль торговцев, которые тоже ведь имеют свои обязательные расходы.

Рабочие, как это постоянно случается, недовольны получаемою платою и требуют увеличения ее до 2 руб. в среднем за день. Представим себе, что требование их удовлетворено и что при этом накладные расходы остались прежними; окажется, что стоимость изготовляемого аршина будет равняться уже не 20 коп., а 25 коп., т. е. прежней стоимости в розничной продаже; следовательно, товар или покажется слишком дорогим для покупателя или увеличится в цене не менее как на ту сумму, которая будет прибавлена к заработку рабочего при изготовлении его. Очевидно, что если другие рабочие являются потребителями товара, то и они будут иметь основание требовать увеличения платы, т. е. увеличат стоимость и ими изготовляемого товара, и т. д., т. е. в результате получится общее вздорожание жизни, причем рабочие в качестве потребителей окажутся приблизительно в прежнем положении или совсем в плохом, если дороговизна товара сократит или даже совсем прекратит его потребление.

В приведенном мною примере капиталист собственник фабрики остается, так сказать, в стороне, так как, несмотря на огромный его доход, уступки из него хотя бы половины в пользу рабочих мало помогли бы делу, так как увеличило бы их заработок всего на 10 коп. в день (1 р. 60 коп. вместо 1 р. 50 коп.), а на стоимости аршина товара такая уступка выразилась бы в размере всего 1 копейки; но, конечно, могут быть и совершенно иные случаи, когда и доход капиталиста в процентном отношении несоразмерно велик, и накладные расходы могут быть уменьшены. Вот почему мне кажется, что единственный разумный способ выяснения в каждом конкретном случае серьезной возможности как увеличения платы, так и сокращения рабочего дня, без опасных прежде всего для самих рабочих экономических потрясений, заключается в возможности для рабочих через выборный из своей среды совет развитых и отлично знакомых со своею специальностью товарищей, но отнюдь не политиканов, быть в курсе как оборотов завода, так и положения отечественного и мирового рынков. Специализация фабрик пока дело неосуществимое по разнородным трудностям, а поэтому следует стараться захватить синицу в руки, не гоняясь за журавлем в небе.

Таким образом, я думаю, что воздействие государства в рабочем вопросе должно ограничиваться следующими пределами: заботою о здоровье и безопасности рабочих, установлением предельных возрастов, до и после которого работа на фабриках возбраняется, учреждением страхования, правилами об организации профессиональных союзов и представительства на отдельных фабриках и, наконец, защитою при беспорядках и забастовках прав отдельных лиц. Что касается рабочего времени, то желательно было бы установление его правительством, но для каждой отрасли труда отдельно, на основании точных и проверенных данных, причем, конечно, должен быть принят какой-нибудь общий maximum, дольше которого никто безнаказанно изо дня в день работать не может: это является уже вопросом гигиены и физиологии, так же как и вопрос о ночных работах и о работе женщин.

Несравненно, однако, важнее и аграрного и рабочего законодательств, которые всегда будут запаздывать против требований жизни и никогда не будут в состоянии вполне удовлетворить аппетиты заинтересованных, мероприятия в области народного образования, которое одно может из полудикарей и грубых эгоистов создать действительно сознательных граждан, а не именуемых только такими полузнаек, которыми всякие политические аферисты и авантюристы распоряжаются но своему усмотрению, обещая им всякие блага, предоставляя затем своими боками расплачиваться за свое легковерие.

Сделать образование доступным, а при первой возможности и обязательным до известной ступени для всех — вот что должно, по моему убеждению, составлять одну из главнейших задач правитель-

ства. Ступень образования, о которой я говорю, должна доводить до такой суммы познаний, хотя бы элементарных, которая открывала бы возможность для всякого к дальнейшему своему развитию путем ли чтения и самообразования или, при благоприятных обстоятельствах, путем поступления в школы высшего типа.

Введение всеобщего образования, нелегкое само по себе дело, осложняется у нас еще разноязычностью населения. Правда, есть страны, где, как например в Америке, эта сторона вопроса решается просто, обязательным первоначальным обучением на государственном языке, но у нас в России такой упрощенный способ, благодаря сложившимся обстоятельствам, прямо неприменим без крайне печальных последствий; затем следует помнить, что доступность образования на всех ступенях для всех без различия граждан страны недосягаема ни в одной стране в мире и что, следовательно, даровым обучение может быть только на низшей ступени; иными словами, государству под силу содержать только низшие школы, и если обставить эти школы мало-мальски прилично, то они одни поглотят сотни миллионов в год, составляя, может быть, самую крупную статью бюджета. Чтобы дать возможность всем гражданам воспользоваться средним и высшим образованием на государственные средства даже и мечтать нельзя, так как такой расход не был бы по силам ни одному государству, не исключая ни Франции, ни Англии, ни Соединенных Штатов Сев. Америки.

Относительно числа потребных в России начальных школ цифры мною даны в главе 5. Цель, ими преследуемая, должна заключаться прежде всего в том, чтобы научить не просто хорошо, но отлично читать и писать на родном языке; затем необходимо сообщение достаточных, хотя бы элементарных сведений по географии и истории, по ботанике, зоологии и космографии (все, конечно, в самых необходимых размерах). В качестве воспитательного элемента следует сохранить преподавание религии, по преимуществу в виде изложения нравственных ее начал, учения той церкви, к которой принадлежит ребенок.

В отношении успешности преподавания специально русской грамоты я придаю огромное значение упрощению орфографии, так как сложность и непрактичность ее, несомненно, является серьезным препятствием в деле основательного приобретения грамотности, и это не у нас только, но и всюду в других странах. Уничтожение букв *и, щ, ъ, э,* мне кажется совершенно необходимым, какого бы мнения об этом ни были Академия наук и Университеты, так же, как и нелепые правила об окончании множественного числа слов мужского рода на е, а женского и среднего — на я, об окончании родительного падежа на *аго* и *ого* и некоторые другие, не имеющие, в сущности, никакого разумного значения, должны подлежать отмене. Этот вопрос я считаю существенным и реформу правописания в виду ожидаемых от нее результатов — одною из весьма важных: знание грамоты есть основа всякого дальнейшего знания и главный фундамент развития гения

нации, почему всякое облегчение приобретения его путем устранения нужных только фанатичным любителям грамматических тонкостей и совсем не нужных на практике трудностей составляет патриотическую обязанность передовых представителей народа и самого правительства. Недаром величайший “передовик” нашей истории властною рукою сам исправил в начале XIX в. нашу азбуку, а десятки академиков и иных ученых постарались только уснастить нашу орфографию правилами, составляющими горе наших детей, вместо того, чтобы продолжить дело “гениального варвара”, которое осталось случайно неоконченным, но которого никто из них не посмел коснуться или критиковать.

Облегчить и тем ускорить приобретение грамотности — первая и главная задача школы, и только как добавление к этой задаче должны быть сообщаемы те элементарные знания, о которых я говорил выше и к которым с пользою можно бы присоединить, при развитии дела, сведения по агрономии, садоводству и животноводству, а также практические занятия в саду и огороде. Не менее важным, чем само обучение грамоте, является забота о сохранении приобретенных знаний, так как ничто, может быть, так скоро не забывается, как именно грамота при отсутствии практики. Поэтому рядом со школами — безразлично, при них или отдельно, но желательно по числу самих школ,— необходимо учреждение библиотек и читален с выпискою повременных изданий, могущих интересовать читателей.

Проще и практичнее учреждать низшие школы для совместного обучения мальчиков и девочек, но можно устраивать и отдельные для тех и других. Одно только важно, чтобы забота о первоначальном образовании была распространена одинаково на оба пола. В практическом отношении я считаю грамотность женщин, на первое время, важнее, чем грамотность мужчин, ибо грамотная мать обязательно или сама научит, или настоит на приобретении грамотности всеми детьми, тогда как отец семейства, занятый делами вне дома, будет относиться к этому часто безразлично.

Учреждение народных школ высшего типа, с расширенною программою преподавания, должно быть всемерно поощряемо, и так как у государства не хватит средств для устройства их в достаточном количестве, то частная и общественная инициатива в этом деле должна быть вызвана правительством всеми доступными ему средствами, льготным отпуском материалов на постройку зданий, удовлетворением честолюбия жертводавателей, рекомендациею учителей и учительниц и т. д.

Учительский персонал для народных школ всех категорий в России найдется довольно легко, благодаря сравнительно с другими странами значительному уже и теперь контингенту образованных женщин, являющихся часто идеальным педагогическим элементом при обучении, особенно детей младшего возраста, причем всякий отдаст справед-

ливость русской женщине, что она занимается своим делом с замечательной добросовестностью и любовью.

Хотя при бесплатности начального образования и при замечаемом почти повсюду сознательном стремлении крестьян обеспечить своим детям знание хотя бы грамоты, можно надеяться, что случаи уклонения от посылки детей в школу будут сравнительно редки, но все же желательно сохранить пока существующую премию за прохождение начальной школы в виде сокращения срока отбывания воинской повинности. Такая льгота тем справедливее, что она в интересах самой армии, которая нуждается в том, чтобы все нижние чины были грамотны и которой приходится терять пока драгоценное время на обучение безграмотных. По моему убеждению, это должно остаться единственною льготою по образованию при отбывании воинской повинности, о чем я уже говорил в своем месте (см. с. 106).

До сих пор я говорил о русской начальной школе, и мне остается сказать несколько слов об инородческой. В принципе можно признать ту истину, что наилучшим по результатам и наиболее справедливым является первоначальное обучение на родном языке ребенка, а потому самым простым и наиболее удовлетворяющим пожелания инородческого населения является повсеместное дозволение обучать в начальной школе на местном языке. Но тут следует, мне кажется, сделать оговорку. Несомненно, что в интересах государства и самих граждан, в него входящих, не поощрять разъединение и развитие мелких сепаратистических наклонностей, а напротив, привить естественным путем, без насилия, сознание солидарности между собою разноплеменных граждан одной великой страны и желательности наиболее тесного единения. Несомненно и то, что знание какого-либо одного общего языка, т. е. возможность непосредственного общения между собою, является лучшим и могущественным цементом между людьми. Для каждого ясно, что армянин, знающий только свой армянский язык, грузин — грузинский и вотяк — вотякский, находятся в несравненно менее выгодном положении, чем те их сородичи, которые будут знать и русский язык, каждый в отдельности. Очевидно также, что если и армянин, и грузин, и вотяк и т. д., все будут знать русский язык, то каждый из них приобретет возможность свободного общения не только с русскими, но и между собою. Между тем, как я говорил выше, следует признать вполне справедливым требование инородцев об обучении их детей на природном языке.

Я думаю, что единственным практическим исходом из этого противоречия является следующее решение: государство не должно препятствовать по этическим и педагогическим соображениям преподаванию в начальных училищах на родном языке учащихся и в этом отношении обязано предоставить полную свободу не только частной инициативе, но и стремлениям местных общественных учреждений, как-то земству, городским управлениям и т. д., которые имеют право назначить субсидии и даже всецело содержать на свои средства такие

школы. Им, однако, государство из казенных средств выдает субсидии только в том случае, когда преподавание русского языка обставлено вполне удовлетворительно, т. е. если в школах достигают такого результата, что оканчивающие их выучиваются хорошо читать и писать по-русски и удовлетворительно рассказывать прочитанное. Изучение русского языка могло бы начинаться в таких школах с 3-го года учения, когда дети уже достаточно хорошо овладеют родною грамотой. Только такие школы из инородческих (в широком смысле слова) могут давать льготы по воинской повинности; не прошедшие их для того, чтобы получить право на сокращение сроков службы, должны выдержать экзамен, соответствующий курсу русской народной школы на русском языке. Дело правительства озаботиться, чтобы в местностях с инородческим населением было бы достаточное количество русских школ, содержимых казною, как для проживающих там русских, так и для инородцев, желающих дать в них образование своим детям.

Относительно желательной реформы среднего образования я говорил уже в главе 4. Под среднеучебным заведением я понимаю такую школу, которая имеет целью подготовить своих учеников к высшему образованию. Из этого определения ясно вытекают для меня два положения: во-первых, что среднеучебные заведения должны научить подростков (обоего пола) самостоятельно заниматься и сообщить такую сумму элементарно-научных знаний, которая дала бы возможность сознательно отнестись и "переварить" курс высших учебных заведений, а во-вторых, что отчасти модное стремление придать курсу среднеучебных заведений характер чего-то законченного, могущего немедленно служить для практических целей, должно быть признано нецелесообразным, так как затемняет значение их именно как подготовительных школ. Из этого не вытекает необходимости тщательно избегать всего, что могло бы пригодиться в жизни или быть приложено к утилитарным целям; напротив того, я убежден, что в воспитательном отношении весьма важно ввести в курс средней школы занятия ручным трудом, хорошо обставленные опыты по физике и химии, могущие иметь важное практическое значение, и даже, если возможно, работы в саду, огороде, поле и лесу, но все это не должно затемнять основной цели школы — подготовить достаточно развитых студентов, умеющих самостоятельно заниматься и обладающих достаточным запасом элементарных знаний. Общеобразовательная средняя школа не должна и не может мешать существованию технических, сельскохозяйственных и иных профессиональных школ. С моей точки зрения, такие школы не должны считаться собственно среднеучебными заведениями, а программа общеобразовательных предметов, преподаваемых в них, не должна непременно совпадать с программою средней школы, хотя, конечно, может приближаться к ней. Если есть желание и возможность, то расширение программы общеобразовательных предметов в профессиональной школе следует только приветствовать, но при этом

не следует забывать главной цели учреждения подобных учебных заведений — подготовку практических деятелей или даже просто мастеров по отдельным специальностям, а не подготовку к дальнейшему учению в высших учебных заведениях. Это не значит, чтобы следовало искусственно или даже просто намеренно затруднять для людей способных возможность дальнейшего умственного развития, но следует опасаться погони за двумя зайцами, а потому и основной характер таких школ должен быть вполне практическим.

Итак, повторяю, в моих глазах среднеучебные заведения, в точном смысле, не должны являться чем-то самостоятельным и самодовлеющим, а исключительно подготовительною школою к высшему образованию. С этой точки зрения, каждое лицо, окончившее курс средней школы, должно поступить в высшее учебное заведение, если только школа эта удовлетворительно поставлена. Поэтому, если поневоле приходится и, вероятно, навсегда придется взимать довольно значительную или даже, вернее, более значительную плату, чем теперь, за право учения в средней школе, даровое обучение в высшей школе должно, мне кажется, практиковаться в возможно широких размерах. Сделать среднее образование бесплатным, иначе говоря, принять его за счет государства или земства, совершенно немыслимо по тем огромным расходам, с которыми было бы сопряжено всеобщее среднее образование, а потому для менее состоятельных граждан это образование может быть сделано доступным только помощью стипендий, учреждаемых частными лицами, общественными организациями, а при возможности и казною. Единственным исключением в этом отношении я признал бы справедливым сделать для детей преподавательского персонала средних учебных заведений в известном, возможном количестве низших школ; дети эти должны бы обучаться бесплатно в казенных гимназиях и реальных училищах.

Что касается программ средней школы, то я лично отдаю предпочтение гуманитарному образованию перед реальным, но в общем держусь того мнения, что вообще программе должна быть придана возможная эластичность и что чем разнообразнее будут типы школ, тем живее и плодотворнее пойдет само обучение. В главе 4 я уже говорил о том, что считал бы не только возможным, но даже желательным выделение окончательного экзамена из средней школы, и здесь не буду повторять своих доводов; укажу только на то, что необходимость подготовить учеников к определенному экзамену нисколько не помешает установлению разнообразных методов обучения и даже программ в отдельных училищах. То, к чему так стремилось прогрессивное русское общество, т. е. возможность влиять на более широкую постановку среднего образования и исправить ошибку официального учебного ведомства в деле школьного воспитания, стало бы вполне осуществимым с дозволением организовать среднеучебные заведения с любыми программами и с любою обстановкою внутренней жизни. Говоря это, я, конечно, имею в виду таких родителей и представителей

общества, которые заботою о школе не прикрывали своих политических целей и не имели в виду воспользоваться школою, как орудием политики; таких господ развелось, к сожалению и к нашему стыду, за последнее время достаточное количество, но имеется и теперь, несомненно, значительное число лиц вполне порядочных и искренне желающих добра школе и детям, и число это с восстановлением нормальной жизни в стране, несомненно, будет увеличиваться весьма быстро.

К сказанному я должен добавить, что лично я большой сторонник совместного обучения мальчиков и девочек, а потому предполагаю, что существование смешанных среднеучебных заведений для юношей и девиц будет когда-нибудь признано не исключительным, но нормальным явлением; конечно, рядом с такими смешанными могут и даже должны существовать училища исключительно женские и мужские, так как следует уважать желание и таких родителей, которые почему-либо находят нежелательным для их детей совместное воспитание с юношеством другого пола. Опыт покажет, в каких средних школах наиболее нуждается наше отечество.

Итак, по отношению к среднему образованию мне представляется такая картина: ряд гимназий и реальных училищ мужских, женских и смешанных, из которых только меньшую часть составляют казенные учебные заведения, содержимые на общегосударственные средства, в большинстве земские, общественные и частные. Окончание курса во всех них никаких прав ни по воинской повинности, ни по государственной службе не дает. Права государственной службы присваиваются учительскому персоналу только казенных и тех учебных заведений, которые, не будучи всецело содержимы казною, получают от нее субсидию или будут признаны вполне соответствующими казенным, хотя бы и без субсидии от нее. В казенных учебных заведениях преподавательский язык — исключительно русский, во всех остальных — любой другой, по желанию учредителей. Для права поступления в высшие учебные заведения требуется выдержание экзамена в отдельных испытательных комиссиях, учрежденных правительством вне учебных заведений, которые должны установить минимальные требования, которые следует предъявлять к их будущим слушателям.

Рядом со средними общеобразовательными учебными заведениями должны существовать профессиональные школы, к которым я причисляю не только ремесленные, сельскохозяйственные и т. п. училища, но и художественные, фельдшерские и т. д. и, наконец, духовные семинарии в тесном смысле. Я надеюсь, что мысль моя читателю в общем понятна, а потому не буду тратить времени и труда объяснять и развивать ее.

О высших учебных заведениях я считаю нужным сказать всего несколько слов. В общем я совершенно солидарен с проектами их устроения, выработанными профессорскими комиссиями под моим

председательством зимою 1906 г., и думаю, что если б новые уставы были введены в жизнь, то многое изменилось бы к лучшему в России вообще. Основная мысль реформы состоит в создании действительно автономных высших школ для молодежи и взрослых обоего пола на общегосударственные средства. Это последнее обстоятельство ставит умножение числа их, конечно, в прямую зависимость от государственных финансовых соображений, от тех средств, которые страна будет в состоянии уделять на дело высшего образования. Но рядом с государственными университетами и "институтами" следует допустить основание и развитие частных и общественных высших учебных заведений, которым казна могла бы оказывать в заслуживающих внимания случаях субсидии. Тут возникает вопрос об отношении правительства к таким высшим учебным заведениям, в которых преподавание будет происходить не на русском языке, а хотя бы, скажем для примера, на польском; или, иными словами, мыслим ли казенный польский университет, содержимый или субсидированный общегосударственною казною? Я лично склонен ответить утвердительно на этот вопрос. Насколько, с моей точки зрения, было бы непозволительно тратить общегосударственные деньги на поддержание шовинистского отрицания необходимости знания населением общегосударственного языка, выражающегося в изгнании русского языка из низшей и средней школ, настолько справедливо поддерживать в стране науку, на каком бы языке она ни преподавалась. Я нахожу, конечно, нужным оговорить особую осторожность в применении этого принципа, так как слишком большая "широта взглядов" в этом деле могла бы повести к нежелательным и даже комичным результатам. Нельзя одинаково трактовать вопрос о возможности учредить польский университет в Варшаве для 9 миллионов поляков (не считая "закордонных") и армянского или грузинского университета для 1/2 — 2 миллионов народцев. Конечно, и они могут учредить свои университеты, но на свои средства, пока не будет доказано, что эти учено-учебные заведения действительно служат науке, а не политике, хотя бы самой симпатичной для тех или других, хотя бы даже и для самого правительства. Я не говорю тоже об обязательстве для правительства немедленного учреждения польского университета в Варшаве на казенные средства, но думаю, что отрицать принципиально возможность такого факта или даже желательность его было бы несомненной ошибкою. Я никогда не мог понять, почему Дерптский немецкий университет, содержащийся русскою казною столько лет, вдруг оказался зловредным и был переделан в русский, едва ли к вящей славе науки.

Мне кажется, что такие пожелания инородческих племен, входящих в состав Империи, могли бы быть обсуждаемы спокойно, sine ira et studio*, тем более, что, если будут приняты профессорские предложения, высшие учебные заведения никаких служебных и гражданских прав давать не будут, а одни лишь учено-учебные. Служебные

права будут приобретаться, я надеюсь, по экзаменам в особых правительственных комиссиях при отдельных ведомствах, по точно и твердо установленным программам, причем прохождение или непрохождение курса в учебных заведениях не должно приниматься во внимание. Таким образом, субсидируя польский или иной не-русский университет, правительство будет поддерживать науку, которая не меняется от того, на каком языке она преподается.

Итак, вот вкратце предлагаемая мною схема реформы народного образования: широкая свобода для частной и общественной инициативы на всех стадиях образования, обязанность правительства организовать всеобщее обучение на низшей ступени и деятельная помощь среднему и высшему образованию; приобретение льгот по воинской повинности только за доказанные по экзамену познания, соответствующие курсу низшей народной школы (улучшенного сравнительно с нынешним типа); никаких других прав никакая школа на дает, кроме высшей школы, которая может давать право преподавания в высшей же школе. Всякие другие права приобретаются по экзаменам, устраиваемым вне школ соответствующими ведомствами. Автономия в казенных, т. е. государственных, школах признается только в высших учебных заведениях, но допускается в частных всех ступеней. При разработке программ, изменений, уставов и т. п. государственных школ всех типов необходимо установить, однако, правило, согласно которому все такие программы и изменения вырабатывались бы не иначе, как при участии избранных самими педагогами из своей среды делегатов. Такие делегации, ежегодно вновь избираемые, желательно было бы сделать постоянно действующими учреждениями при Центральном управлении министерства; таким образом, в министерстве функционировали бы комиссии: 1) по высшей школе, 2) по средней и 3) по низшей; кроме того, для разработки нормальных программ предметов и рекомендаций руководства по ним, могли бы собираться делегатские съезды специалистов, избранных представителями одной и той же специальности. Для пояснения последнего предложения представим себе, что чувствуется необходимость пересмотреть программу математики в гимназиях; такая необходимость вероятнее всего будет констатирована комиссиею по средней школе; тогда министерство обращается циркулярно ко всем преподавателям математики всех гимназий с просьбою каждому указать хотя бы пять коллег одной с ним специальности, которым он желал бы поручить просмотр программы; получившие наибольшее число голосов приглашаются министерством для разработки необходимых изменений.

Считаю лишним распространяться здесь о всеми сознанной желательности улучшить материальное положение педагогов всех ступеней, доведя их вознаграждение до размеров, дающих им возможность прилично жить, не прибегая к посторонним заработкам. Чтобы не растягивать до слишком больших размеров эту главу и чтобы не затемнять подробностями основной мысли, воздерживаюсь от разбора

вопроса о способе подготовки к учительской деятельности и других еще более специальных вопросов.

Сводя изложенное выше, мне кажется, что реальная политика желательных реформ в России в предположении, что конституционная форма правления является ныне совершившимся фактом, может быть выражена в следующих основных положениях:

1. Полное уравнение во всех правах всех сословий.

2. Полное уравнение в правах всех национальностей, в том числе и даже прежде всего как наиболее нуждающихся в этом евреев, с остальными гражданами.

3. Уничтожение всех излишних стеснений личности и в том числе, прежде всего, уничтожение паспортной системы во всех ее проявлениях.

4. Абсолютная веротерпимость и исключение из государственных законов всех карательных мер за преступления "против веры".

5. Реформа аграрная в смысле покровительства мелкой собственности, обрабатываемой самим владельцем, причем реформа эта должна быть осуществлена путем прогрессивного налога на землю.

6. Издание законов о рабочих с нормированием продолжительности рабочего дня, работы несовершеннолетних и женщин, а также разработка вопроса о страховании, о профессиональных союзах и т. д.

7. Развитие принципа местного самоуправления, разработанного с определенной целью децентрализации управления, с передачею земствам и городским думам ряда функций, принадлежащих ныне правительственным органам.

8. Реформа всего учебного дела с привлечением к нему широких кругов населения и с введением выборного начала при обсуждении вопросов, касающихся школы, а также с признанием культурных прав отдельных народностей, населяющих Россию.

Я думаю, что подобная программа, последовательно проведенная, несмотря на все препятствия сравнительно скоро привела бы страну в нормальное состояние, и не только это, но еще повела бы к быстрому развитию экономической и нормальной политической жизни страны. Угнаться за теоретическими мечтаниями и планами разных политических партий и фракций, конечно, невозможно, и было бы истинным безумием со стороны государственных людей стремиться к этому. Поэтому я понимаю, что кабинет Горемыкина не нашел возможным идти навстречу требованиям партийной Думы первого созыва, понимаю и то, что правительство не решилось составить Кабинет из представителей большинства, т. е. из членов кадетской партии; могу понять и то, почему правительство решилось на роспуск Государственной думы, грозившей стать революционным центром, снабженным таким прекрасным оборонительным оружием, как неприкосновенность ее членов. Отказываюсь я, однако, понять, почему правительство сразу не согласилось на отмену смертной казни, которую требовала не партия и не фракция, а почти вся Дума. Говорят, что руководители

революционного террора обещали убийцам, что с созывом Думы смертная казнь будет уничтожена, а по всем политическим преступлениям будет объявлена амнистия, в том числе и убийцам, а потому отмена смертной казни была бы подтверждением этого обещания и, усилив авторитет руководителей, повела бы к усилению политических убийств. Другие указывали, что в начале Французской революции тоже был вотирован и принят одним из первых закон, отменивший смертную казнь во Франции навсегда, что этот закон, связавши руки французскому королевскому правительству, не помешал массовым казням, залившим всю страну кровью жертв, когда республиканцы заполучили в руки власть. Первое возражение, однако, как доказали факты, оказалось неосновательным, так как, несмотря на отказ правительства отменить смертную казнь и на достаточно, казалось бы, частое применение ее, политические убийства не уменьшились, но участились. Второе же возражение в том уже отношении слабо, что никто еще с этической точки зрения, не оправдывал гильотины Великой ранцузской революции, и каждый знает теперь, что она более повредила, чем помогла республике, а потому история смертной казни во Франции не может служить аргументом в пользу ее сохранения. Вот почему к восьми положениям, перечисленным выше, я добавил бы девятое совершенно иного порядка, подробностью (хотя и весьма чувствительной для казнимых) законодательства:

9. Отмена навсегда смертной казни.

С.-Петербург
24-го августа 1906 года.

КОММЕНТАРИИ

ВВЕДЕНИЕ

1. В январе-мае 1905 г. российская высшая школа не работала из-за всеобщей студенческой забастовки, в которой участвовало примерно 99 % учащихся. К осени 1905 г. в студенческой среде вызрело убеждение, что в условиях разраставшейся революции забастовка как тактический прием борьбы с самодержавием исчерпала себя, поскольку, находясь долгое время вне стен высших учебных заведений и в значительном числе за пределами университетских городов, студенты утратили возможность совместных действий и реальной оценки политической обстановки в стране.

Этому вопросу был посвящен нелегальный общестуденческий съезд, состоявшийся в Выборге в сентябре 1905 г. В нем участвовали представители 23 высших учебных заведений. На съезде развернулась борьба между социал-демократами, эсерами, кадетами, завершившаяся социал-демократической резолюцией, в которой говорилось: "Студенчество должно принять непосредственное участие в предстоящей борьбе. Для этого студенчество должно сконцентрировать и мобилизовать свои силы в крупных городах и дать возможность использовать высшие учебные заведения для революционной агитации и пропаганды в широких массах населения и предпринять меры к организации партийных студенческих боевых отрядов с тем, чтобы в нужный момент примкнуть к общей политической забастовке и вооруженному восстанию" ("Красный архив". Т. 1 (74), 1939. С. 197). Делегаты-кадеты также были за открытие высших учебных заведений, но только ради возобновления научных занятий, а не в интересах политической борьбы. Студенты-эсеры выступили за продолжение забастовки.

Резолюция Выборгского студенческого съезда была почти текстуально воспроизведена в обращении ЦК РСДРП "К учащейся молодежи" ("Пролетарий", 10 окт. 1905 г.), которое заключало призыв к студенчеству "обратить залы университетов и институтов в штаб-квартиры своей революционной работы", в трибуны революции.

Тактику "открытого университета" поддержало большинство учащейся молодежи. Высшие учебные заведения стали местами всенародных многотысячных антиправительственных митингов. Профессор М. Кирпичников свидетельствовал: "Рабочие, приказчики, конторщики, инженеры, адвокаты, чиновники, офицеры, солдаты и

даже чины полиции находили себе прием в стенах высших учебных заведений. Здесь они то вырабатывали свои отдельные резолюции, то сливались в общей массе, составляя общенародный митинг. Случалось, что на митинг собирались 10 и даже 15 тыс. человек" (Кирпичников М. Университеты и другие высшие учебные заведения в их отношении к общественному движению 1904-1905 гг. // Спутник избирателя в Государственную думу на 1906 год. СПб., 1905. С. 63).

2. Имеется в виду либеральная профессура, в основном вошедшая в Партию конституционных демократов и другие буржуазно-либеральные общественно-политические объединения (см.: Иванов А. Е. Профессорско-преподавательский корпус высшей школы России конца XIX - начала XX века: общественно-политический облик. // История СССР, 1990, № 5).

3. Имеется в виду Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры имп. Академии художеств ведомства Министерства имп. двора.

4. Постановлением Особого совещания министров 14 октября 1905 г. Советам профессоров было предписано либо прекратить "какие-либо сборища" в институтах и университетах, либо закрыть последние (Российская национальная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей, Ф. 781, И. И. Толстой, Д. 110, л. 1). Приказу не подчинилась выборная администрация высших учебных заведений Петербурга. В помещения прочих были введены солдаты и полицейские.

5. Имеется в виду манифест "Об усовершенствовании государственного порядка" 17 октября 1905 г. Он декларировал неприкосновенность личности, свободу слова, печати, совести, собраний, союзов. Государственная дума объявлялась законодательным учреждением. Гарантировал наделение избирательным правом в нее те классы населения, которые были этого лишены.

6. Комиссия по сооружению памятника Александру III была создана в 1905 г. по инициативе председателя Совета министров С. Ю. Витте. В нее входили: вице-президент Академии художеств И. И. Толстой, академик живописи А. Н. Бенуа, заведующий Экспедицией заготовления государственных бумаг академик Б. Б. Голицын (председатель), а также известные архитекторы (см.: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1, М., 1960. С. 457).

7. Среди кандидатов на пост Министра народного просвещения С. Ю. Витте в своих воспоминаниях называл профессора криминалистики Петербургского университета, сенатора, члена Государственного совета Н. С. Таганцева и профессора всеобщей истории Киевского университета Е. Н. Трубецкого. Им он лично предлагал министерский пост (см.: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3, М., 1960. С. 67-68, 70, 115-116). Третьим кандидатом, скорее претендентом, судя по воспоминаниям Витте, был товарищ Министра народного просвещения С. Н. Лукьянов, который являлся креатурой крайне консервативных участ

ников салона графини М. А. Сольской, близкой ко Двору. Премьер-министр не счел возможным вручить министерский пост человеку, ответственному за "расстройство" ведомства, одним из руководителей которого он состоял (Там же. С. 115).

Среди кандидатов на пост министра народного просвещения И. И. Толстой называл также П. П. Извольского — попечителя Петербургского учебного округа.

8. В Кронштадте 26-27 октября 1905 г. вспыхнуло восстание матросов (Первая российская. Справочник о революции 1905-1907 гг. М., 1985. С. 64).

9. Имеется в виду Положение Комитета министров "Об устройстве евреев" 12 марта 1859 г., которое с существенными коррективами действовало до февраля 1917 г. и содержало подробные регламентации жизни еврейского населения Российской империи: зона обязательного проживания ("черта оседлости"), сферы деятельности, сословные и служебные права евреев по образованию и пр. "Положение" с течением времени дополнялось многочисленными подзаконными актами. Начиная с 1886 г. и до 1908 г. к категории последних относились ежегодные распоряжения ведомств, руководивших высшими учебными заведениями, о "процентных нормах" приема в них евреев. 19 февраля 1908 г. Совет министров принял постановление о единых "процентных нормах", вводимых в законодательном порядке (Российский Центральный государственный исторический архив (РЦГИА), Ф. 1276, оп. 3, д. 81, л. 221-222).

10. Согласно "Табели о рангах", гофмейстер — придворный чин, равнозначный 3-ему "гражданскому чину" тайного советника.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИНИСТЕРСТВЕ

1. Всероссийский Академический союз — профессионально-политическое объединение деятелей высшей школы и Академии наук. Входил в Союз союзов, объединявший профессионально-политические союзы российской интеллигенции. Идея его создания возникла в среде либеральной профессуры и была поддержана специальным постановлением "Союза освобождения", а также банкетами и собраниями интеллигенции в ноябре-декабре 1904 г. Учредительный манифест Академического союза — "Записку 342-х ученых" (см.: "Наши дни", 1905, 19 января) — первоначально подписали 17 академиков, 125 профессоров, 201 приват-доцент и лаборант. Среди них В. И. Вернадский, А. Н. Бекетов, И. П. Павлов, С. Ф. Ольденбург, А. Н. Веселовский, А. А. Шахматов и другие выдающиеся ученые. "Высшие учебные заведения — это чуткие показатели культурного уровня страны, определяющие место и значение ее среди других стран, — приведены в крайнее расстройство и находятся в состоянии полного разложения", — указывалось в "Записке". "Свобода научного иссле-

дования и преподавания в них отсутствует. Оказавшееся столь плодотворным у всех просвещенных народов начало академической свободы у нас совершенно подавлено. В наших высших учебных заведениях установлены порядки, стремящиеся сделать из науки орудие политики". Разрешение академического кризиса авторы "Записки" связывали с "полным и коренным преобразованием современного строя России". Членство в Союзе обуславливалось обязательным подписанием "Записки". К осени 1905 г. под ней стояло уже 1800 подписей.

Организационный съезд Академического союза как одной из профессионально-политических организаций Союза союзов состоялся 25-28 марта 1905 г. в Петербурге. Ко времени II съезда (25-28 августа 1905 г.) в него входило 13 отделений, расположенных в центрах высшего образования, где действовали 44 организации в рамках 39 местных высших учебных заведений.

Как профессиональная организация Академический союз выступал за широкую автономию высшей школы. Его политическая программа своими основополагающими положениями предвосхитила программу Партии конституционных демократов, что не было случайным. Большинство членов Академического союза вошли в эту партию, составив ее костяк и предоставив ей наиболее видных руководителей и идеологов. В 1906 г., после своего третьего съезда, Академический союз фактически свернул свою деятельность. В 1917 г. вновь вышел на политическую авансцену. Последний, четвертый съезд прошел в июне 1917 г. (см.: Иванов А. Е. Первая российская революция и профессура высших учебных заведений. Всероссийский Академический союз: идеология, политическая деятельность. // Вопросы социально-экономического развития и революционного движения в России. Сб. трудов Московского государственного заочного педагогического института. Вып. 48. М., 1977).

2. Преподаватели средней школы в Академический союз не входили. Они образовали свой профессионально-политический "Союз учителей средней школы", также входивший в Союз союзов (см.: Спутник избирателей в Государственную думу на 1906 год. СПб., 1905. С. 137).

3. Имеются в виду попечители учебных округов, являвшихся учебно-административными подразделениями, которые составляли систему местного управления расположенными в их пределах низшими, средними и высшими учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения. Каждый учебный округ охватывал несколько губерний и возглавлялся попечителем с административным аппаратом.

В 1906 г. в Российской империи действовали Петербургский, Московский, Виленский, Рижский, Казанский, Харьковский, Одесский, Киевский, Варшавский, Кавказский, Оренбургский, Западно-Сибирский учебные округа. Учебные заведения ведомства Министерства народного просвещения, расположенные на территории Иркутского, Приуральского генерал-губернаторств и Туркестана управлялись Главными управлениями.

4. Толстой имеет в виду проводимую в 1898-1905 гг. финляндским генерал-губернатором Н. И. Бобриковым под руководством Министра внутренних дел В. К. Плеве политику систематического наступления на автономные права Финляндии. Одной из составляющих этой политики была и русификация финской национальной школы (см.: Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 263-271).

5. Проект нового университетского устава (см.: Объяснительная записка к проекту общего устава имп. Российских университетов. СПб., 1906), разработанный в бытность Министром народного просвещения ген. В. Г. Глазова, в своих основных положениях мало чем отличался от действующего устава 1884 г. В случае законодательного утверждения этого проекта профессорско-преподавательский корпус не получил бы и грана столь вожделенной университетской автономии, сущность которой сводилась к праву профессорской коллегии избрания ректора и проректора, ее самоуправлению, свободе научной и преподавательской деятельности.

Профессора — участники совещания по университетской реформе 1906 г. главный порок проекта усматривали в том, что он регламентировал "каждый шаг университетской жизни", что само по себе "не вяжется с принципом автономии" (Труды Совещания профессоров, образованного при Министерстве народного просвещения под председательством графа И. И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906. С. 7).

ВЫСШАЯ ШКОЛА

1. Так называемая "академическая автономия" высшей школы Российской империи была декларирована "Временными правилами об управлении высшими учебными заведениями Министерства народного просвещения" 27 августа 1905 г. Указом 17 октября 1905 г. юрисдикция "правил" была распространена на большинство высших учебных заведений прочих ведомств. Исключение составили привилегированные Александровский лицей (бывш. Царскосельский), Училище правоведения, Лицей цесаревича Николая (Катковский), духовные и военные академии.

Оба законодательных акта не отменяли полностью режима жесткой бюрократической опеки над высшими учебными заведениями, а лишь несколько смягчали ее, дав профессуре право избрания своих непосредственных руководителей. В компетенции правительства оставалась, однако, прерогатива утверждения избранных Советами профессоров кандидатов на администативные посты в университетах и институтах.

Профессор Петербургского университета И. М. Гревс писал о Временных правилах 27 августа 1905 г., что они "не воплощали прямого и искреннего перехода правительства на путь конституционных

реформ. Они родились в виде вынужденной уступки напору академической оппозиции, как Булыгинская дума должна была служить жалким паллиативом против грозного рокота всего общества, силу которого нельзя сдержать традиционным насилием" ("Право", 20 августа 1906 г.).

2. Имеется в виду Комиссия Министерства народного просвещения, учрежденная 4 июня 1905 г. для разработки проекта нового университетского устава. Возглавлялась она министром В. Г. Глазовым.

3. Эти коалиционные органы руководства студенческим движением объединяли представителей партийных групп учащихся: социал-демократических, эсеровских, кадетских и пр. Они избирались на студенческих сходках тайным голосованием. Правостуденческие объединения не были представлены в этих коалиционных органах.

4. Имеется в виду Петербургский совет рабочих депутатов.

5. Имеется в виду Манифест 17 октября 1905 г.

6. 18 октября 1905 г. в Петербурге была расстреляна мирная демонстрация. В этот же день черносотенцы убили в Москве — Н. Э. Баумана, в Иваново-Вознесенске — Ф. А. Афанасьева. Более чем в ста городах империи на протяжении трех недель после 17 октября бушевали черносотенные погромы.

7. С 15 октября 1905 г. на территорию высших учебных заведений стали вводиться полиция и войска.

8. Академический союз слагался из действовавших в высших учебных заведениях групп, как объединенных — из профессоров и младших преподавателей, так и раздельных. В Московском университете, помимо профессорской академической группы, действовал Союз приват-доцентов, лаборантов, ассистентов. Аналогичное объединение существовало и в Харьковском университете.

9. По Уставу университетов 1884 г. профессора делились на ординарных и экстраординарных. Их различало не правовое, а экономическое положение. И те и другие выполняли одинаковую учебную нагрузку. Перевод экстраординарных профессоров в категорию ординарных обуславливался наличием вакансий.

10. Звание "Заслуженный профессор" присваивалось по выслуге 25 лет на педагогическом поприще. В данном случае, видимо, имеются в виду заслуженные профессора технологических институтов, приглашенные в университеты на должность приват-доцентов.

11. Комиссия действовала 5-28 января 1906 г. Разработала проект университетского устава, основанного на принципах всеобъемлющей академической автономии. Статья 2 проекта гласила: "Университеты суть автономные учреждения, управляемые на основании сего устава и организующие самостоятельно свою научную, учебную и административно-хозяйственную деятельность" (Труды Совещания профессоров по университетской реформе, образованного при Министерстве народного просвещения под председательством графа И. И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906).

Аналогичные принципы лежали в основе проекта устава, подготовленного и другой комиссией И. И. Толстого — для разработки типового устава высших народнохозяйственных учебных заведений.

12. Студенческая столовая при Петербургском университете существовала для доставления недорогих обедов "недостаточным" студентам. В период революции превратилась в политический клуб радикалов (см.: 1905 и 1906 годы в Петербургском университете. Сходки и митинги (хроника). СПб., 1907. С. 18).

13. Имеются в виду эсеровские, социал-демократические, академические фракции студентов.

14. Речь идет о т. н. "Финансовом манифесте", опубликованном 2 декабря 1905 г. Петербургским советом рабочих депутатов, ЦК РСДРП, Главным комитетом Крестьянского союза и другими революционно-демократическими организациями.

15. Имеется в виду Партия конституционных демократов, идеологию которой разделяло в 1905 г. большинство профессоров и преподавателей. Из 54 членов ее ЦК первого состава 22 представляли российскую высшую школу.

16. Уставом российских университетов 1863 г. предусматривались ученые степени кандидита, магистра, доктора наук. Уставом 1884 г. была упразднена степень кандидата наук. Она осталась только в Варшавском и Юрьевском университетах. Совещание, о котором повествует мемуарист, высказалось за сохранение степеней кандидата и доктора наук и упразднение магистерской (Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи. XVIII в. — 1917 г. М., 1994. С. 41-42).

17. По "Уставу о службе гражданской" (§ 57) выпускник университета с дипломом первой степени при устройстве на государственную службу получал чин X класса (коллежский советник). Диплом второй степени сопрягался с чином XII класса (губернский секретарь). Эти табельные привилегии Устав университетов 1884 г. наращивал сословными для тех, кто относился к мещанскому сословию или "состоянию сельских обывателей". Таковые из дипломированных специалистов причислялись к "потомственному почетному гражданству" (диплом первой степени) и к "личному почетному гражданству" (диплом второй степени) (Полн. собр. законов, Собр. III, Т. IV, № 2404, ст. 92).

18. По "Уставу о службе гражданской" (§ 57) обладатели ученых степеней имели право на чин. Обязательная для обретения профессуры степень доктора наук уже сама по себе давала право на чин VIII класса (коллежский ассесор). Экстраординарные и ординарные профессора обладали чинами V-IV классов, реже — более высокого ранга. Как все имперские чиновники, они награждались орденами по выслуге лет.

19. По Уставу 1884 г. в университеты принимались только юноши, окончившие классические гимназии и равнозначные им средние учебные заведения. Питомцы реальных и коммерческих училищ могли поступать только в народнохозяйственные институты, духовных

семинарий — в духовные академии, а также в инженерные и сельскохозяйственные высшие школы. Правда, правительство ловко использовало семинаристов для русификации онемеченных Дерптского университета и Рижского политехникума, а также для заполнения хронически пустующих студенческих вакансий в Томском университете, непопулярных среди гимназистов Демидовского юридического лицея, ветеринарных институтов. В 1905-1906 гг. их стали принимать в университеты. С 1908 г. это отступление от закона было устранено.

20. Процентные нормы приема в высшую школу "лиц иудейского исповедания" были введены в 1887 г. Для высших учебных заведений, располагавшихся в черте еврейской оседлости, они равнялись 10% ежегодного приема абитуриентов, для столичных — 3%, для прочих — 5%. В 1901 г. нормы были снижены соответственно до 7%, 2%, 3%. В 1903 г. прежние нормативы были восстановлены. В 1904 г. "в виде особой льготы по случаю рождения наследника цесаревича" Алексея процентные нормы были повышены: для учебных заведений в черте оседлости — до 15%, для столичных — до 5%, для прочих — до 7% (на один год). В 1905/1906 учебном году, в условиях революции, администрация большинства высших учебных заведений явочным порядком отменила все эти ограничения, но с наступлением реакции они были восстановлены и действовали до февраля 1917 г. (Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX–начале XX вв. М.,1991. С. 284-292).

21. И. И. Толстой попытался узаконить совместное обучение мужчин и женщин в средней и высшей школе, которое уже вошло в практику. Лишь в 1905 г., в разгар первой российской революции, советы профессоров всех университетов, а также Петербургского, Киевского политехнических и Томского технологического институтов, вопреки законодательному запрету, допустили к занятиям женщин на правах "вольнослушательниц". В результате только в университетах в 1906-1908 гг. обучалось 2130 "лиц женского пола".

В 1908 г. Совет министров постановил не допускать более женщин в государственные мужские высшие учебные заведения, разрешив, однако, уже поступившим завершить обучение, которое для некоторых вольнослушательниц продолжалось до 1917 г.

В 1913 г. Совет министров разрешил прием "сибирских уроженок" на свободные вакансии медицинского факультета Томского университета. Однако ограничение состава претенденток на открывшиеся студенческие вакансии только "лицами христианского исповедания" свело эту уступку на нет. Принято было всего пять женщин. В 1915 г. названное ограничение было снято. Одновременно Совет министров санкционировал прием женщин на свободные вакансии медицинского, физико-математического факультетов Казанского, медицинского факультета Саратовского и юридического факультета Томского университетов (Иванов А. Е. Указ. соч. С. 292-296).

22. "Предметная система" была введена уже после отставки И. И.

Толстого в 1906/07 учебном году: в полном виде в высших инженерно-промышленных и сельскохозяйственных учебных заведениях всех ведомств и со значительными рудиментами "курсовой" — в университетах. В отличие от последней с ее обязательными лекциями, семинарами, лабораторными работами по жесткой, предписанной административно программе, в строго назначенные сроки, "предметная система" основополагалась на принципе самостоятельных занятий студентов по одному из нескольких индивидуальных планов, составленных преподавателями и с учетом научных интересов каждого конкретного студента. Экзамены сдавались по мере прохождения предметов, включенных в конкретный план, в сроки, определенные по согласованию преподавателя и студента. Предметная система не требовала непременного присутствия студентов на занятиях. Роль профессора в основном сводилась к индивидуальным консультациям, приему экзаменов и зачетов по заявкам студентов.

Внедрение предметной системы привело к существенному увеличению студенческого контингента. Однако через пять лет, т. е. ко времени завершения первого цикла обучения по новой системе, стала очевидной и оборотная сторона названного нововведения — удлинение сроков обучения из-за отсутствия контроля за занятиями студентов (Князев Е. А. Предметная система в высшей школе России //Вестник высшей школы, 1987, №11).

23. В группу "привилегированных" входили закрытые дворянские школы: в Петербурге — Училище правоведения, Александровский (бывш. Царскосельский) лицей, а также всесословный, но предназначенный для детей богатых родителей Лицей памяти цесаревича Николая в Москве (Катковский). Они готовили чиновников для высших и центральных органов государственной власти. Свидетельство об окончании этих учебных заведений обеспечивало его владельцу быструю карьеру.

24. К категории "специальных" относились народнохозяйственные высшие учебные заведения — инженерные, сельскохозяйственные, ветеринарные.

25. Помимо выборного ректора Томского технологического института профессора Е. Л. Зубашева и профессора Н. М. Кижнера, подобной же репрессии подверглись профессор Г. Л. Тираспольский и преподаватели П. А. Козьмин и Н. Ф. Бундуков. Всем им вменялась в вину поддержка студенческих беспорядков (История Томского политехнического института в документах. Т.1. Томск, 1975. С.9).

26. "Всеподданнейший" доклад И. И. Толстого с предложением узаконить открытие неправительственных ("частных") учебных заведений, включая и "выше средних", был утвержден и, следовательно, обрел силу закона 3 декабря 1905 г. В результате уже в 1905-1907 гг. численность общественных и частных высших учебных заведений достигла 36, а к 1917 г. составила около 60 (А. Е. Иванов. Указ. соч. С. 100).

27. Лицей был основан в 1868 г. соредакторами газеты "Московские ведомости" М. Н. Катковым и профессором римской словесности Московского университета П. М. Леонтьевым на пожертвования московских промышленников С. С. Полякова, фон Дервиз, фон Мекк и др. Эти пожертвования не иссякали вплоть до закрытия Катковского лицея в 1917 г. Начав деятельность как частное учебное заведение, он вскоре перешел на официальное государственное содержание. Находился под "Августейшим" покровительством.

Катковский лицей был всесословным учебным заведением, где за высокую плату обучались и воспитывались юноши из семей родовитых дворян, крупных сановников, преуспевающих купцов и промышленников, рантьеров из мещан, цеховых, крестьян.

Отбор воспитанников по принципу богатства предопределил привилегированное положение Лицея. По замыслу основателей, он был призван воспитывать "новую породу" высокопоставленных чиновников, гармонично олицетворявших своей деятельностью союз самодержавия и крупного капитала.

28. Имеется в виду действовавшая в России классическая система среднего образования.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

1. Имеется в виду т. н. "контрреформа" гимназического образования 60-80-х годов XIX в., осуществленная Министрами народного просвещения Д. А. Толстым и И. Д. Деляновым. Она постепенно упразднила плоды буржуазных преобразований в сфере народного образования (школьные уставы 1864 г.), главное достижение которых современниками виделось в официальном провозглашении принципа всесословности школы. Стержнем школьной контрреформы была идея сословной фильтрации претендентов на среднее образование. Средняя школа Министерства народного просвещения делилась на "классическую" и "реальную". Первая предназначалась главным образом для детей дворян-чиновников и только лишь избранных из непривилегированных сословий. По свидетельству профессора Н. И. Кареева, ее фундаментом был "строжайший классицизм с латинским языком с первого курса, с греческим — с третьего, с преобладанием этих предметов над всеми остальными, кроме математики, и с полным изгнанием естествознания из числа преподаваемых предметов. Выпускники "классических" гимназий ориентировались на поступление в университеты без экзаменов". Гимназическая "контрреформа", вспоминал Кареев, резко изменила внутреннюю обстановку школы, поразив ее язвами казенщины, формализма, превратив ее тем самым в фактор каждодневного "избиения младенцев" (Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л.,1990. С. 97, 137). Такая конструкция учебной жизни средней школы должна была, по выражению П. Н. Милюкова,

обеспечить "гимнастику ума и политическую благонадежность" (Милюков П. Н. Воспоминания. Т.1 (1859-1917). М., 1990. С. 76).

"Реальная школа", состоявшая из реальных училищ, предназначалась в первую очередь для выходцев из непривилегированных сословий — детей купцов, мещан, цеховых, крестьян, родители которых обладали достаточным материальным цензом, чтобы оплачивать услуги школы. В ее программе первенствовали предметы естественно-математического цикла, а место "мертвых" латинского и греческого языков замещали языки "новые" — французский, английский, немецкий. Эти знания необходимыми были для торгово-промышленной деятельности. "Реалисты" ставились перед выбором: либо получить уже на школьной скамье узкопрофессиональную практическую ориентацию (VII класс), либо готовиться к вступительным конкурсным испытаниям для поступления в народнохозяйственную высшую школу. Путь в университеты им был заказан.

Буржуазно-сословному контингенту реальных училищ вдохновители контрреформы не оставляли места на авансцене государственной жизни, упрятанной в скорлупу чиновничьей деятельности в значительной степени, изолированной от торгово-промышленной сферы.

2. Всероссийский союз учителей средней школы возник в апреле 1905 г. с опубликованием записки "О нуждах средней школы" (Образование, 1905, № 4). Ее подписало около 300 чел., работавших в Петербурге. Союз имел отделения в некоторых провинциальных городах (Спутник избирателей в Государственную думу на 1906 год. СПб., 1905. С. 159). Он был одним из самых умеренных в кругу профессионально-политических союзов интеллигенции, объединившихся под эгидой Союза союзов. Разделяя с последними склонность к общедемократическим лозунгам, он оставался на умеренных либеральных позициях и основное существо своих политических действий связывал с корпоративно-профессиональными целями, прокламируя свою приверженность широкой автономии средней школы от правительственных инстанций в вопросах административного управления, заполнения учительских вакансий, программно-методических и учебно-воспитательных. Допускали члены Союза и элементы ученической общественной самодеятельности в рамках школьного режима.

3. "Мемория" — памятная записка Совета министров, в которой в форме экстракта излагалось заключение по обсужденному вопросу. Обретала юридическую силу только после утверждения Императором. В январе 1906 г. мемория была заменена "Особым журналом" Совета министров, который, помимо резолютивной части, имел часть мотивировочную, передававшую существо мнений по рассмотренному вопросу.

Мемория, о которой ведет речь И. И. Толстой, была изложена в циркулярах Министра народного просвещения попечителям учебных округов от 25 и 26 ноября 1905 г., текст которых приводится в мемуарах (См.: Совет министров Российской империи. 1905-1906. М., 1990. С. 62-64).

4. "Земства, сословия, общества или частные лица, дающие для гимназий и прогимназий или же состоящих при них пансионов, содержание или же определенное ежегодное пособие в размере, признанном со стороны Министерства народного просвещения достаточным, имеют право избирать от себя Почетного попечителя гимназии или прогимназии" (Полное собрание законов Российской империи, Собр. II, Т. 46, ст. 49860, §11).

5. Имеется в виду Министерство народного просвещения, здание которого располагалось на улице России у Чернышева моста в Петербурге.

6. Ларинская четвертая петербургская гимназия располагалась в доме, некогда принадлежавшем известному российскому благотворителю купцу П. Д. Ларину и пожертвованному им казне на нужды просвещения. Входила в число лучших столичных гимназий. В разное время в ней преподавали известные деятели отечественной культуры: педагог, сторонник женского бессословного образования, основатель "Русского педагогического вестника" литератор А. М. Скабичевский; будущий редактор — издатель "Вестника Европы" М. М. Стасюлевич (Корш Е. В. Гимназические воспоминания шестидесятника // Русский архив, 1912, № 11).

7. "Северный союз" учащихся средних учебных заведений (второе название — "Организованные учащиеся средних школ С.-Петербурга") возник осенью 1904 г. Являлся фактическим воспреемником ученической организации под таким же названием, действовавшей с 1903 г. Являлся просветительским беспартийным объединением, стремившимся сформировать "идейный фундамент у строителей последующей жизни". Руководил деятельностью им же организованных в гимназиях кружков самообразования со своими библиотеками нелегальной литературы. Во имя удовлетворения "научных потребностей" у среднешкольников организовал в зале Тенишевского училища публичные лекции известных столичных профессоров по истории, литературе, естествознанию. С начала первой российской революции от "Северного союза" отпочковалась малочисленная группа сочувствовавших социал-демократии, сплотившаяся в организацию "Северная группа учащихся средних школ". "Северный союз" продолжал строго следовать по пути профессиональной борьбы за коренную реформу среднего образования. В феврале 1905 г. попытался организовать академическую забастовку учащихся средних учебных заведений столицы. Известны также организованные "Северным союзом" акции протеста против участившихся самоубийств учащихся как следствия среднешкольного режима. Одно из таких заявлений протеста собрало 713 подписей учеников и учениц (См.: Динзе Вл. Очерки по истории среднешкольного движения. СПб., 1909).

8. "Пансионеры — ученики, постоянно проживавшие на полном содержании при учебном заведении. Делились на "своекоштных", т. е. вносивших плату за свое обучение и содержание, и "казеннокошт-

ных", находившихся на содержании казны. Были также и т. н. "полупансионеры", получавшие частичное казенное содержание. Наконец, были пансионеры, субсидировавшиеся частными жертвователями, земско-городскими органами, общественными объединениями, сословными учреждениями.

9. Имеется в виду Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г.

10. Имеются в виду члены Союза учителей средней школы.

11. Комиссаровское училище в Москве — среднее учебное техническое заведение, основанное в 1865 г. Находилось под покровительством Императорской фамилии. Носило имя О. И. Комиссарова, помешавшего попытке покушения на жизнь Александра II, предпринятой 4 апреля 1866 г. бывшим студентом Казанского университета Д. Б. Каракозовым.

12. Имеется в виду С. И. Лакшин.

13. Имеется в виду П. Н. Дурново.

14. И. И. Толстой, как правило, удовлетворял личные прошения юношей иудейского исповедания о сверхнормативном приеме в высшие учебные заведения. Советы профессоров с благословления Министра народного просвещения явочным порядком отменили процентные нормы.

15. По Уставу мужских гимназий 1871 г. "только ученики, окончившие курс учения в гимназиях или имеющие свидетельство о знании полного курса сих гимназий, могут поступать в университеты" (ПСЗ, Собр. 2, Т. 47, № 49860, §130). По Уставу реальных училищ 1872 г. их питомцам предназначались "высшие специальные учебные заведения" (ПСЗ, Собр. 2, Т. 48, № 50834, ст. 93). 18 марта 1905 г. цикуляром министра просвещения выпускники реальных училищ по сдаче дополнительных экзаменов по латинскому языку за курс гимназий стали допускаться в университеты. Его действие было остановлено в 1908 г.

16. Имеются в виду Училище правоведения и Александровский (бывший Царскосельский) лицей — привилегированные дворянские школы с общеобразовательной гимназической ступенью и высшими юридическими классами.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

1. В 1905 г. в Российской империи действовало 92,5 тыс. начальных школ 60 типов (общеобразовательные, промышленные, сельскохозяйственные и т. п.) различного ведомственного подчинения (48,3 тыс. состояли в ведомстве Министерства народного просвещения, 42,7 тыс. — в ведомстве Св. Синода, 1,5 тыс. — в прочих ведомствах) (Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX–начало XX вв. М., 1991. С. 106).

2. Имеется в виду Всероссийский союз учредителей и деятелей по народному образованию, созданный 7 июня 1905 г. Являлся профессионально-политической организацией. Среди его членов были сторонники буржуазно-либеральных умонастроений. Сильным влиянием в Союзе обладали социал-демократы, создавшие свой отдел при Центральном бюро. К осени 1905 г. Союз объединял 7 тыс. учителей, к январю 1907 г. — 14 тыс. (Там же. С. 50)

3. К декабрю 1906 г. репрессированы были 1019 учителей: 611 — арестованы, 127 — сосланы и административно высланы, 233 — уволены. К концу 1907 г. репрессированы были 20 тыс. педагогов (Там же. С. 49).

4. П. М. Кауфман, сменивший на посту Министра народного просвещения И. И. Толстого, отсрочил внесение законопроекта в Государственную думу до 20 февраля 1907 г. Коренным образом переработанный в консервативном духе, проект вызвал резкую критику думцев и общественности. Будучи возвращенным в министерство, он был окончательно похоронен следующим Министром народного просвещения А. Н. Шварцем.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ШКОЛЕ (ИНОРОДЧЕСКАЯ ШКОЛА)

1. Дворянские немецкие гимназии в Биркенруэ, Феллине, Гольдингине, а также Рыцарское Домское училище (Дерптский учебный округ) постепенно закрылись из-за нежелания прибалтийского дворянства подвести эти учебные заведения под юрисдикцию "положения" Комитета министров 10 апреля 1887 г. о постепенном введении русского языка преподавания во всех правительственных мужских средних учебных заведениях, расположенных в Дерптской, Митавской, Ревельской и Рижской губерниях. Устав российских правительственных гимназий 30 июля 1871 г. по закону 24 апреля 1890 г. был распространен и на гимназии прибалтийские (Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802-1902, СПб. С.672-674). Юрисдикция последнего закона распространялась на все средние учебные заведения региона (мужские и женские), в которых преподавание осуществлялось на немецком языке и по программам, отличным от общероссийских (Рождественский С. В. Указ. соч. С. 673-674).

2. 27 октября 1905 г. был утвержден "Всеподданнейший" доклад председателя Совета министров С. Ю. Витте о введении на историко-филологическом факультете Варшавского университета преподавания польского языка и истории польской литературы (на польском языке). Варшавский университет, воссозданный в 1869 г., по программам и языку преподавания был русским высшим учебным заведением.

10 апреля 1906 г. Министр народного просвещения П. М. Кауфман уведомил попечителя Варшавского учебного округа о введении в местном университете кафедры польского языка и истории польской литературы (РЦГИА, Ф. 154, Д. 202, л. 26 об-27 об.).

3. Имеются в виду варшавские Политехнический и Ветеринарный институты, а также Институт сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии.

4. Эта рекомендация отчасти была реализована. 26 ноября 1906 г. при Министерстве народного просвещения была создана Комиссия об учреждении нового университета, которая должна была организовать с помощью временно бездействующих преподавательских сил Варшавского университета подготовительную работу к открытию планируемого высшего учебного заведения в одном из городов "коренной" России. Не исключалось переведение в избранный для этой цели город и Варшавского университета. Комиссия выполнила свою функцию, порекомендовав сделать местопребыванием нового университета Саратов. Саратовский университет открылся в 1909 г. независимо от Варшавского, который возобновил свою деятельность в 1908 г. (Саратовский университет. 1909-1959. Саратов, 1959. С.).

5. Вопреки этой рекомендации, Совет министров 26 октября 1906 г. постановил: "Варшавский университет, помимо своего ученого и просветительного значения для края, является прежде всего учреждением государственным, удовлетворяющим потребности просвещения всей Империи. Поэтому упразднение его в том или ином виде недопустимо" (Особые журналы Совета министров царской России. 1906 год. М., 1982. С. 551-552).

В 1915 г. в связи с оккупацией Царства Польского германскими войсками Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону, положив начало новому Ростовдонскому университету. В Варшаве же, с согласия оккупационных властей, был создан национально-польский Варшавский университет.

6. Имеется в виду политика попечителя Варшавского учебного округа А. Л. Апухтина в 1879-1897 гг. В своих мемуарах Н. И. Кареев написал об этом чиновнике, что он явился в Варшаву "с какой-то стихийной ненавистью к полякам". От всех подчиненных, включая профессоров, Апухтин требовал "русского направления" (Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 158-159).

7. Двухклассное училище Министерства народного просвещения— сельская начальная школа с пятилетним курсом обучения.

8. Городское училище Министерства народного просвещения — начальная школа с шестилетним курсом обучения.

9. Одноклассное училище Министерства народного просвещения — сельская школа с трехлетним курсом обучения.

10. Факультет готовил пасторов евангелического исповедания.

11. Имеются в виду специально установленные для разных мест Империи квоты приема евреев в средние и высшие учебные заведения,

установленные циркулярным распоряжением Министра народного просвещения И. Д. Делянова от 1 июня 1887 г. Эта мера имела не столько национальную, этническую, сколько религиозно-исповедальную подоплеку. Она не касалась т. н. новокрещеных евреев, перешедших в православие или иные христианские исповедания. Речь, таким образом, шла об обрусении еврейской интеллигентной молодежи посредством русской школы.

12. "Высочайшим повелением" 7 июня 1885 г. был ограничен 10% прием евреев в Харьковский технологический институт (Полн. собр. законов. Собр. III, Т. 5, ст. 3054). Циркуляром Министра народного просвещения от 8 марта 1886 г. был запрещен прием евреев в Харьковский ветеринарный институт (Сб. постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1894, Т. 10, №198, стб. 330-332).

13. В обиход государственного управления это "мнение" Комитета министров вошло в виде "Положения об ограждении школы от лиц иудейского происхождения" 26 июня 1887 г.

14. Циркуляр И. Д. Делянова о введении процентных норм был датирован 10 июля 1887 г., а не 1 июля.

15. Подобный же принцип религиозно-исповедального регулирования состава учащихся средних и высших учебных заведений восприняли и другие ведомства. Нормирование они осуществляли "сепаратно", притом нередко даже более жестко, чем ведомство народного просвещения. "Лица иудейского исповедания" вовсе не допускались в высшие учебные заведения Министерств путей сообщения, юстиции, военного. Заказан был им путь в Московский сельскохозяйственный и Петербургский электротехнический институты. В ряде случаев вопрос решался "Высочайшим повелением". 16 сентября 1908 г. Николай II утвердил законоположение Совета министров о придании "процентным нормам" законодательного статуса. Отныне они определялись верховной властью для учебных заведений всех ведомств. Так, на 1908 г. их размер остался на изначальном уровне, установленном еще И. Д. Деляновым (РЦГИА, Ф. 1276, оп. 3, д. 81, л. 221-222).

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ

1. 6 октября 1905 г., когда явственно ощущалось влияние нараставших революционных событий, Витте просил приема у Николая II. Однако с каждым днем положение становилось все более грозным, и инициаторами встречи, состоявшейся 9 октября, были уже, кроме Витте, граф Д. М. Сольский, под председательством которого совещание разрабатывало планы неотложных реформ в области государственного управления, и сам царь. В тот же день Витте поручил срочно составить всеподданнейший доклад о том, чтобы предоставить ему как председателю Комитета министров полномочия по объединению

деятельности министров впредь до завершения рассмотрения этого вопроса в совещании Сольского. До того объединенного правительства в стране не существовало. Комитет министров рассматривал лишь межведомственные дела, не имевшие политического значения, и Витте считал свое назначение на пост его председателя после увольнения с поста Министра финансов в 1903 г. ссылкой. Что же касается Совета министров, который по закону существовал и мог собираться лишь по указанию и под председательством самого царя, то и Александр III и Николай II предпочитали его не созывать, чтобы избегать объединения министров, ограничиваясь всеподданнейшими докладами каждого из них.

Составление виттевского всеподданнейшего доклада, о котором пишет И. И. Толстой, было завершено 13 октября вечером, как раз тогда, когда Витте получил по телеграфу поручение царя "впредь до утверждения закона о кабинете" объединить деятельность министров "с целью восстановить порядок повсеместно" (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 12). В докладе, предназначенном к опубликованию после утверждения его царем, задачей правительства провозглашалось "стремление к осуществлению теперь же, впредь до законодательной санкции через Государственную думу" гражданских свобод (Там же. С. 4-7; Красный архив. 1925. Т. 4-5. С. 62). Однако тут же подчеркивалось, что "устроение правового порядка" дело долгое. В докладе в качестве важнейших мер фигурировали объединение деятельности министерств и преобразование Государственного совета.

В последовавших затем вплоть до 17 октября нескольких встречах Витте с царем оба они настаивали на своем: царь — на издании манифеста, Витте — на опубликовании своего доклада с царским утверждением. Вечером 14-го Витте по телефону получил царское распоряжение приготовить проект манифеста, в котором все политические уступки исходили бы от самого Николая II, а намеченные в виттевском докладе меры "были выведены из области обещаний в область государем даруемых фактов". Царь стремился политически обезвредить Витте, которого дворцовое окружение по обыкновению изображало рвущимся в президенты Российской республики и потому стремящимся предстать изобретателем мер, способных "успокоить Россию".

Одновременное опубликование обоих документов 17 октября было тем компромиссом, которым завершился острый политический поединок царя и Витте. В ходе его Николай II по секрету от Витте поручил составление другого проекта манифеста И. Л. Горемыкину и А. А. Будбергу, которые были спрятаны во дворце. А Витте в ультимативной форме потребовал принятия своего проекта манифеста, угрожая отказом от принятия поста главы правительства. Указом 19 октября "О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных управлений" был реформирован Совет министров и введен пост его председателя, который получил Витте.

Указ возлагал на Совет министров направление деятельности ведомств и передавал ему из ведения Комитета министров дела, относящиеся к общему спокойствию и безопасности. Совет оставался ответственным перед царем, за которым сохранялось право назначения министров. Назначение председателя также, разумеется, составляло царскую прерогативу. По усмотрению царя Совет собирался под его собственным председательством. Имеющие общее значение меры управления не могли приниматься отдельными министрами помимо Совета. Они должны были сообщать председателю сведения обо всех выдающихся событиях, принятых мерах и распоряжениях, а также знакомить его со своими всеподданнейшими докладами до их представления царю (См. также прим. 14). Об ответственности правительства перед Думой и его формировании из представителей победивших на выборах партий не было и речи.

И. И. Толстой прав, считая, что Витте добивался преобразований конституционного характера, однако личные свойства самого И. И., благородство и деликатность его натуры мешали ему распознать или по крайней мере отразить в своих мемуарах образ действий Витте, ставившего в связь осуществление преобразований со своим приходом к власти, а в дальнейшем — с сохранением ее. Уже 9 октября он заявил царю: "Прежде всего постарайтесь водворить в лагере противника смуту. Бросьте кость, которая все пасти, на вас устремленные, направит на себя. Тогда обнаружится течение, которое сможет вас вынести на твердый берег" (Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963, С.341). При этом он, по его собственным словам, поставил царя перед выбором — либо назначить его, Витте, премьером, предоставив ему права не только осуществления конституционной программы, но и подбора кандидатов в министры, либо силой "подавить смуту во всех ее проявлениях", не останавливаясь перед пролитием крови, для чего нужна диктатура "человека решительного и военного". Но в действительности выбора он царю не предоставлял, прекрасно зная, что диктатуру царь рассматривает как умаление своей собственной власти, да и найти подходящего кандидата в военные диктаторы после проигранной войны трудно. Названные самим Витте две кандидатуры на пост военного диктатора подчеркивали это полной своей непригодностью: генерал А. П. Игнатьев служил по ведомству внутренних дел, а адмирал Н. М. Чихачев, хотя и управлял в течение нескольких лет Морским министерством, известен был как председатель Российского общества пароходства и торговли.

2. Сейчас же после 17 октября началось создание политических партий различной ориентации. Правительственным сообщением 20 октября С. Ю. Витте объявил, что осуществление провозглашенных Манифестом 17 октября реформ требует времени для окончательной разработки, а пока должны действовать прежние законы. Однако это не

возымело действия, общественное возбуждение, последовавшее за манифестом, продолжалось. Ликование в либеральных кругах сочеталось с требованиями свержения самодержавия и созыва Учредительного собрания, раздававшимися в революционно-демократическом лагере. Консервативно-охранительные силы демонстрировали свое неодобрение манифеста, а черносотенные организации устраивали избиения и погромы евреев, студентов, интеллигентов — всех, подозревавшихся в радикальных взглядах.

Правительство Витте и сам царь дополняли карательные действия мерами, направленными на умиротворение с помощью уступок. Одной из первых таких мер явилась политическая амнистия, объявленная 21 октября. Часть осужденных за политические преступления, в том числе стачечники, освобождалась от наказаний, другим, включая участников террористических актов, мера наказания смягчалась. Хотя Витте, по его собственному признанию, "в душе немного побаивался амнистии", он "считал ее необходимою", как и другие сановники, включая ген. Д. Ф. Трепова, устроившие заседание по поводу амнистии с таким расчетом, чтобы поменьше ездить по городу во избежание террористических актов (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 125). В тот же день, 21 октября, появилось правительственное сообщение по поводу участия в революционном движении учащихся средних учебных заведений, а 24 октября — новое сообщение с призывом к прекращению беспорядков, в котором угрозы военной силой чередовались с увещеваниями.

Общеполитическая обстановка в стране складывалась в конце октября грозным для царизма образом. Прекращение всеобщей забастовки 27 октября и восстановление железнодорожного сообщения лишь частично улучшили положение властей. В Кронштадте в эти дни произошло восстание моряков, к которому присоединились и солдаты. Усиливались революционные выступления и в деревне, особенный размах принимало крестьянское движение в Прибалтике. Рабочие Петрограда и других городов требовали введения 8-часового рабочего дня. 1 ноября Петербургский совет объявил всеобщую забастовку (она продолжалась неделю) в знак протеста против первых после манифеста значительных карательных мер властей.

Фактическая свобода печати, появление сатирических журналов, высмеивавших царя, его окружение и Манифест 17 октября как результат испуга власти, открыто подрывали ее престиж. Специальное правительственное сообщение понадобилось для того, чтобы вступить в полемику с газетными статьями о роли армии в подавлении революции.

3. Изображение Витте пособником евреев было традиционным в националистической пропаганде еще с тех времен, когда он в 1890-х годах ввел золотое денежное обращение, а также проводил свой курс на привлечение иностранного капитала и отмену ограничений для предпринимательской деятельности иностранцев и евреев. Иногда

делались намеки и на сомнительность его собственного происхождения, между тем по матери он происходил из рода Долгоруких, а отец его был обрусевший голландец. Но чаще всего ему в укор ставилось то, что его жена была еврейкой. Она не была принята при Дворе, правда, существовала и другая причина этого — ее развод с первым мужем. Сам Николай II мог при случае заявить о Витте, что он масон. И во время пребывания на посту председателя Совета министров, и после своей отставки с этого поста Витте подвергался ожесточенной травле со стороны Союза русского народа. Дело не ограничивалось листовками и статьями в черносотенной печати. В 1907 г. было совершено покушение на его жизнь, в дымоходные трубы его дома были спущены с крыши "адские машины".

4. Десятидневные переговоры с "общественниками", широко обсуждавшиеся в печати, как и слухи о подборе министров из либеральных чиновников, очень помогли Витте в критические для царизма дни, когда всеобщая забастовка продолжалась (в Петербурге она пошла на убыль 27 октября, в тот день, когда переговоры прекратились).

Начав переговоры с "общественниками" с едва ли не самого среди них умеренного — Д. Н. Шипова, Витте предложил ему пост государственного контролера, который за несколько дней до того был лишен независимости от главы правительства. Пост Министра народного просвещения был предложен проф. кн. Е. Н. Трубецкому, Министра торговли и промышленности (хотя такое министерство еще не было создано) — А. И. Гучкову. Шипов же потребовал портфелей Министров юстиции, внутренних дел и земледелия, предложив кандидатами в Министра юстиции — С. А. Муромцева, а на два других поста — кн. Г. Е. Львова и И. И. Петрункевича с тем, чтобы Витте сам решил, кому из них какое министерство поручить.

В ходе дальнейших переговоров члены бюро земских и городских деятелей Ф. Ф. Кокошкин, Ф. А. Головин и Г. Е. Львов выдвинули требования созыва на основе четыреххвостки Учредительного собрания для выработки основного закона, немедленного осуществления возвещенных манифестом свобод и полной политической амнистии.

После этого Витте оставалось продолжать переговоры с Шиповым, Гучковым, М. А. Стаховичем и Трубецким, которые, как выразился Шипов, сознавали "необходимость сохранения и поддержания авторитета государственной власти" (Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С.339). Камнем преткновения в этих переговорах стала кандидатура П. Н. Дурново на пост Министра внутренних дел. Самый пост этот "общественники" готовы были уступить "бюрократам", но кандидатуру Дурново они решительно отвергали. Обсуждались кандидатуры князя С. Д. Урусова, П. А. Столыпина и самого Витте. В конце концов вопрос о вступлении в кабинет Шипова, Гучкова и Трубецкого отпал, но Витте получил возможность опубликовать их письма, содержавшие политическую поддержку его программы. Шипов был принят царем. Витте, не ограничиваясь пере-

говорами о министерских портфелях, встречался с любыми представителями либеральных и радикальных кругов, чтобы доказать искренность своего конституционализма и трудность своего положения между революционными массами и не допускающим конституции царем. Пришедшим к нему в ночь на 24 октября просить о неприменении силы против намечавшейся у Технологического института демонстрации редактору газеты “Право” И. В. Гессену и проф. Л. И. Петражицкому он пытался поручить составление проекта Основных законов. П. Н. Милюкову, считавшему, что предоставить выработку конституции последовательно избираемым органам (Учредительное собрание, Дума) “чересчур рискованно”, и предложившему поэтому без долгих проволочек октроировать конституцию (“Позовите когонибудь сегодня и велите перевести на русский язык бельгийскую или, еще лучше, болгарскую конституцию, завтра поднесите ее царю, а послезавтра опубликуйте”, — драматизируя и упрощая свою речь, сказал Милюков), Витте заявил, что либеральную общественность данная сверху конституция не удовлетворит, народ конституции вообще не хочет, а царь отказывается ее дать. Милюков заверил Витте, что либеральная общественность, получив конституцию, “пошумит и успокоится”, и заметил: “Выходило, что Витте радикальнее меня самого” (Милюков П. П. Воспоминания. Т.1. Нью-Йорк, 1955. С.326-327).

5. Приглашенные к Витте 18 октября редакторы петербургских газет предъявили коллективные требования свободы печати и политической амнистии. Даже редактор “Нового времени” М. А. Суворин поддержал требование амнистии. Пришедшие ссылались на то, что теперь за нее выступает и “Гражданин” В.П. Мещерского. Редакторы давали ясно понять, что действуют под влиянием общественного подъема. Петербургский совет принял в этот день постановление о том, чтобы все газеты столицы выходили без цензуры, а типографии подцензурных газет не печатали. Наиболее радикальные из редакторов требовали удаления ген. Д. Ф. Трепова (он был с приходом Витте к власти перемещен с постов Петербургского генерал-губернатора и товарища Министра внутренних дел, заведовавшего полицией, в дворцовые коменданты), отмены военного положения и положения усиленной охраны, отвода войск и казаков из Петербурга и даже организации народной милиции. Витте отказал во всем. “Увести войска? Нет, лучше остаться без газет и без электричества”, — заявил он. “Не могу стать на вашу точку зрения. Вы упраздняете правительство”, — возразил Витте на заявление о том, что Петербургский совет (его называли Стачечным комитетом) ручается за порядок без войск. “Я сам возмущаюсь насилиями... Помогите мне, дайте несколько недель”, — просил Витте, призывая редакторов не нарушать законов о цензуре и пообещав только устранить цензурные недоразумения. Встреча с редакторами преследовала, по-видимому, ту же цель, что и официальное опровержение газетных сообщений о том, что Витте поставил под сомнение осуществление манифеста и объявил самодержавную

власть продолжающей свое существование “без всякой перемены” (Красный архив. 1925. Т.4-5. С.100-105).

6. Речь идет о таких журналах, как “Адская почта”, “Пулемет”, “Жупел”, “Зритель”, “Сигнал”, “Топор”, “Банда” (Петербург), “Жало”, “Шрапнель”, “Член всех партий” (Москва) и т. п.

7. Правительственная власть перешла в наступление в последних числах ноября. До того Витте несколько притормаживал карательные мероприятия. Объясняя это в своих мемуарах, он ссылался на отсутствие достаточных воинских сил в Европейской России и особенно на необходимость дождаться ослабления сил рабочих-забастовщиков в Петербурге и падения влияния руководства Петербургского совета в их среде. “Помню недоумение, которое долго возбуждало поведение Витте, — писал впоследствии стоявший на правом фланге либерального движения В. А. Маклаков. — Он бездействовал, я не раз говорил с Витте об этом. Этих разговоров он не любил и раздражался. Иногда уверял, будто это делал сознательно, хотел покончить с революцией сразу, как когда-то Тьер покончил с Коммуной. Он рассказывал, будто поручил покойному В. П. Литвинову-Фалинскому (опытный фабричный инспектор, назначенный Витте на пост заведующего Отделом промышленности созданного 27 октября Министерства торговли и промышленности — *автор. комм.*) следить за наступлением подходящего часа (“Маклаков В. Первая революция. // Современные записки (Париж). 1934. № 54. С. 330). Сам Маклаков видел разгадку поведения Витте в его надеждах на активную политическую поддержку со стороны либеральной оппозиции и упрекал ее лидеров в том, что Витте в своих надеждах обманулся.

Политические же противники Витте справа обвиняли его то в бездействии и умышленном попустительстве революции, то в злокозненном нежелании дать конституцию, которая сплотила бы все слои, готовые сомкнуться с партией порядка. Если судить по запискам одного из наиболее ярых противников Витте А. А. Будберга, дело доходило даже до замыслов убийства премьера (Соловьев Ю. В. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. Л., 1981. С. 188).

В середине двадцатых чисел ноября кабинет Витте резко усилил карательные действия. Тем временем 2 декабря восемь петербургских газет напечатали принятый Петербургским советом 22 ноября и подписанный левыми партиями и организациями так называемый Финансовый манифест, содержавший призыв изымать вклады из сберегательных касс, требовать заработной платы в звонкой монете, не платить податей. Все газеты, как напечатавшие манифест целиком, так и поместившие сведения о нем в отделе хроники, были конфискованы, редакторы отданы под суд, а издание газет до суда приостановлено. Одновременно цензура возбудила около ста уголовных преследований против газет и журналов. Впрочем, редакции приостановленных газет, пользуясь явочным порядком учреждения изданий, стали, не дожидаясь суда, выпускать их с тем же составом сотрудников и в том

же оформлении, но под другими заголовками. 3 декабря были арестованы члены Совета.

Что касается просьбы Витте об отставке, то И. И. Толстой имел, вероятно, в виду просьбу Витте, о которой тот упоминал в своем прочитанном ему черновике прошения об отставке в апреле 1906 г., как имевшей место в январе (см. гл. 10 “Отставка”, и примеч. 1 к С. 356). Отметим, что после подавления декабрьского восстания в Москве Витте пригрозил своей отставкой, если ему не будет предоставлено право определять дислокацию войск в стране (Революция 1905 г. и самодержавие. М.; Л., 1928. С. 27-34).

Вообще же отношения Витте с царем были безнадежно испорчены сейчас же после вступления Витте на пост председателя Совета министров. Уже в конце октября Витте воспротивился назначению не взятого им в свое правительство бывшего Министра финансов В. Н. Коковцова председателем Департамента экономии Государственного совета, сообщив царю, что он сам и, “вероятно, большинство министров” не будут посещать заседаний под председательством Коковцова. Он пригрозил также, что уйдет с поста председателя Комитета министров или не будет его созывать, если Коковцов останется в его составе. “Я этого нахальства никогда не забуду”, — написал Николай II на докладе об этом. То же самое (“Меня заставили отказаться и уничтожить подпись. Я этого никогда не забуду”) сказал он Коковцову (ГАРФ СССР, Ф. 543, оп. 1, д. 536, л. 145; Шебалов А. В. Граф С. Ю. Витте и Николай II в октябре 1905 г. // Былое. 1925. № 4 (32). С. 107; Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Т. 1 /Париж, 1933 / С. 105).

31 января Витте представил царю доклад о необходимости составления “систематизированного труда”, который содержал бы хронику революционных событий и характеристику позиций печати различных направлений во время этих событий. Замысел премьер-министра состоял в том, чтобы показать критическое положение режима накануне 17 октября, а себя представить его спасителем. Поэтому он добивался, чтобы составление труда было поручено лицу, состоящему в его распоряжении, с выделением на это специальных средств. Царь же хотел дать поручение Главному управлению по делам печати. Тогда Витте, чуть ли не угрожая отставкой, просил разрешить ему самому финансировать работу. 2 февраля Николай II уступил, разрешив Витте лично руководить делом (Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963. С. 344-345). “По моему мнению, — писал, однако, царь, — роль председателя Совета министров должна ограничиваться объединением деятельности министров; вся же исполнительная работа остается на обязанности подлежащих министерств” (РГИА, Ф. 1622, оп. 1, д. 99, л. 1). Витте усмотрел в этом намерение Николая II вести дела с министрами по-старому — с помощью их всеподданнейших докладов и даваемых им непосредственно царских указаний. “Этим путем, — писал впоследствии Витте, — главу правительства во

всех случаях, когда желали обойти несговорчивого премьера, оставляли в стороне и делали желаемое помимо его" (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 334).

В тот же день, 2 февраля, он прозрачно намекнул царю, что тот инспирировал направленную против своего премьера петицию из Киева с большим числом подписей. "Конечно, я мог бы узнать, — писал Витте Николаю II, и царь подчеркнул эти слова, — и ее авторов, и ее инициаторов". "Осерчал граф", — написал на полях Николай II (Красный архив. 1925. Т. 4-5. С. 157).

Через несколько дней премьер поднял против царя бунт своего кабинета, не согласившись с двумя назначениями на министерские посты, произведенными царем. Несмотря на то, что назначение министров оставалось по Указу 19 октября царской прерогативой, Витте собрал членов своего кабинета на частное совещание и добился единогласного решения о том, что царские кандидаты не отвечают требованию однородности состава правительства. 12 февраля Витте подал царю доклад об этом решении министров. Вызывающий характер этого неслыханного по тогдашним государственно-правовым понятиям и бюрократическим традициям акта усугублялся сделанным Витте царю упреком в том, что "все нарекания, обвинения и озлобления за действия правительства" направляются на председателя Совета министров, хотя "о весьма серьезных и печальных мерах" он часто узнает из газет, и звучавшей как требование просьбой не распускать правительство до созыва Думы. Царь в тот же день капитулировал перед своим кабинетом (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 211-212).

8. На Западе развернулась активная пропагандистская кампания против предоставления займов царизму. В ней наряду с А. Франсом и большой группой французских писателей, ученых и художников, составивших "Общество друзей русского народа" в защиту русской революции, принимали участие и представители кадетской партии, оказавшиеся в Париже, хотя партия в целом не препятствовала займу (См. Гуткина И. Г. "Общество друзей русского народа и присоединившихся народов" во Франции в годы первой русской революции // Из истории общественных движений и международных отношений. М., 1957. С. 615-632; Ананьич Б. В. Россия и международный капитал. 1897-1914. Л., 1970. С. 177-180).

9. Французское правительство в качестве условия займа потребовало полной поддержки Россией перед Германией французской позиции в марокском вопросе. Заверение России в готовности такую поддержку оказать открыло путь к совершению займа (Ананьич Б. В. Указ. соч. С.160-161).

10. Сам Витте считал двумя своими главными свершениями в борьбе с революцией заключение займа и обеспечение перевозки войск с Дальнего Востока в Европейскую Россию.

11. В своих карательных мерах и распоряжениях Витте был всегда решителен и неумолим. Началось это раньше, чем представлялось

И. И. Толстому. Так, в своих воспоминаниях Витте рассказал, как еще в начале ноября, получив из частного источника сведения о готовившемся в Москве революционном выступлении, добился назначения туда генерал-губернатором адмирала В. Ф. Дубасова, зарекомендовавшего себя “решительным и твердым человеком” при подавлении крестьянского движения. Обеспечив отправку войск в Москву, Витте заявил Дубасову по телефону: “Я надеюсь, что восстание будет энергично подавлено” (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М, 1960. С. 173-176).

Сфера карательной политики, как и другие области государственной деятельности, была ареной состязания между Витте и Николаем II. Они упрекали друг друга то в излишнем карательном усердии, то, наоборот, в либерализме (см. Кризис самодержавия в России. Л., 1984. С.263-272).

12. Первая дума, оказавшаяся кадетско-крестьянской, вступила в острую борьбу с правительством по поводу роли властей в организации еврейских погромов в Белостоке и в других местах, расправ с участниками демократического движения, печатания погромных прокламаций в Департаменте полиции. В ней столкнулись три аграрные программы, правительственная, кадетская и крестьянская, отраженная в записке 104-х депутатов трудовиков. Правительственные аграрные законопроекты были направлены на индивидуализацию крестьянского землевладения путем укрепления наделов в личную собственность крестьян с выходом их из общины, а не на утоление земельной нужды за счет отчуждения помещичьих земель. Проявилось и намерение правительства устранить Думу от крестьянского землеустройства. Одновременно правительственные законопроекты предусматривали уравнение крестьян в правах с другими сословиями.

Кадетский проект резко расходился с правительственным, он предусматривал, в частности, для наделения землей за выкуп безземельных и малоземельных крестьян отчуждение в государственный фонд государственных, удельных, кабинетских, церковных, монастырских и частновладельческих земель по “справедливой” цене, т. е. частичную национализацию земли.

Крестьянская же программа исходила из принципа национализации всех земель, превышающих трудовую норму; ее реализация означала бы ликвидацию помещичьего землевладения. Кадеты отвергли эту программу, но не могли и поддержать правительственную. Наряду с другими думскими группами они требовали замены кабинета И. Л. Горемыкина, преемника Витте, “правительством доверия”. Основным предлогом для роспуска Думы 8 июля 1906 г. было избрано ее нежелание рассматривать правительственные аграрные законопроекты. Слова И. И. Толстого о бездеятельности Первой думы являются опосредованным отражением этого.

13. Свою высокую оценку деятельности правительства Витте, его государственно-реформаторских мероприятий И. И. Толстой дал в

письме к нему 21 ноября 1906 г., во многом совпадающем по содержанию с мемуарами. Узнав о работе И. И. над ними, Витте написал ему о своем к ним интересе. "Что касается моего отношения к Вашей деятельности и нашему сотрудничеству с Вами, — отвечал И. И., — то мое впечатление вполне определенное и ни от кого не скрываемое: я считал и считаю, что Вы *единственный* у нас настоящий государственный человек, способный вывести Россию на настоящий путь и попытавшийся по мере сил и возможности сделать это. Пусть *зоилы*, упрекавшие Вас и нас вместе с Вами в "бездеятельности", укажут другой пример, когда в каких-нибудь пять месяцев разработали и провели: 1) проект настоящей конституции, 2) сложный избирательный закон, 3) закон о печати, кто бы что ни говорил, замечательно либеральный, 4) закон о союзах и собраниях, 5) законы о стачках и об ограждении от них общеполезных предприятий, 6) основные законы, 7) проект всеобщего обучения и реформу университетского устава. При этом правительству одновременно пришлось подавить чрезвычайно опасное восстание в Москве, бороться и победить железнодорожную и почтово-телеграфную забастовки, принявшие невиданные до сих пор в мире размеры и форму. Если крестьянский и земельный вопросы не были разрешены, то за это же время они были основательно разработаны и подготовлены, причем и тут благодаря возникновению обширного Крестьянского союза, а затем и аграрных волнений приходилось работать под Дамокловым мечом. И кто же все это сделал? На первом месте Вы, имея помощниками нас, людей (отчасти неопытных, которых Вам приходилось направлять или сдерживать) занятых своим непосредственным делом, администрациею в министерствах, совершенно расшатанных и требовавших тоже крупных перемен и в личном составе и в общем направлении деятельности. Сравните с этим деятельность критиков, попавших в Государственную думу. Ведь у них не было на руках администрации, а были только работы законодательные. Что же они дали? В два месяца: 1) требование отмены смертной казни (какой же это закон?) и 2) то же всеобщей амнистии (тоже закона) и больше ничего!.. А теперь Ваше, а за Вами наше положение: Вас и нас ругали, кажется, все — и ретрограды, и либералы, Вам никто не доверял, начиная с Государя и кончая последним студентом, гимназистом и даже евреем. А первый состав Государственной думы? Ведь это была "надежда всей России", "излюбленные люди", "соль земли"; даже Государь не выражал недоверия; а они сумели только ругаться и не сделали ... ничего! Говорят, им мешали министры, правительство. А Вам, а нам никто не мешал? Не мешал, я думаю, только ленивый, а в шесть месяцев сделали Вы то, чего в России не было сделано за 50 лет! И это в шесть месяцев... По окончании работы этой было ясно указано всему свету, как она оценена, а следовательно, при каких условиях приходилось работать: Вам приличия ради дали Ал[ександра] с бр[иллиантами], но хотели устранить даже из Государственного совета. Министры были

просто отставлены даже без обычной благодарности или малейшего знака внимания, за исключением Вашего явного противника Дурново, осыпанного милостями, Акимова, ругавшего Вас на всех перекрестках. Остальным дали, с позволения сказать, подж...ка. Но зато назначили членами Государственного совета Кривошеина, Анания Страхова etc. Я не в обиде об этом говорю, а для характеристики положения. В России еще в начале и даже в средине марта кричали, что Вы обманываете всех, что Дума не будет собрана, не хотели верить в искренность Ваших намерений; между тем Дума не только была собрана в срок, но самые выборы прошли в большем порядке, чем в старых конституционных странах, и притом выборы прошли свободно, без давления правительства. Но члены Думы не нашли нужным даже отдать Вам справедливость в этом отношении, а Государь или, вернее, Двор обвинил Вас в том, что Вы не позаботились о должном давлении на выборах... Мое общее впечатление (личное) от того времени, когда я имел честь быть министром в Вашем кабинете, таково: это был какой-то кошмар по количеству и разнообразию работы, по общей неблагодарности всех, кто требовал ее от нас, по нежеланию всех понять затруднительность нашего и прежде всего, конечно, Вашего положения. Но, вместе с тем, я благодарен судьбе, давшей мне возможность поработать рядом с Вами и, как я думаю, вместе с Вами кое-что сделать для Родины, что со временем будет признано. Насколько я лично, однако, устал и насколько мне опротивело петербургское общество — лучшим доказательством является факт, что после почти четырехмесячного сидения летом у себя в Финляндии я взял шестимесячный отпуск заграницу и укатил в Италию с дочерью, в первый раз в жизни на столь продолжительное время. По возвращении в Питер надеюсь пробыть в нем не более месяца и закатиться опять в Финляндию. Работы своей у меня всегда достаточно, но к публичной деятельности я решил вернуться, только если меня заставят, так как отказываться от службы царю и отечеству я не считало себя еще вправе, но навязываться не буду ни за что: довольно с меня, и не я буду виноват, если от меня Государь потребует еще какой-либо службы. Так и останусь причисленным к Министерству императорского двора без жалованья и без пенсии, что меня вполне удовлетворяет, так как не обязывает ничем и ни к чему". Подлинник этого письма хранится в бумагах Витте в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке.

14. Порядок назначения министров царем был общим для них всех. Но председатель Совета не принимал участия в выборе кандидатур на четыре указанных И. И. поста. Причина частого отсутствия четырех министров на заседаниях Совета заключалась в том, что дела, относящиеся к их ведомствам, были выделены из ведения Совета и могли вноситься в него только по указанию царя, по представлению министра, возглавлявшего одно из этих ведомств, или в тех случаях, когда дело касалось и других ведомств.

15. Витте занимал помещение в доме №30 по Дворцовой набережной. В 30-1940-х годах там жил академик Е. В. Тарле.

16. По словам Витте, 7 ноября он получил от царя записку о том, что на 9 ноября царь назначает заседание Совета министров, которое, как говорилось в записке, "начнется с личного доклада Министра юстиции в присутствии Совета". Кроме Дурново, писал Витте, ярым врагом Манухина был еще и Трепов, считавший, что "вся беда заключается в бездействии юстиции и что при таком бездействии невозможно подавить революцию, а такое положение будто бы поддерживает Манухин". Манухин, наоборот, считал, что "полнейшая политическая невоспитанность и невежество" Трепова особенно вредны при его влиянии на царственную чету. По словам самого Витте, "юстиция продолжала относиться не только объективно к делу, но иногда и с некоторой снисходительностью к левым, не имеющей оправдания в законе и в иных случаях внушаемой страхом возмездия со стороны крайних левых" (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С.171-173, 181-182).

Судя по дневнику А. А. Половцева, обсуждение дела Манухина происходило главным образом не 9, а 18 ноября. В записи Половцева позиции Витте и Дурново расходились не так существенно, как представлялось И. И. Толстому. "Витте, — записал Половцев,— говорит довольно сдержанно, настаивая на том, что правительство не находит поддержки в судебной власти, которая освобождает политических преступников от всякого преследования. Он настаивает на том, что прокуратура сделалась бы более энергичною, если бы Министр юстиции побуждал ее к этому. Министр внутренних дел Дурново говорит в том же смысле, но гораздо решительнее, резче" (Дневник А. А. Половцева // Красный архив. Т. 4, 1923, С. 87).

17. Вопрос о Союзе почтово-телеграфных чиновников и о почтово-телеграфных забастовках был внесен 3 ноября 1905 г. в Совет министров Министром внутренних дел П. Н. Дурново. На заседании Совета под председательством царя 9 ноября, судя по записи Управляющего делами Э. Ю. Нольде, было заявлено (трудно установить — кем именно, но, как можно предположить, царем): "Почтово-телеграф/ные/ чиновники разрешено союз. Недопустимо". В соответствии с этим, когда 15 ноября началась почтово-телеграфная стачка, правительство объявило, что несмотря на провозглашенную Манифестом 17 октября свободу союзов, чиновники без разрешения начальства не могут образовывать их, ибо это противоречит законам о гражданской службе. Витте отказался принять делегацию почтово-телеграфных служащих и отменить распоряжение Министерства внутренних дел о запрете образования их союза (Совет министров Российской империи. 1905-1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 41, 44, 52).

К 24 ноября 1905 г. Совет министров составил проект "Временных правил о самовольном прекращении работ в предприятиях особой

государственной и общественной важности, а также в правительственных и общественных установлениях". 28 ноября вопрос о стачках обсуждался в Государственном совете, а 2 декабря Николай II подписал указ по этому поводу (Там же. С. 54, 58, 61).

18. О роли Витте в организации подавления московского восстания см. примеч. 11.

19. Сообщение И. И. Толстого об отношениях между Витте и Дурново, о роли Дурново в правительстве и об отношении к нему царя во многом совпадает с тем, что находим по этому поводу в воспоминаниях В. И. Гурко, часто посещавшего заседания Совета министров. По словам Гурко, Витте "неоднократно просил Дурново ослабить репрессии", однако делал это "лишь с января 1906 г., когда революция на улицу более не выступала" (Гурко В. И. Министерство графа С. Ю. Витте, Л. 89 // Фонд С. Е. Крыжановского в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Текст представляет собой фрагмент книги Гурко, изданной в английском переводе — Gurko V. Feature and figures of the past. L., 1939. Мы пользуемся фрагментами рукописи на русском языке, чтобы избежать обратного перевода).

20. Они состоялись в Царском селе 3, 8 и 18 ноября 1905 г. (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 33, 43, 68).

21. "По-царски сделать (далее зачеркнуто опас/но/)" — такими словами оканчивалась запись речи царя 3 ноября 1905 г., сделанная Э. Ю. Нольде (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С.35). Изложение речей Витте и царя И. И. Толстым в значительной степени дополняет и проясняет их отрывочную и необработанную запись, сделанную Нольде.

В первые же после Манифеста 17 октября дни Трепов, Горемыкин, Будберг, сам Николай II искали способы умиротворения крестьянства. Трепов, который говорил, что готов даром отдать половину своей собственной земли ради сохранения второй половины от захвата крестьянами, представил царю проект проф. П. П. Мигулина, основанный на идее принудительного отчуждения около половины помещичьих земель в пользу крестьянства. Мера эта, по мигулинскому проекту, должна была быть осуществлена немедленно и самим царем, но Николай II передал проект для обсуждения в Совет министров. Будберг, который через несколько дней после 17 октября открыл поход за свержение Витте, и Горемыкин, составивший записку о том, что Манифест 17 октября ничего не дал крестьянству, предлагали отменить выкупные платежи. Министерство финансов предлагало частичное их понижение. И Совет министров 31 октября, по-видимому, встал на эту точку зрения. Но царь настаивал на полном их сложении, считая эту меру "несравненно существеннее, чем все гражданские свободы, которые на днях дарованы России". 3 ноября, однако, было объявлено об уменьшении наполовину выкупных платежей в 1906 г. и полной их отмене с 1907 г., а также о разрешении

Крестьянскому банку покупать в неограниченном размере помещичьи земли для перепродажи их крестьянам с предоставлением им кредитов.

22.: См. Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 309, 319, 395, 446. Материалы по крестьянской реформе, распределенные по ведомствам в качестве их задач, предвосхищавшие столыпинские преобразования, составляли основную часть "Программы вопросов, вносимых на рассмотрение Государственной думы, которая была разработана правительством Витте к ее открытию и своей отставке (Там же. С. 448 467).

23. Кутлеровский проект был составлен проф. А. А. Кауфманом при участии директора Департамента государственных имуществ А. А. Риттиха. По словам Витте, он был основан "на мысли об обязательном, в известной мере за вознаграждение отчуждении казенных, удельных, частновладельческих и иных земель... причем земли, впусте лежащие, кроме лесов, а также земли, обычно сдаваемые владельцами в аренду, отчуждаются без всяких ограничений, а другие земли — в зависимости от размеров имения" (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С.149). Как только стало известно о подготовке кутлеровского проекта, сейчас же, в середине ноября, появилась записка с резким протестом против принудительного отчуждения и требованием ограничиться уже произведенным расширением функций Крестьянского банка (Аграрный вопрос в Совете министров. М.; Л., 1924, С. 63 и сл.). Автор этой записки (советский исследователь М. С. Симонова считает, что им был ставший в 1906 г. товарищем Министра внутренних дел В. И. Гурко) видел способ умиротворения крестьянства не в отчуждении в его пользу части помещичьих земель, а в усилении дифференциации в его среде. Он призывал власть опираться не на неимущие слои крестьянства, "хотя бы уже потому, что эти слои одновременно и наименее нравственно устойчивые и наименее деятельные", а "на наиболее крепкую и надежную ее часть", на те элементы, которым отчуждение части помещичьих земель невыгодно, поскольку они их арендуют.

Сопротивление кутлеровскому проекту со стороны помещичьих кругов подкреплялось подавлением декабрьского восстания и зимним спадом крестьянского движения, которые настраивали "верхи" на благодушный лад. Напрасно Витте в своем всеподданнейшем докладе 10 января 1906 г., доказывая, что вместо "массовых проявлений наступил период отдельных террористических действий", настойчиво заявлял, что с аграрными беспорядками "дело обстоит совершенно иначе", и предсказывал их усиление весной. Царь отверг кутлеровский проект, написав: "Частная собственность должна оставаться неприкосновенной" (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 150. Подробнее см.: Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Л., 1984. С. 249-250. 314-315).

Что касается цитируемой И. И. Толстым речи Витте против неприкосновенности собственности дворян, поскольку именно они делают революцию, то в этих своих обвинениях он повторял гневную речь по этому поводу, произнесенную великим князем Владимиром Александровичем на Петергофских совещаниях в июле 1905 г. (Кризис самодержавия в России. 1895-1917. С. 210). По поводу того, что Витте пожертвовал Кутлером, как выразился И. И. Толстой, см. собственные объяснения председателя Совета министров (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 199-205).

24. См. примечание 5.

25. Вопрос о периодической печати рассматривался Советом министров с самого начала его функционирования в срочном порядке. Во исполнение царского указа 12 декабря 1904 г., возложившего на Комитет министров разработку ряда либеральных преобразований, еще с января 1905 г. особое совещание под председательством Д. Ф. Кобеко занималось пересмотром цензурного законодательства в целом. Но Совет министров считал "неотложным теперь же установление такого порядка, при котором никому не возбраняется выражать в печати свои мнения и убеждения, лишь бы таковые не составляли преступления" (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 46). К 19 ноября Совет министров подготовил проект указа о временных правилах о периодической печати, который был издан 24-го (Там же, С. 21, 29-30, 45-51). Была отменена предварительная цензура для всех газет и журналов, издававшихся в городах. Правила давали цензурным властям возможность ареста отдельных номеров газет и журналов с последующим утверждением ареста судом и вводили судебную ответственность редакторов или издателей с штрафом или тюремным заключением, причем перечень преступных деяний, учиненных посредством печати в повременных изданиях, был весьма широк.

26. См. примечание 7.

27. Как указывалось в составленной по поручению Витте записке о событиях того времени, полицейские власти по настоянию председателя Совета министров и "по собственному побуждению" пытались прекратить антиправительственные выступления печати, но "ввиду недостаточности при переживаемых в то время обстоятельствах полицейской охраны благоприятные результаты были достигнуты не сразу" (Кризис самодержавия в России. 1895-1917. С. 251-252). Как признавал Совет министров в мемории 27 января 1906 г., печать игнорировала новые правила. Возникшие "с отменою предварительной цензуры для повременных изданий" многочисленные юмористические и сатирические журналы расценивались Советом министров как издания "чисто революционного характера", не заключавшие в себе, однако, признаков преступления, предусмотренного законом" (Совет министров Российской империи. 1905-1906, С. 224). Правила были дополнены рядом строгостей, но не отменены. В марте была

ликвидирована предварительная цензура и для неповременных изданий (Там же. С. 389-393, 396).

28. 29 ноября 1905 г. был издан указ, предоставлявший местным гражданским и военным властям право в случаях забастовок на железных дорогах, почте или телеграфе объявлять исключительное или военное положение без ведома центральных властей. Он был опубликован 4 декабря, но еще 2 декабря, особым указом, опубликованным на следующий день, было установлено тюремное заключение для участников забастовок в предприятиях государственного значения, в том числе на железных дорогах, а также в правительственных учреждениях (Законодательные акты переходного времени. 1904-1906 гг. // Под ред. Н. И. Лазаревского. СПб., 1907. С. 279, 281).

29. О ходе обсуждения в Совете министров положения о выборах см.: Кризис самодержавия в России. 1895-1917. С. 254-258; Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 62, 71, 73, 74-87; Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С. 366-371.

30. В действительности — Министр торговли и промышленности.

31. В. И. Тимирязев на самом деле действовал по поручению Витте, который еще до этого эпизода завязал отношения с Гапоном и начал его финансирование. Тимирязев по указанию Витте передал на возобновление деятельности гапоновских организаций 30 тыс. руб. Однако журналист А. И. Матюшенский, посредник при передаче денег, большую их часть присвоил, история эта попала в газеты, и возник скандал. Витте впоследствии утверждал, что во всем виноват только Тимирязев, и именно поэтому он, Витте, и решил устранить его с поста министра (Петров Н. Гапон и граф Витте // Былое. 1925. № 1 (29). С. 15-27; Ананьич Б. В. и Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте. С. 348-349).

32. Это ошибка или оговорка И. И. Толстого. Витте застал П. Н. Дурново управляющим Министерством внутренних дел не после смерти В. К. Плеве, а после ухода с поста министра А. Г. Булыгина.

При формировании правительства Витте кандидатура Дурново была встречена прессой воспроизведением весьма нечестной для него резолюции Александра III. Тогда Витте, по словам В. И. Гурко, сделал было ставку на С. Д. Урусова, но затем вынужден был вернуться к Дурново ввиду его полицейской опытности и представил его кандидатуру царю с таким, впрочем, отзывом, что тот не согласился. Дурново пригрозил Витте какими-то документами, которые, если бы они были представлены царю, означали бы для Витте окончательную политическую гибель. Витте пришлось вторично просить за Дурново, и царь согласился не надолго назначить его управляющим министерством (Гурко В. И. Министерство графа С. Ю. Витте. Л. 8-11 // Фонд С. Е. Крыжановского в Бахметьевском архиве Колумбийского университета). Ср. сообщение об этом самого Витте: "Его величество не хотел, чтобы Министром внутренних дел был Дурново, так как Дурново в

то время либеральничал и соперничал с Треповым, когда они оба были товарищами у Булыгина: Трепов по полиции почти диктатор, а Дурново в загоне по управлению почтами и телеграфами и в качестве умного человека.

Когда же его величество увидел, что хотя Дурново был назначен по моему желанию, но он готов для своей карьеры подставлять мне ножки или вообще отречься от меня и сблизиться с Треповым, то государь уже начал меньше стесняться моими мнениями" (Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 334).

33. Сопоставим это сообщение И. И. Толстого об отношениях между Витте и Дурново с тем, как освещает их В. И. Гурко. По словам Гурко, Дурново сразу же после своего назначения управляющим МВД принял энергичный образ действий в карательный политике, несмотря на то, что совещание из представителей воинских частей столичного гарнизона высказалось, за исключением ген. Г. А. Мина, в том смысле, что по настроению солдат их участие в подавлении массовых выступлений невозможно. Витте же был в ноябре-декабре в состоянии растерянности, — утверждал Гурко, — и тем не менее иногда демонстрировал, что не сочувствует образу действий Дурново. В подтверждение он утверждает, что Витте по телефону узнал 3 декабря об аресте Петербургского совета. "С белым буквально лицом он в величайшем волнении оказал: "Все погибло. Дурново арестовал Совет рабочих депутатов." Слова эти произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Некоторые члены Совета /министров/ даже вскочили со своих мест, а управляющий делами Совета Н. И. Вуич затрясся как осиновый лист" (Гурко В. И. Министерство графа С. Ю. Витте. Л. 61, 69).

По-видимому, Витте вел здесь свою игру. Арест Совета Витте представлял впоследствии как свою крупнейшую заслугу (Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Л. 1984. С. 252; Ананьич Б. В. и Ганелин Р. Ш. Указ. соч., С.346). Правда, по словам Гурко, Витте "неоднократно просил Дурново ослабить репрессии ... однако ... лишь с января 1906 г., когда революция на улицу более не выступала" (Гурко В. И. Министерство графа С. Ю. Витте. С. 89).

В утверждении Дурново министром Гурко, как и И. И. Толстой, видел его победу над Витте. К тому же, сообщает он, дочь Дурново была пожалована во фрейлины. После этого отношения между премьером и Министром внутренних дел, которого Гурко считал победителем революции 1905 г., были безнадежно испорчены. Дальнейшее развитие конфликта между ними Гурко связывал с результатами выборов в Думу. Первые сведения об их результатах вызвали, по словам Гурко, всеобщую радость среди министров. "Витте, несомненно, выразил общую мысль, сказав: "Слава Богу, Дума будет мужицкая". Обер-прокурор Святейшего синода кн. Оболенский к этому лишь прибавил: "Ну и поповская, что тоже недурно". Возражений ни с чьей стороны не последовало, и Совет министров в благодушном настроении перешел к рассмотрению текущих дел. При обмене мнений по этим делам члены

Совета со своей стороны неоднократно говорили: “Ну, теперь будет легче, с Государственной думой мы это проведем...” Однако за сведениями о сословной принадлежности избранных в члены Государственной думы стали поступать сведения об их партийной принадлежности”, — писал Гурко. Оказалось, что большинство их кадеты, которые предположительно должны были пагубно влиять на крестьян. “Витте по мере выяснения истинного состава Государственной думы становился чернее тучи, — продолжал Гурко, — вновь высказывал признаки повышенной нервности и запальчиво приписывал результаты выборов деятельности Дурново, приписывая их крутым мерам в смысле подавления революционного движения. Предположение это было неверное, ибо как могли действия Дурново, почти всецело сосредоточившиеся в городах, повлиять на настроение сельских масс, поставлявших подавляющее большинство выборщиков. Причина была, конечно, другая, а именно, широко расточавшееся кадетами обещание дать крестьянам землю в любом размере, причем об условиях ее получения благоразумно умалчивалось”.

Однако Витте, по-видимому, искренно верил, что виноват именно Дурново. Полученные Витте приблизительно в это же время сведения о высылке в административном порядке до 45 тыс. чел., конечно, укрепляли его в этом мнении” (Там же).

Как видим, подробные сведения Гурко подтверждают сообщение И. И. Толстого об одном из важнейших политических конфликтов в Совете министров.

34. Обсуждение этого вопроса происходило в Совете министров в декабре 1905-январе 1906 г. (См. меморию 20 и 23 декабря 1905 г., 10 и 13 января 1906 г. // Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 185-190). Дело было передано царем в Государственный совет, с большинством которого царь не согласился.

35. Профессор-правовед Киевского университета О. О. Эйхельман был рекомендован Витте царю. Он составил трактат о том, что манифест 17 октября не уничтожил власти царя-самодержца, и предложил свой проект Основных законов, основанный на том, что необходимость их пересмотра не связана с объявленными реформами.

36. Заседания 10 и 18 марта // Совет министров Российской империи. 1905-1906. С.330-332, 360-365.

37. См. анализ мемории как разновидности документа, данный современным исследователем в области археографии Б. Д. Гальпериной — Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 25 (введение).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, КОМИТЕТ МИНИСТРОВ И ОСОБЫЕ СОВЕЩАНИЯ

1. Совещание под председательством Сольского было учреждено царем 6 августа 1905 г. одновременно с изданием манифеста о Булы-

гинской думе. Витте был в это время еще в Портсмуте. С приходом к власти правительства Витте положение о Думе и вопрос о реформировании Государственного совета вскоре стали предметами предварительного рассмотрения в Совете министров, а затем следовало их обсуждение в особых совещаниях под председательством царя (см.: Кризис самодержавия в России. 1895-1917. С. 254-263, 275-281; Степанский А. Д. Реформа Государственного совета в 1906 г. // Труды Московского историко-архивного института. 1965. Т. 20. С. 179-211; Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 76-87, 285-296). 20 февраля 1906 г. был издан царский манифест об изменении учреждения Государственного совета и пересмотре думского учреждения (Законодательные акты переходного периода. С. 366 и сл.). С точки зрения прав Думы он означал некоторый шаг назад от Манифеста 17 октября. Ее законодательные права, обещанные 17 октября, были ограничены статусом Государственного совета в качестве верхней палаты, а инициатива пересмотра Основных законов отнесена к прерогативам монарха. Но Государственный совет, прежде составлявшийся исключительно из назначавшихся царем лиц, теперь составлялся, кроме них, еще из членов, избиравшихся дворянскими обществами, земскими организациями, торгово-промышленными кругами, крупными университетами, Синодом и т. д.

2. Первое из этих совещаний в декабре 1905 г. рассматривало вопрос о расширении избирательного права, второе в феврале 1906 г. было посвящено выработке учреждений (статутов) Думы и Государственного совета, а третье в апреле того же года — пересмотру Основных законов. Стенографические отчеты этих совещаний были отпечатаны типографским способом в 1906 г., сейчас же после их проведения, но не подлежали распространению. Они содержат откровенное изложение общих взглядов царя и наиболее высокопоставленных сановников по важнейшим политическим вопросам. Сейчас же после свержения царизма они были опубликованы В. В. Водовозовым (Былое. 1917. № 3 (25), сентябрь. С. 217-234; № 5-6 (27-28), ноябрь-декабрь. С. 289-318; № 4 (26), октябрь. С. 183-245).

3. См. примечание 20.

4. Комитет министров был упразднен 23 апреля 1906 г.

5. Речь идет о ротмистре графе М. А. Подгоричани-Петровиче. См. Мемория Совета министров 28 февраля 1906 г. с резолюцией царя: Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела о гр. Подгоричани подлежит ведению Министра внутренних дел. 9 декабря 1906 г." (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 283).

6. Совет министров как официальный государственный орган не был заинтересован в еврейских погромах. 24 и 28 февраля он рассматривал меры по их предотвращению, чтобы обеспечить "правильное и спокойное течение общественной жизни" (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 279-280, 283-285). С точки зрения юриди-

ческой ответственности погромы приравнивались к революционным выступлениям. По тем и другим было возбуждено одинаковое количество дел (Там же. С. 153). Но правительственные меры сводились на нет теми влияниями, которые в обход официальной иерархической линии оказывали на местные полицейские и жандармские власти из Петербурга. Источником, из которого эти влияния исходили, были тесно между собой связанные руководители черносотенных организаций и некоторые из приближенных Николая II. О том, какими способами у местных представителей власти создавали ощущение того, что погромы желательны "наверху", с большой выразительностью рассказал в своей речи в Первой думе, получившей широкую известность, князь С. Д. Урусов, перешедший в ряды "общественников" товарищ Министра внутренних дел в правительстве Витте (Стенографический отчет. Гос. Дума. Сессия 1. Т. 2. СПб., 1906. С. 1129-1132). Ср. четвертый пункт всеподданнейшего доклада Витте об отставке: "По некоторым важнейшим вопросам государственной жизни, как например: крестьянскому, еврейскому, вероисповедному и некоторым другим, ни в Совете министров, ни во влиятельных сферах нет единства" (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С. 433).

ВСЕПОДДАНЕЙШИЕ ДОКЛАДЫ

1. И. И. Толстой весьма точно, хотя и в деликатной форме, вскрыл причины устойчивости системы всеподданнейших докладов как инструмента государственного управления при всех ее очевидных недостатках. Еще в середине XIX в. было ясно, что всеподданнейшие доклады по мере усложнения задач государственного управления оказывались недостаточными, в частности потому, что не обеспечивали единства действий различных ведомств. Созданный в 1857 г. Совет министров по закону 1861 г. должен был заседать непременно под председательством царя. Вся история этого государственного органа показывает, что самым большим препятствием для его действий и даже самого существования было стремление самодержца не выпускать из-под контроля сколько-нибудь существенных государственных дел. Хотя российские правоведы рассматривали Совет министров как форму коллективного доклада, монархи предпочитали доклады министров, делаемые ими поодиночке и с глазу на глаз с царем. Учреждения поста председателя Совета министров при этом избегали как умаления царской власти. Так было до октября 1905 г., когда реформированный Совет министров возглавил С. Ю. Витте. Однако, по его словам, и после этого царь "желал действовать в нужных случаях с каждым министром в отдельности и стремился, чтобы министры не были в особом согласии с премьером" (Витте С. Ю. Воспоминания, М., 1960. Т. 3. С. 80).

ОТСТАВКА

1. Сопоставление изложения И. И. Толстым черновика виттевского прошения об отставке с окончательным текстом всеподданнейшего доклада Витте 14 апреля 1906 г. (Совет министров Российской империи. 1905-1906. С.432-434) показывает, что черновой вариант был изменен. Так, в окончательном тексте ссылка на прежнюю просьбу Витте об отставке не датирована, как в изложении черновика И. И. Толстым, январем. Вместо слов о "совершенно расстроенном здоровье, требующем серьезного и продолжительного лечения и лишающем его необходимых сил для службы Его Величества", в докладе Витте писал: "Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно в положении председателя Совета министров, в особенности при новых обстоятельствах".

Официальный текст доклада имеет некоторые разночтения с тем его вариантом, который Витте привел в своих воспоминаниях (Витте С. Ю. Воспоминания. Т.3. М., 1960. С.337-341), что свидетельствует о правке, которой текст подвергался. Сюжет, связанный с Дурново, как он изложен И. И. Толстым, был, по-видимому, очень важен для Витте. Борьба Витте и Дурново закончилась поражением их обоих, хотя, как явствует из нижеприводимых сведений, каждый из них до самого конца был уверен в своей победе. По мнению В. И. Гурко, Витте, видя в Дурново преемника, решил избавиться от него, да и вошедшее в обиход название его правительства — кабинет Витте-Дурново — ему мешало. Тогда он "решил действовать напролом". Прошение Витте об отставке было, по мнению Гурко, лишь направленным против Дурново ультиматумом. Уверенный в том, что ультиматум подействует, Витте за три дня до отставки продолжал обсуждать в Совете министров перспективы работы правительства с Думой, высказывая уверенность, что "сговориться с ней все-таки можно будет без особого труда". Между тем царь еще за две недели до прошения Витте сказал Гурко: "Главное, чтобы правительство было в верных руках, Вы понимаете, о ком я говорю". Кружок А. В. Кривошеина, Д. Ф. Трепова под главенством И. Л. Горемыкина, действуя через Д. Ф. Трепова, добился увольнения не только Витте, но и Дурново, чтобы "доказать таким образом общественности, что увольнение Витте вовсе не означает поворота политики в сторону реакции. Устранение от дел одним общим указом Витте и Дурново должно было, наоборот, как бы связать эти два лица воедино и таким образом окончательно развенчать Витте в глазах передовых элементов страны", — писал Гурко. "Витте, увидев себя связанным с Дурново, пришел в положительное бешенство, — продолжал он. — Не лучше чувствовал себя и Дурново, для которого отставка была полной неожиданностью". У него не было, по словам Гурко,

никаких оснований думать, что близок час потери им власти. У государя он неизменно встречал приветливый прием и выражение ему доверия; с обоими братьями Треповыми он был в лучших отношениях... Конечно, он хорошо знал, как к нему относится общественность, и, несомненно, ожидал неприятной встречи с Государственной думой. Но со всем этим он мечтал успешно справиться. Усиленно готовился он к этой встрече и еще накануне говорил П. М. Кауфману: "Вот они (Государственная дума) увидят, какой я реакционер". План его состоял в развитии перед Государственной думой целой программы либеральных мероприятий, подкрепленной немедленно вслед за этим внесенными на обсуждение Государственной думы соответствующими законопроектами". Передавая министерские дела Гурко, он говорил, что увольнение для него большой удар, и утешился только, сказав на прощание: "Нет, а Витте-то вот злится на то, наверное, что мы с ним вместе уволены" (Гурко В. И. Министерство графа С. Ю. Витте. Л. 90-95).

2. Обстоятельное изложение И. И. Толстым событий в Совете министров, связанных с прошением Витте об отставке, дает некоторые косвенные подтверждения версии Гурко (см. прим. 1 к с. 356). Как видим, поначалу Витте лишь "довольно туманно намекнул на возможность своего ухода" и только под "давлением депутации" министров прочел свое письмо (Ср. слова самого Витте: "Вечером того же 14 апреля я созвал Совет министров и прочел им уже посланное мною прошение об увольнении". Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 341). Дурново, по словам И. И. Толстого, как и по сообщению Гурко, не собирался в отставку, а готовился к взаимодействию с Думой. Возможно, что И. И. Толстой посчитал невозможным писать обо всей закулисной стороне этого дела, хотя знал о ней, как и Гурко, заблаговременно услышавший от царя о предстоявшем увольнении Витте. "Министр народного просвещения граф И. И. Толстой, — писал Витте, — высказал свое удовольствие, что я принял этот шаг, сказав, что ему известно, какая интрига все время шла против меня во дворце, и что все равно как только государь почувствовал бы, что он может справиться без меня, он бы сейчас это сделал ввиду моей кесговорчивости" (Там же).

3. Как утверждал начальник Петербургского охранного отделения ген. А. В. Герасимов, весной 1906 г. один из руководителей политической полиции П. И. Рачковский выступил с инициативой смены премьер-министра и по поручению Д. Ф. Трепова провел секретные переговоры с И. Л. Горемыкиным, кандидатура которого и была представлена царю. Вообще же Герасимов вопреки распространенному мнению о том, что именно Трепов возглавлял противостоявшую Витте "звездную палату", утверждал, что Трепов и Витте с осени 1905 г. действовали рука об руку, и даже в назначении Витте председателем Совета министров сыграла роль рекомендация Трепова. В этом

сообщение Герасимова совпадает и с другими источниками. Он утверждал также, что Витте видел в Трепове “своего человека при Дворе... у них заранее были распределены роли” и что Трепов как союзник был для Витте серьезной поддержкой. Лишь после того, как к началу 1906 г. влияние Трепова еще более возросло (как возросло, добавим, к этому времени и влияние Дурново), его отношения с Витте испортились (Герасимов А. В. На лезвии с террористами. Р., 1985. С. 42,73).

С. А. ЖЕБЕЛЕВ

Граф Иван Иванович Толстой (1858-1916)

В лице скончавшегося 20-го минувшего мая, в Гаспре на Южном берегу Крыма, графа Ивана Ивановича Толстого наука потеряла крупную ученую силу, общество лишилось одного из наиболее просвещенных, благородных, гуманных деятелей, все те, кто имел счастье входить с покойным в непосредственное общение, утратили в нем доброжелательного, любвеобильного, обаятельного человека.

Граф И. И. Толстой родился в Петрограде 18 мая 1858 г. По окончании курса 3-й классической гимназии и юридического факультета Петроградского университета он служил недолгое время по Министерствам иностранных и внутренних дел. Когда была образована комиссия специалистов по переселенческому делу, граф принял в ней деятельное участие и был назначен членом переселенческой конторы в Сызрани, откуда переправил десятки тысяч семей в Сибирь. Не столько, однако, служебные интересы, сколько научные занятия привлекают графа на первых порах его деятельности. Под влиянием своего воспитателя Х. Х. Гиля, которого он называет в своем первом ученом труде своим "старейшим руководителем в нумизматике", граф увлекся этой отраслью историко-археологического знания еще с юношеских лет. Началось увлечение с простого собирания монет; но скоро увлечение это стало на такую солидную базу, приобрело настолько серьезный характер, что из графа выработался, уже к началу 80-х годов прошлого века, настоящий ученый исследователь-нумизмат. В 1882 г. граф издал "Нумизматический опыт", посвященный исследованию древнейших русских монет великого княжества Киевского. Это — большая книга in folio, заключавшая в себе около 300 страниц текста и 19 таблиц рисунков. Поводом к изданию труда послужило приобретение графом в 1877 г. коллекции русских монет М. В. Юзефовича, среди которых оказалось 43 экземпляра из числа монет, найденных в 1852 г. в земле близ Нежина. По поводу этих монет высказывались в литературе различные мнения: одни утверждали, что это монеты первых русских князей, другие — что это монеты болгарские или сербские; точно так же различно толковались изображения и надписи на монетах. Для того чтобы стать на твердую почву при исследовании упомянутых 43 монет, граф изучил аналогичный материал, хранящийся в частных, общественных и государственных

коллекциях. В результате им было рассмотрено и каталогизировано свыше 170 монет, большею частью не изданных и представляющих сугубый интерес вследствие того, что они являются наследием "такой эпохи нашей истории, от которой до нас сохранились лишь скудные современные сведения и небольшое количество памятников". Граф пришел к следующим главным выводам в своей работе: 1) описанные им монеты, несомненно, русские; 2) они относятся ко времени княжения Владимира Св., Святополка I и Ярослава I; 3) они имели значение денежных знаков; 4) на монетах сказывается непосредственное влияние византийского искусства, хотя и вероятно, что они — дело рук не византийских, а местных мастеровых[1].

Нельзя не отметить в этом первом труде молодого нумизмата и широкой постановки всего вопроса и твердой базы, на которой построено все исследование. Разбираемые монеты являются для графа не предметом, возбуждающим любопытство коллекционера-любителя; они служат в его руках первоклассными историческими документами, которые после тщательно произведенного над ними критического анализа, будучи сопоставлены с другими данными, относящимися к той же эпохе, должны послужить к освещению древнейшего периода нашей истории. Таким образом, уже в своем первом труде, как и во всех последующих, нумизматика является для графа не какой-то изолированной дисциплиной, а составляет необходимый ингредиент исторической и археологической науки вообще. И все нумизматические труды графа — это нужно отметить теперь же — важны не только тем, что в них сообщается новый, тщательно проверенный и изученный материал, но и тем также, что материал этот исследуется и трактуется на широкой исторической основе; иными словами, нумизматика в трудах графа окончательно снисходит с той позиции, какую она занимала у нас раньше, когда монеты не столько изучали, сколько ими интересовались с чисто любительской точки зрения. В этом отношении труды графа должны были оказать самое существенное влияние на разработку у нас нумизматики как науки.

В 1884 г. появился первый выпуск широко задуманного труда графа: "Русская допетровская нумизматика. Вып. 1. Монеты Великого Новгорода" (148 стр. текста и 7 таблиц). Уже к тому времени коллекция допетровских монет составилась у графа такая, какой "по числу и разнообразию чеканов никому еще не удалось составить". "Это богатство, — говорит граф в "предисловии", — дает мне возможность более чем кому-либо другому издать не простой каталог, но целый труд, могущий служить основанием для дальнейшей систематической разработки древнерусской нумизматики". Все издание, по выработанному автором плану, должно было выходить выпусками,

[1] В связи в этим трудом графа ср. его статьи "Der Münzfund von Njeschin" в т. X Zeitschrift für Numismatik" и "Первое и второе добавление к сочинению «Древнейшие русские монеты»" в Записках Академии наук, 1884, С. 39-92.

"причем каждый выпуск будет заключать в себе описание монет однородных по месту чеканки или обращения". Такой способ издания целесообразен главным образом потому, что "дает возможность тщательнее обработать материал: богатство его столь велико, что каждый отдел требует для основательного изучения продолжительного занятия им и притом такого внимательного, которое не позволяет отвлекаться другими отделами". Классификации и описанию монет каждого отдела предполагалось предпосылать особое введение, которое должно служить "монографией о монетах отдела и представлять собою нечто законченное".

Из предположенных автором десяти выпусков всего издания появилось только два: кроме упомянутого выпуска о монетах Новгорода, в 1886 г. вышел в свет второй выпуск, посвященный монетам псковским (с приложением 10 таблиц). На этом издание "Русской допетровской нумизматики" и остановилось: граф отвлечен был от него другими занятиями. Таким образом, исполнилось его предположение, которое он высказал в предисловии к первому выпуску, когда, мотивируя принятую им систему публикации всего труда, он между прочим писал: "Приступая к столь обширному изданию, как начатое мною, следует иметь в виду случайности жизни. Кто знает, приведется ли мне осилить весь материал? Между тем, если способ обработки его, обозначившийся в первых выпусках, встретит сочувствие, можно надеяться, что в таком случае найдутся и продолжатели моего труда".

Науке, конечно, приходится сожалеть о том, что задуманное графом монументальное издание остановилось почти на самом начале. Но, высказывая это сожаление, справедливым будет подчеркнуть то, что самая мысль дать своего рода corpus русской допетровской нумизматики является знаменательной, если принять в соображение, что мысль эта возникла у графа не на закате, а в самом начале его ученой деятельности. Очевидно, уже тогда граф настолько глубоко и основательно освоился с предметом своих занятий, что его не пугала мысль дать труд общего синтетического характера. Что граф не переоценивал тут свои силы и свои знания, лучшим доказательством служат появившиеся два первых выпуска "Русской допетровской нумизматики".

Но что же отвлекало графа от продолжения задуманного им труда? Отчасти именно те "случайности жизни", которые он и сам предугадывал, отчасти постепенно расширявшийся и углублявшийся горизонт научных его интересов.

Вступив в число членов Русского Археологического Общества еще в 1882 г., граф избран был 28 апреля 1885 г. его секретарем. В звании секретаря он оставался до 15 апреля 1890 г. и за это время много и плодотворно потрудился для Общества. Он принимал участие в целом ряде комиссий (например, по описанию Староладожской крепости, по снаряжению ученой экспедиции в Грецию для изучения церковных ее памятников, в предварительном комитете по организации 7-го Археологического съезда в Ярославле), выработал новый устав Общества,

который действует и по сие время, восстановил прежний орган Общества, его "Записки", фактическим редактором которых состоял. В этих "Записках", за время секретарства графа, были напечатаны им следующие работы из области не только уже русской, но и византийской нумизматики: в т. I (1886 г.) рецензия о труде Ю. Б. Иверсена "Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц" (стр. LXII-LXXV), в т. II (1887 г.) "О византийских печатях Херсонской Фемы" (стр. 28-44), в т. III (1888 г.) "О монете Константина Мономаха с изображением Влахернской Божией Матери" (стр. 1-20), "Клад куфических и западноевропейских монет, заключавший в себе обломок монеты Владимира Святого" (стр. 199-202), "Собрание монет и медалей покойного А. М. Ямковского" (стр. 203-214), "О русских амулетах, называемых змеевиками" (стр. 363-413)[2], в т. IV (1890 г.) "Три клада русских денег XV и начала XVI вв." (стр. 30-49). В т. IV "Записок Восточного Отделения" напечатана статья графа "Поддельные ассирийские древности" (стр. 21-28). Параллельно с несением секретарских обязанностией в Обществе граф состоял с 1886 по 1893 гг. членом Археологической Комиссии. К этому же времени относится сближение его с Н. П. Кондаковым, в результате чего явилось задуманное ими, в 1889 г., чрезвычайно полезное, хорошо всем знакомое предприятие — издание "Русских древностей в памятниках искусства". Издание это, выходившее с перерывами до 1899 г., остановилось на шестом выпуске. Оно сыграло, несомненно, очень крупную роль не только в деле популяризации историко-археологических сведений о памятниках, найденных на территории России со времени обоснования на ней греков вплоть до образования московского государства, но и в отношении систематизации того, что до тех пор было рассеяно в массе отчасти трудно- доступных для широкой публики публикаций и различных периодических изданий.

Назначение графа на должность конференц-секретаря Академии художеств в 1889 г. заставило его сложить с себя исполнение секретарских обязанностей в Русском Археологическом Обществе. Но связи с ним он никогда не порывал и постоянно участвовал в его трудах. Так, в т. VI (1893 г.) возобновленных им "Записок" напечатана статья графа "О древнейших русских монетах X-XI вв." (стр. 310-368)[3], в т. VIII (1896 г.) появился его отзыв о сочинении великого князя Георгия Михайловича "Монеты царствования императрицы Екатерины II" (стр. LI-LV), в т. X (1898 г.) — отзыв о сочинении М. И. Соколова "Новый

---

[2] Дополнение к этой статье см. в т. IV, стр. 10-20.

[3] Статья служит дополнением к упомянутому труду графа "Древнейшие русские монеты вел. княжества Киевского" и содержит а) исследование вопроса о том, послужили ли какие-либо иноземные образцы оригиналами для изготовителей штемпелей древнейших русских монет, и, если послужили, то какие именно; б) издание и описание новых экземпляров древнейших монет, не попавших в указанный труд.

материал для объяснения амулетов, называемых змеевиками" (стр. XXXIV-XXXVIII). Граф так долго и плодотворно трудился для любимого им Общества, что, по смерти А. Ф. Бычкова, на общем собрании 4 мая 1899 г. он был избран помощником председателя Общества и оставался в этом звании до своей кончины, являясь фактическим главою Общества. За это время при Обществе возникло новое отделение, нумизматическое, в организации и трудах которого граф принял самое деятельное участие. В "Записках Нумизматического отделения" появились статьи графа, которые могут быть рассматриваемы как продолжение прерванного в свое время издания "Русской допетровской нумизматики": в т. I (1910 г.) "Деньги великого князя Дмитрия Ивановича Донского" (стр. 139-154), в т. II (1913 г.) "Монеты великого князя Василия Дмитриевича" (стр. 1-84); в I-м же томе упомянутых "Записок" напечатана небольшая заметка "О пятаках Екатерины II с королевскою короною" (стр. 155-160).

Граф был глубоким знатоком и просвещенным обладателем замечательной коллекции монет не только русских, но и византийских[4]. И вот в последние годы своей жизни он задумывает такое же большое дело по каталогизации и систематизации византийских монет, какое было предпринято им в начальную пору его ученой деятельности для монет русских, допетровских. В 1912 г. появился первый выпуск монументального издания "Византийские монеты". В предисловии к первому выпуску граф так мотивировал цель и характер предпринимаемого им издания: существовавшие до 1908 г. общие труды по византийской нумизматике де-Соси и особенно Сабатье во многих частях устарели; некоторым восполнением их явились каталоги византийских монет, хранящихся в Британском музее, составленные в 1908 и 1911 гг. Warwick Wroth'ом, а также отдельные статьи. "Будучи обладателем одного из крупных собраний византийских монет, — говорит граф, — я решился издать их описание, имея в виду: 1) желательность иметь труд на русском языке, посвященный существенной вспомогательной византологии, т. е. науке, которую с честью разрабатывали и продолжают разрабатывать русские ученые; 2) частые находки византийских монет в пределах России, особенно на юге и на Кавказе; 3) желательность обратить внимание на собирание этих монет в нашем отечестве, признавая, что плодотворное и осмысленное коллекционирование возможно только при существовании достаточно полного печатного пособия, посвященного разработке интересующей собирателя области".

В основу описания положено собственное собрание графа, дополненное недостающими в нем типами и разновидностями из коллекции византийских монет Императорского Эрмитажа; сверх того, в текст включены описания и изображения монет, отсутствующих в обоих

[4] Византийские монеты граф собирал в течение более 20 лет и приобретал их не только по случаю, но и на всех почти крупных аукционах.

собраниях, но известные по трудам Сабатье, Wroth'a и другим, второстепенным изданиям. Каждому описанию серии монет отдельных царствований предпосылается краткий исторический очерк правления императора, монеты царствования которого описываются; сделано это ввиду "почти полного незнакомства образованного русского общества с важною для нас, да и не для одних нас, византийскою историею вообще". Все издание было рассчитано на 8-12 выпусков; в конце его предположено было дать "нумизматический и археологический разбор описанного материала", хотя некоторые замечания, имеющие характер "предварительных", помещались и в тексте каталога монет, "ради удобства пользующихся им".

Быстро стало подвигаться вперед задуманное предприятие: в 1912 г. вышли в свете два первых выпуска, в 1913 г. — выпуски 3, 4 и 5, в 1914 г. — 6, 7, 8 и 9. На девятом выпуске, заканчивающемся описанием монет Михаила III (842-867 гг.), издание остановилось[5]. Очевидно, оно не уместилось бы в предположенные автором рамки даже 12 выпусков, а потребовало бы значительно большее их количество. Будет ли издание продолжено и завершено, сказать не умею. Сделать это следовало бы, конечно, и в интересах науки, и чтобы достойным образом почтить память графа — это был бы лучший памятник ему! Но, с другой стороны, и осуществить завершение посмертного труда графа будет нелегко, ибо, насколько известно, он считался у нас единственным знатоком-специалистом византийской нумизматики. Правда, будущему продолжателю работы она будет облегчена значительно тем, что коллекции свои граф держал в образцовом порядке; они строго систематизированы, почти при каждом экземпляре монеты имеются надлежащие указания и т. п. Но для того, чтобы оставшаяся недоделанной часть работы не уступала по своим достоинствам части, исполненной самим автором, будущему продолжателю пришлось бы войти в исследование многих сложных и небесспорных вопросов в области совершенно специальной, требующей особых познаний и навыков.

Не моего ума дело давать детальную оценку ученых трудов графа в области русской и византийской нумизматики[6]. Это дело специалистов-нумизматов. Однако общий характер ученой деятельности графа представляется вполне ясным и определенным для всякого,

[5] Вышедшие девять выпусков содержат 1060 страниц текста и 72 великолепно исполненных фототипических таблицы, на которых нашло воспроизведение 1770 монет; сверх того, много рисунков дано в тексте.

[6] Для полноты перечня печатных трудов графа нужно еще указать, что ему принадлежит заметка "Новая книга о Китае и китайцах" (С. Георгиевского) в "Вестнике Европы" за 1888 г., статья "Два капитальных труда по византийской и византийско-русской археологии" (по поводу трудов Н. П. Кондакова "Византийские эмали. Собрание А. В. Звенигородского" и "Русские клады"), напечатанная в журнале "Космополис", и перевод книги С. Рейнака "Орфей. Всеобщая история религий". (Париж, 1910).

кто имел то или иное касательство к историко-археологической науке вообще. Прежде всего в бесспорную заслугу графа нужно поставить то, что, будучи обладателем богатейшего собрания русских и византийских монет, он опубликовал, хотя бы частично, имевшийся в его распоряжении материал и тем самым сделал его доступным для пользования других. Поступая так, граф руководствовался не честолюбивым стремлением — похвастать теми сокровищами, какими он обладает; им руководило свойственное всякому истинно ученому исследователю вполне справедливое желание проверить те выводы, к каким он пришел при изучении собранного им материала[7]; побудить других заниматься собиранием монет и облегчить им самое дело этого собирания[8]; посильно содействовать развитию и укреплению нумизматических штудий в России и над русским материалом. Последнее стремление не останавливало графа ни пред какими трудностями работы[9]. Будучи, по общему признанию, большим знатоком своего дела, граф, тем не менее, никогда не склонен был переоценивать и свои знания и делаемые на основании их выводы; его влекло, прежде всего и главнее всего, если не добиться абсолютной истины, то по крайней мере подойти к ней в сфере трактуемых им вопросов[10]. Издавая и описывая монеты своего собрания, граф, однако же, не считал возможным ограничиться лишь ролью каталогизатора, хотя бы и ученого; он признавал необходимым систематически исследовать монеты данного периода или определенной группы, критически разобраться в

---

[7] Ср. конец предисловия к выпуску 1 "Русской допетровской нумизматики": "Более чем лестное для меня признание моего первого нумизматического опыта возбудило во мне решимость начать настоящее издание и дает мне возможность надеяться, что знатоки и любители отечественной старины, как откровенным указанием моих промахов, так и любезным сообщением имеющегося у них материала, помогут довести издание до желаемого конца".

[8] См. приведенные выше слова из предисловия к "Византийским монетам".

[9] Ср. его слова на стр. 62 отд. отт. работы о монетах Великого князя Василия Дмитриевича: "Признаюсь откровенно: не один недостаток времени, но и трудность самой задачи удерживали меня от продолжения того, что мною было начато еще почти 30 лет тому назад. Если я, наконец, и решился на это, то совсем не потому, чтобы думал, что задача стала легче, но скорее потому, что никто за нее не принимается, а между тем необходимо сдвинуть вопрос с мертвой точки, на которой он стоит, да и вещного материала, в виде тысячи монет, накопилось у меня за это долгое время очень много, и хотя в значительной части он остается столь же загадочным, как и раньше... но совестно оставлять его лежать в коллекции втуне, неиспользованным".

[10] Ср. замечания в той же статье на стр. 63: "Ни А. В. Орешников, ни я, ни кто-либо другой из лиц, посвятивших свой труд на изучение русской старины, не могут претендовать не только на непогрешимость, но даже просто на то, чтобы избегнуть скептического отношения к делаемым им выводам, и, конечно, не в том дело, что я думаю, что нашел, или действительно нашел и найду погрешности в его [А. В. Орешникова] труде [имеется в виду выпуск 1 каталога

исследуемом материале, поставить его в связь с другими письменными и вещественными памятниками, относящимися к той же эпохе, ввести монеты, так сказать, в общий фонд историко-археологической науки[11]. Такая широкая постановка исследования нумизматического материала (нечего и говорить, что только при ней и благодаря ей нумизматика становится научной дисциплиной) требовала от графа углубленных занятий в области и истории и археологии, и на эти занятия граф шел всегда с открытым сердцем, что ясно чувствуется во всех его, и крупных и мелких, трудах. Впрочем, научная любознательность графа была вообще исключительной, и количество книг, им проштудированных, прочитанных, просмотренных, должно быть, вероятно, соизмеримо с числом прошедших чрез его руки монет.

Если бы после графа остались только те ученые труды, которые перечислены выше и которые пустили в научный обиход такое обилие и важного, и интересного, и научно обработанного материала, имя его должно было бы быть почетно отмечено в истории русского просвещения. Однако этими трудами деятельность графа далеко не исчерпывается. Скажу даже более того: те "случайности жизни", о которых говорил граф на заре своей ученой деятельности, заставили его, почти в течение доброй ее половины, отдавать этой деятельности только свой досуг.

Назначенный в 1889 г. конференц-секретарем Академии Художеств, граф вслед за тем в продолжение 12 лет (1893-1905) был ее вице-президентом. Ему пришлось в течение этого периода быть не только представителем высшего художественного учреждения в России, но и фактическим главою высшей художественной школы в России и руководителем всего того, что связано с интересами искусства в ней. В истории Академии Художеств время, когда граф был ее вице-президентом, несомненно составляет эпоху, которая вполне справедливо могла бы быть названа "толстовской эпохою".

Вице-президентство графа отмечено было прежде всего введением в действие в 1893 г. нового Устава, выработанного в особой комиссии, в трудах которой граф играл выдающуюся роль. Этот Устав совершенно изменил характер и строй как самой Академии, так и состоящего при ней Высшего художественного училища, выдвинул на очередь целый

монетной коллекции Исторического музея "Русские монеты до 1547 года"]. Важно то, что с 1896 г. русская нумизматика обладает, благодаря А. В. Орешникову, превосходно систематизированным и отлично изданным материалом, относящимся к той части ее, которая наименее ясна, а потому настойчиво требует обработки", хотя и "невольно колеблешься приступать к сложной работе, в которой пока, можно сказать, все неясно и в которой путеводная нить ежеминутно ускользает из рук" (стр. 64).

[11] Ср. слова из той же статьи, стр. 63: "При всех крупных достоинствах труда А. В. Орешникова он представляет собою, однако, не систематическое исследование монет данного периода, а каталог монет определенного собрания, подвергшийся научной обработке, что, как каждому понятно, не одно и то же".

ряд новых задач, которым должна удовлетворять Академия как такое учреждение, на обязанности которого лежит "поддержание, развитие и распространение искусства в России". Академия пополнилась новыми членами из числа наиболее крупных русских художников и любителей и знатоков искусства; в преподавательский персонал Высшего художественного училища были приглашены выдающиеся художественные силы. В этом обновлении Академии, в быстром и успешном ходе академической реформы едва ли не главная роль должна быть отведена графу. Ему пришлось, однако, не только "вводить" новый устав, но и первому осуществлять и проводить в жизнь его параграфы. Тут было, конечно, немало труда и хлопот; но энергия графа преодолевала все, а его неизменное доброжелательство, чуткая тактичность, врожденное джентльменство умело и удачно сглаживали все шероховатости, неизбежно встречавшиеся на пути осуществления реформы. В течение короткого времени графу удалось все наладить, и жизнь Академии вступила в новое русло и потекла по нему бодро, жизненно, свободно. Особое внимание было обращено графом на скорейшее осуществление той задачи новой Академии, которая повелевала ей заботиться о распространении искусства в России. С этой целью он поставил в первую очередь поддержание существовавших и учреждение новых художественных школ в провинции, снабжение провинциальных музеев художественными произведениями, устройство в залах Академии выставок и т. п. При ближайшем содействии графа произошло и учреждение, в 1897 г., "Русского музея Императора Александра III" и устройство Отдела изящных искусств на Всероссийской Нижегородской выставке; он же был главным уполномоченным по устройству Русского художественного отдела на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.

Наступившие осенью 1905 г. "бурные времена" и связанные с ними "несуразности" в жизни Высшего художественного училища при Академии заставили графа оставить пост вице-президента. Академия Художеств останется обязанной главным образом ему своей новой жизнью; она немедленно же выразила ему свою признательность единогласным избранием его, в заседании 28 ноября 1905 г., в число своих почетных членов. Те же "бурные времена" выдвинули графа, правда, на короткое время, в роли главного вершителя судеб народного просвещения в России. 31 октября 1905 г. граф был назначен Министром народного просвещения и оставался на этом посту до 24 апреля 1906 г. За полгода и в нормальные времена немного можно успеть сделать в таком сложном и ответственном деле, как народное просвещение. Тем не менее, невзирая на сувершенную исключительность положения того времени, графу, благодаря его кипучей, не знавшей отдыха и препон энергии, благодаря уменью быстро ориентироваться во всяком, даже новом деле, главным же образом благодаря ясному сознанию предлежащих задач, удалось отчасти провести, отчасти наметить ряд реформ в области народного просвещения на всех ступенях

его развития. Так как высшие школы во время его министерства оставались закрытыми и открывать их, при тогдашних условиях, было невозможно, граф решил использовать невольный досуг профессоров тем, что возложил на Советы высших школ важную и ответственную задачу — выработать проект нового университетского устава. Когда эти проекты Советами отдельных университетов и других высших учебных заведений министерства были выработаны, граф устроил, под своим председательством, совещания профессоров, делегированных университетскими Советами, а затем Советами и других высших учебных заведений; на первом из этих совещаний выработан был общий проект устава Императорских Российских университетов, который должен был быть внесен на рассмотрение имеющих в недалеком будущем открыться законодательных учреждений. Правильная жизнь средней школы была в 1905/06 г. также нарушена, и граф предпринял ряд мер для ее упорядочения. 26 ноября 1905 г. он издает циркулярное распоряжение "О некоторых мерах к упорядочению школьной жизни"; от 9 января 1906 г. снова им издано циркулярное предложение "О мерах, могущих обеспечить правильный ход занятий в средних учебных заведениях". Первым циркуляром предоставлялись широкие полномочия Советам средних учебных заведений "в установлении распорядка жизни заведений" и предоставлялось "право присутствия в заседаниях Советов, с решающим голосом, уездному предводителю дворянства или его заместителю, председателю уездной управы или его заместителю и городскому голове или специально для этой цели избранному Городской думою лицу из состава гласных", а также разрешалось образование при каждом среднем учебном заведении так называемых родительских комитетов. Вторым циркуляром "вновь" предлагается "Педагогическим советам принять все зависящие от них меры для устранения ненормальных явлений из жизни школы" (имеется в виду главным образом образование при некоторых учебных заведениях специфических "ученических организаций"). В области мероприятий, относящихся к низшей школе, нужно отметить циркулярное предложение от 23 ноября 1905 г. о народных чтениях, на основании которого директорам народных училищ "в отношении разрешения устройства народных чтений и материала для таковых чтений" предписывалось действовать "в духе" Манифеста 17 октября 1905 г.

Графу не суждено было, за кратковременностью пребывания на посту Министра народного просвещения, провести в жизнь те основные идеи, которые он имел насчет вверенного ему Высочайшею волею дела. Уже оставив министерский пост, он познакомил общество с этими идеями в своих "Заметках о народном образовании в России" (СПб. 1907). Главные положения этого небольшого (130 стр.), но богатого мыслями трактата сводятся к следующему: 1) какой бы то ни было "политике" нет места в школе; школу "следует вернуть к прямым ее задачам просвещения: учению и воспитанию" (стр. 23); 2) "дисциплина в школе необходима, она может быть даже очень

строгая, но она всегда должна иметь в виду педагогические цели, а не политические" (стр. 25). Это мысли, касающиеся, так сказать, общего духа и направления всякой школы. Придавая особое значение школе средней, граф в дальнейшем намечает ряд положений, ее касающихся: 1) "следовало бы решиться отменить права, даруемые дипломом среднеучебных заведений или так называемым аттестатом зрелости", в том числе и права по отбыванию воинской повинности (стр. 38 сл.); 2) право поступления в высшее учебное заведение (в том числе и в университет) "должно было бы приобретаться по выдержании экзамена (преимущественно письменного) в особых комиссиях из специально назначаемых лиц"; 3) "комиссии эти должны экзаменовать по определяемой хотя бы на пятилетие вперед установленной программе, выработанной по соглашению с высшими учебными заведениями, и к экзамену в них должны допускаться все желающие... безразлично, окончило ли являющееся на испытание лицо казенное учебное заведение или частное, или же подготовилось к экзамену дома" (стр. 40); 4) следует оказывать всяческую поддержку частной и общественной инициативе в деле основания и развития средне-учебных заведений (стр. 46); 5) "следует сократить в гимназиях продолжительность курса на один год, вернувшись к типу прежних 7-классных вместо 8-классных гимназий" (стр. 50); 6) "оставление ученика на второй год в классе должно допускаться только в самых исключительных случаях... и во время 7-летнего курса не... более двух раз" (стр. 52); 7) "принимать в гимназии следует всех детей, удовлетворяющих требованиям учебного заведения, до заполнения вакансий (максимум учеников в классе — 30 человек) без различия происхождения и вероисповедания" (стр. 53); 8) в программах средней школы следует: а) "сократить до возможного числа преподаваемые предметы, с тем, чтобы преподаваемое проходилось серьезно и основательно, и б) выбросить из преподаваемых предметов возможно больше мелочей, несущественных подробностей, затемняющих главное, существенное" (стр. 55); 9) необходимо заняться выработкою нормальных учебников (стр.57); 10) экзаменам следует предпочесть систему репетиций, полный же экзамен производить только при окончании курса (стр. 58); 11) для улучшения преподавательского персонала следует учреждать особые хорошо обставленные педагогические институты и установить особый государственнй экзамен на получение права быть преподавателем (стр. 59); 12) "чтобы сделать педагогическую деятельность более привлекательной, следует непременно улучшить содержание и пенсию преподавателей, сократить сроки выслуги последней и установить процентные прибавки за каждое пятилетие" (стр. 60); 13) для привлечения хороших преподавательских сил в провинции "следовало бы несколько увеличить оклады провинциальным педагогам" (стр. 62); 14) "разнообразие типов" средней школы "желательно; но желательно также, чтобы существовало хотя бы два, много три... нормальных типа, по крайней мере, для большинства правительст-

венных среднеучебных заведений" (стр. 66); 15) "можно было бы, хотя бы в виде опыта, предоставить несколько казенных средних учебных заведений для совместного обучения молодежи обоего пола" (стр. 67).

Не стану разбирать степень пригодности или непригодности выставляемых графом положений. Но считаю уместным указать на то, что некоторые из высказанных и обоснованных графом десять лет тому назад положений отчасти нашли уже осуществление в средней школе, отчасти намечаются к осуществлению в проектированной ныне ее реформе.

Что касается реформы высшего образования, то, по замечанию графа, "направление, в котором она должна быть произведена, более или менее выяснено"; к тому же "высшие учебные заведения находятся в непосредственной зависимости от того материала, которым, в виде абитуриентов, снабжает их средняя школа" (стр. 69). Граф ссылается в своих "Заметках" на результаты упомянутых выше, имевших место во время его министерства, совещаний представителей высших учебных заведений и указывает на то, что "свободно избранные своими коллегами представители российской профессуры подчеркнули желательность того, чтобы высшие учебные заведения не столько обслуживали практические цели, сколько были рассадниками знания, ради него самого, и культивировали науку, двигая ее вперед" (стр. 72 сл.). Однако наряду с научно-теоретической школой должна существовать школа утилитарно-практическая, и смешивать оба эти типа школы никоим образом не следует. Университет является основным, нормальным типом высшей школы (стр. 79). Его характеристика исчерпывается двумя главнейшими присущими ему функциями: занятиями наукой и подготовкою будущих профессоров (стр. 81). Наука в университете является и целью и средством и для учащих и для учащихся, "и все привходящее, не относящееся к науке, может только мешать важному и нужному "академическому" делу". Никаких прав ни служебных, ни практических, ни даже по воинской повинности академический аттестат сам по себе давать не должен, за исключением разве отсрочки по отбыванию воинской повинности до 23-летнего возраста; для получения же прав государственной слжбы, а также права практики по своей специальности должны быть организованы при соответствующих ведомствах особые комиссии, ничего общего с высшими учебными заведениями не имеющие; эти комиссии должны быть образованы частью из ученых специалистов, частью из чиновников ведомства и из практиков; программы должны быть заранее выработаны и включать в себе только знания, потребные в избираемом роде службы или в практической спеиальности; от техников и некоторых других специалистов следует требовать представления свидетельств о практике или об известном стаже в определенных помощнических должностях (стр. 94 сл.). Что касается распорядка студенческого быта, то его основные условия должны быть фиксированы заранее, причем наилучшею формою организации студенчества могла бы оказаться

территориальная, ячейки которых уже существуют в виде "землячеств"; их пришлось бы соединить в более обширные единицы. Реформированным студенческим организациям, кроме наблюдения за общим порядком, следовало бы передать благотворительную часть, например стипендии, которые принципиально должны были бы носить характер ссуд. Профессорская коллегия должна быть, конечно, автономна; но первым условием ее осуществления должно быть то, чтобы с университетским дипломом не было связано получение гражданских и служебных прав: ибо, пока этого не будет, "университетам не только не удастся отделаться от непосредственного начальнического контроля и прямого воздействия правительственной администрации, но им нельзя даже, не прибегая к софизмам и громким, но пустым фразам, протестовать против такого вмешательства" (стр. 107).

Напомнить основные мысли графа об университетской реформе представляется особенно своевременным теперь ввиду того, что реформа эта стоит на очереди. Беспристрастный читатель должен будет признать, что проектируемое этой реформою основное отличие ожидаемого университетского устава — его, так сказать, "бездипломный" характер — с особой энергиею было отстаиваемо именно в "Заметках" графа.

Что касается, наконец, низшей школы, то, признавая в общем ее удовлетворительное состояние, граф, придерживаясь мудрой пословицы "от добра добра не искать", полагает, что следует "не столько хлопотать о коренной реформе русской низшей школы, сколько о ее поддержке и дальнейшем развитии" (стр. 113). Граф высказывает твердое свое убеждение, что низшая школа должна быть в своем развитии самостоятельна, т. е. вполне независима от изменчивых типов и программ хотя бы средней школы. Исходя из того соображения, что большинство населения еще долго будет довольствоваться низшим образованием, графу кажется, что стремление в этой области должно быть направлено к наиболее практичной его постановке; главным образом надо позаботиться о том, чтобы контингент учащихся в низших школах был возможно хороший, причем следует приложить усилия к тому, чтобы поддержать привязанность учащихся к делу, а для этого нужно прежде всего поддержать учительский персонал в материальном отношении (стр. 117 сл.). В противоположность высшей и средней школам, низшая школа должна давать права при отбывании воинской повинности (стр. 122 сл.). Преподавание в низшей школе в нерусской части России должно вестись на родном языке учащегося; но чтобы иметь льготы при отбывании воинской повинности, такой учащийся должен не только знать русский язык, но уметь и читать и писать по-русски. Minimum требований программ низшей школы должен быть установлен правительственною властью; maximum же программ, их подробности, способы преподавания и т. п. устанавливаются периодическими и порайонными съездами преподавателей и преподавательниц под руководством земских и городских самоуправлений. Роль правительственной инспекции должна сводить-

ся к проверке, соответствует ли проходимый курс установленному minimum'у, т. е. не ниже ли он его, и тратятся ли казенные субсидии школам на тот предмет, на который они ассигнованы. Заведование и руководство школами должно быть всецело передано местному самоуправлению, на его полную и нераздельную ответственность (стр. 129 сл.).

Мне казалось нелишним остановиться более или менее подробно на "Заметках о народном образовании в России" графа: слишком важного и наболевшего вопроса они касаются, да и для общей характеристики духовного облика их автора они дают вполне объективный, надежный материал[12]. Замечательно то, что по роду своей предшествующей деятельности граф, если не считать его отношения к делу художественного образования по службе в Академии Художеств, стоял далеко от вопросов, связанных с народным образованием, на всех ступенях его развития. И тем не менее в каждом отделе "Заметок", в каждом из выставляемых в них положений, помимо их приемлемости или неприемлемости, слышится голос убежденного человека, глубоко и сознательно верящего в их правоту и — что еще важнее — проникнутого горячею любовью к тому делу, на котором зиждется, пожалуй, прежде всего счастливое преуспеяние нашей родины.

С оставлением министерского поста государственная служба графа окончилась, и он всецело ушел в научную и общественную деятельность. Граф принимал в качестве председателя энергичное участие во многих просветительных, культурных и благотворительных организациях, внося повсюду, где бы он ни выступал деятелем, свой светлый ум и свое отзывчивое сердце, примиряя своим умелым образом действия и своею подкупающею, вполне искреннею любезностью всякого рода возникавшие, при случае, трения и шероховатости. Природа графа органически противилась каким бы то ни было проявлениям некультурной грубости или затаенной недоброжелательности, и его душа всегда была озарена той ласковой, приветливой улыбкой, которая почти не сходила с его лица. В проведении своих принципов граф был стоек, и он предпочел бы скорее порвать с дорогим для него делом или с близкими ему людьми, если бы принципами этими приходилось поступиться хотя бы на йоту. Это была цельная натура, всегда прямая и откровенная, с кем бы и по поводу чего бы ей ни приходилось сталкиваться, и аристократизм происхождения удивительным образом сочетался в ней с тем аристократизмом духа, который облекал все убеждения, все начинания, все стремления графа.

---

[12] Для той же цели важен и другой трактат графа "Антисемитизм в России", составляющий часть общего труда графа и Юлия Гессена под заглавием: "Факты и мысли. Еврейский вопрос в России" (СПб. 1907). Об этом трактате рассчитываю сказать в другом месте, ограничиваясь здесь напоминанием того, что граф, конечно, "антисемитом" не был, но исходил при этом не из каких-либо особых "филосемитических", а исключительно глубоко принципиальных соображений.

"Случайность жизни" сделала графа, в последние два года его жизни, петроградским городским головою. Деятельность его на этом посту слшком еще свежа в памяти всех, чтобы на ней останавливаться теперь. Что граф с полным, присущим ему достоинством носил на шее цепь городского головы, с этим, кажется, согласны и те, кто склонны к его муниципальной работе относиться критически или недоброжелательно. Будущее покажет, поскольку здесь критика или недоброжелательство уместны и основательны. На посту городского головы, особенно в те месяцы, когда разразилась война, граф не только не жалел себя, но он как-то забыл о себе. И уже не "случайность жизни", а какое-то сверхчеловеческое исполнение ответственного долга, возложенного на графа в тяжелое время, переживаемое нашей родиной, надорвало его силы и свело его в преждевременную могилу.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРИМЕЧАНИЯ

К с. 24. * Жребий брошен (*лат.*).
К с. 28. * Исповедание веры (*фр.*).
К с. 32. * Апостольскими стопами (*лат.*), т. е. пешком.
К с. 35. * Утренний час дарит золотом нас (*нем.*).
К с. 36. * С позволения сказать (*лат.*).
К с. 40. * Подчиниться или устраниться (*фр.*).
** (*Фр.*) *зд.* попустительство.
К с. 41. * Общими силами (*лат.*).
К с. 49. * Третьим в нашем союзе (*нем.*) (ср. Шиллер «Die Bürgschaft»).
К с. 55. * По должности (*лат.*). ** Необходимыми (*лат.*).
К с. 57. * Последнее (по порядку), не меньшее (по значению) (*англ.*).
К с. 60. * В полном составе (*лат.*).
К с. 75. * Благое пожелание (*лат.*).
К с. 76. * До греческих календ (*лат.*), *зд.* на неопределенно долгий срок.
К с. 80. * В просторечии (*лат.*).
К с. 87. * Первый среди равных (*лат.*).
К с. 90. * Граду и миру (*лат.*). ** Требованиями (*фр.*).
*** К вящей славе отечества (*лат.*).
К с. 103. * Отсюда гнев (*лат.*).
К с. 115. * Воссоединения Польши (*лат.*).
К с. 118. * С изменениями того, что следует изменить (*лат.*).
К с. 121. * Крайний довод (*лат.*). ** Страшно сказать (*лат.*).
К с. 122. * Наоборот (*лат.*). ** Человек человеку волк (*лат.*).
К с. 125. * Младшие боги (*лат.*).
К с. 137. * Необходимое условие (*лат.*).
К с. 138. * Не можем (*лат.*).
К с. 156. * Лови день (*лат.*). ** Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется (*фр.*).
К с. 171. * Для этого, применительно к этому случаю (*лат.*).
К с. 173. * В целом (*фр.*).
К с. 176. * От яйца (*лат.*), т. е. с самого начала.
К с. 179. * В прежнем состоянии (*лат.*). ** Ненависть (*лат.*).

К с. 185. * Ради формы, для видимости (*лат.*).
** Полностью, без сокращений (*лат.*).
К с. 186. * В силу самого факта (*лат.*).
К с. 187. * Юридически (*лат.*).
К с. 188. * Специальный термин (*лат.*).
К с. 206. * Отдельно (*ит.*), *зд.* отступлени.
К с. 208. * Ищите женщину (*фр.*). ** Ищите еврея (*фр.*).
К с. 210. * Для понимающего достаточно (*лат.*).
К с. 211. * Вы надолго? (*фр.*).
К с. 228. * Мавр сделал свое дело — мавр может уйти (*нем.*).
К с. 234. * На пользу дофина (*лат.*), *зд.* с учетом собственных интересов. ** Ничтожное количество (*фр.*).
К с. 257. * Без гнева и пристрастия (*лат.*).

СОДЕРЖАНИЕ

Научное издание

ВОСПОМИНАНИЯ
МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ГРАФА И. И. ТОЛСТОГО

«Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина
ЛР № 040433

Формат 60 x 84 1/16. Печать офсетная
Усл. печ. л. 21. Тираж 1 000
Заказ № 1793

Отпечатано с оригинал-макета в типографии № 2 РАН
121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

